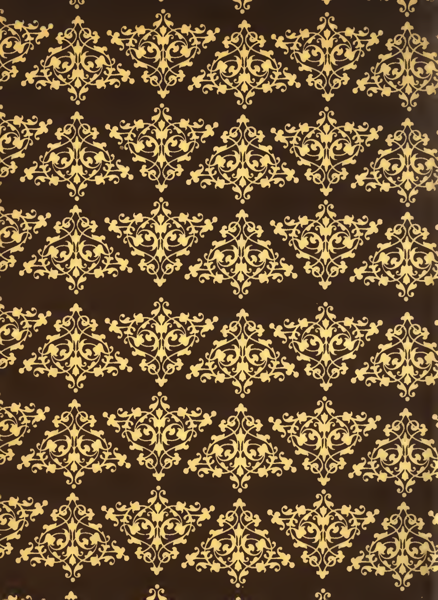
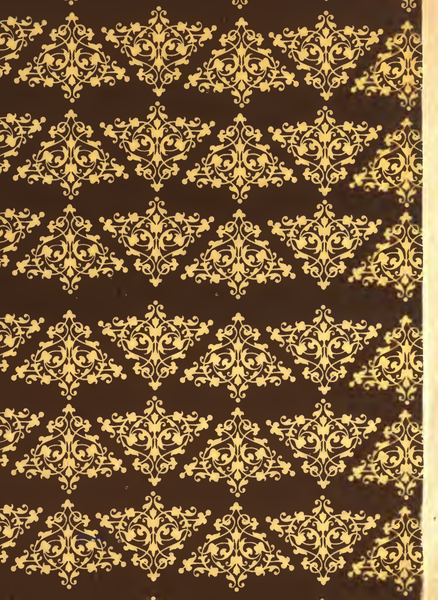
Ф. Милле-Жорис

Три времени ночи

Повести о колдовстве





Три времени
ночи

Ф. МАЛЛЕ-ЖОРИС

Три времени ночи

Повести о колдовстве

Москва
Издательство
политической
литературы
1992

ББК 84.4Фр
М19

Малле-Жорис Ф.

М19 Три времени ночи: Повести о колдовстве. Пер. с фр.— М.: Политиздат, 1992.— 400 с.
ISBN 5—250—01663—4

Небольшие повести, составляющие книгу известиой французской писательницы, основаиы на действительиых событиях далекого прошлого. Захватывающий сюжет вводит читателя в мир европейского средиевековья, делает свидетелем судилища иад «ведьмами» и «колдуиами», знакомит с процедурой иквизициоиного процесса. Автор рисует гиетущую атмосферу времен, когда стремление человека познать иеведомое влекло за собой жестокую кару, а порой и смерть.
Рассчитаиа иа широкий круг читателей.

М $\frac{0403000000—099}{079(02)—92}$ 76—92

ББК 84.4Фр

ISBN 5—250—01663—4

Предисловие

История, которую мы знаем,— история по преимуществу мужская. Длинной блестящей чередой проходят по нашей памяти военачальники, дипломаты, создатели великих учений. И лишь за их спинами мелькают в полумраке верная жена, любимая наложница, в лучшем случае — томящаяся в разлуке с любимым лирическая поэтесса. Женщинам в нашем мужском мире оставлено пять-шесть ролей, которые они и исполняют, кто более, кто менее талантливо, зачастую

иичего большего не желая. Одиако внутри мира человеческой упорядоченности, к которому мы привыкли и за пределами которого чувствуем себя неуютно, располагается мир упорядоченности природной, где ценнтся не созидательная способиость, нередко бессмысленная, а умение прислушиваться, воспринимать, подражать уже созданиому — и создаиному ие человеком. И тут на первый плаи выходит жеищина, как существо более близкое природе ие только биологически, но и психологически.

Послушаем автора «Повести временных лет» Нестора. «Тем бесы и прельщают людей, что приказывают им рассказывать видения, являющиеся им, нетвердым в вере, одннм во сне, другим в забытьи, и так волхвуют, по наущению бесов. Особенно же через женщин бесовскне волхвования бывают, ибо искони бес жеищину прельстил, она же мужчину. Потому у теперешних поколений много волхвуют женщины чародейством, и отравою, и иными бесовскимн кознями». Ему вторит Я. Шпренгер, монах, один из авторов печально известного учебника для инквизиторов «Malleus maleficarum» (в русском переводе «Молот ведьм», но правильнее было бы перевестн «Молот против ведьм»): «Надо говорить ересь ведьм, а не колдунов; последние мало что значат». Шпренгер был мастером своего дела, по теперешнему говоря, профессноналом, и он знал, что говорил. Полусказочные, но н полуреальные феи, античные сивиллы, средневековые ведьмы — кто напншет их историю? Впрочем, несколько таких работ есть, и прежде всего книга французского историка прошлого века Ж. Мншле «Ведьма». Процитируем Мишле: «Черная месса на первый взгляд является как бы нскуплением Евы, проклятой христианством. На шабаше женщина заполняет все собою. Она н священннк, и алтарь, и облатка для причащения. А по существу, разве она не сам бог?» Однако тема неисчерпаема. Тем более что сивилла, к прнмеру чаще упоминается не в связи с самим таинством про-

рицания, а в связи с конкретным предсказанием, данным, допустим, тому или иному древнегреческому правителю. Да и женщину вообще чаще упоминают, когда она сподобилась родить выдающуюся личность, скажем Александра Македонского, хотя все его завоевания — ничто по сравнению с самим таинством рождения.

Теперь ближе к нашей теме — о ведьмах. Пора отрешиться от примитивного мнения, будто это простые жертвы инквизиции, которая хватала невинных женщин и пытками принуждала их к самооговору, хотя бывало, разумеется, всякое. Противоборство ведьм и инквизиции — это противоборство двух миров, борьба не на жизнь, а на смерть, к которой неприменимы обычные представления о правоте и неправоте. Противостояние официального, католического мировоззрения и мировоззрения по сути своей языческого. Столкнулись две силы, равные по жестокости, но на стороне одной из них стояла власть, государство, церковь, другой же приходилось таиться, прятаться и находить пристанище в слабых женщинах, которые, обретая эту силу, забывали о своей слабости.

Кто такая ведьма? У нее множество ипостасей. Например, целительница. Короли выписывали себе заморских лекарей, знать лечили выпускники университетов, но ведь болеют, как известно, не только сильные мира сего. Кто же пользовал крестьянина, основную массу горожан? Ведьма. То, что мы сегодня называем нетрадиционной медициной, вызревало в этой среде. Проказа, эпилепсия, а с конца средневековья сифилис — три страшных бича, которые помимо всех других болезней обрушились на людей того времени. И им некуда было обратиться, кроме как к ведьме, причем любая неудача в лечении, которую сегодня списывают на что угодно, тогда имела лишь одно объяснение: злой умысел ведьмы. Однако идеализировать ее — значит заведомо отклониться от истины. На стороне ведьмы был «сатана и воинство его» или то, что подразумевалось под таковыми в средневековье.

На стороне ведьмы был древний языческий мир, много раз похороненный, но до сих пор не умерший. Говоря опять-таки современным языком, ведьма боролась за власть, но за власть над людскими душами. Да, она целительница, но она и отравительница. Отправить на тот свет зажившегося свекра, да так, чтобы комар носа не подточил, лишить мужской силы соперника, извести соседскую корову, которая повадилась на твое поле,— кто поможет бедному селянину в столь многотрудных делах? Ведьма, та самая, которую мы готовы пожалеть, когда она попадает на костер. А если не попадает?

Все мы вышли из средневековья, и в нем — ключ ко многим загадкам души современного человека. Погружаясь в средневековье, мы погружаемся в себя. Надо только не ограничивать свой интерес к тому времени чисто поверхностными фактами, сдобренными клубничкой из жизни коронованных особ, к чему сводится большинство произведений скорых на руку беллетристов. Малле-Жорис — приятное исключение, разумеется не единственное. Вообще говоря, наши книгоиздатели почему-то не жалуют многих ведущих французских писателей, как современных, так и давно почивших. Длинный список авторов, который в связи с этим можно было бы привести, оставил бы удручающее впечатление. Однако Малле-Жорис более или менее повезло (вернее, повезло русскому читателю): уже переведены на русский язык «Дики-король» (Молодая Гвардия, 1987); «Бумажный домик» (Радуга, 1989); «Аллегра» (Радуга, 1990).

Несколько слов о самой писательнице.

Франсуаза Малле-Жорис (настоящее имя — Франсуаза Лилар) родилась в 1930 г. в Антверпене. Отец ее долгое время был министром юстиции Бельгии, мать — известная писательница, член Бельгийской Королевской академии.

Малле-Жорис — лауреат многих литературных премий, в настоящее время вице-президент Академии Гонкуров — дебютировала сборником «Воскресные стихи». Затем последовали романы «Оплот монахинь» (1951), «Красная комната» (1955), «Ложь» (1957, французская литературная премия «При де Либрер»), «Небесная империя» (1958, премия «Фемина»), «Персонажи» (1961), «Бумажный домик» (1970), «Аллегра» (1976), «Тоска о любви и о чем-то еще» (1981), «Смех Лауры» (1985). Малле-Жорис — также автор многих рассказов и эссе.

Особое место в творчестве Малле-Жорис занимают исторические произведения. Среди них книга «Три времени ночи. Повести о колдовстве», предлагаемая читателю, а также беллетризованные биографии «Мария Манчини, первая любовь Людовика XIV» и «Жанна Гийон». Последняя работа посвящена незаурядной женщине, о которой у нас пока известно только специалистам,— выдающемуся французскому мистику XVII в., отринутому католической церковью. В трудах Гийон современный читатель находит много поразительных совпадений с мыслями древних индийских мудрецов и даже сюрреалистов XX в. Жанна Гийон как бы продолжает собой галерею женских портретов, представленных в «Трех временах ночи».

К этому последнему произведению впрямую относится все сказанное нами прежде о ведьмах. «Блеск и нищета» этих женщин (здесь не только те, кто зарабатывает чародейством свой хлеб, как героиня последней повести Жанна, но и пользующиеся помощью злых сил бессознательно, как Элизабет с ее безумной любовью, представлены в книге с редким мастерством. Примечательно, что противостоят им не одни «мракобесы», а зачастую и люди весьма просвещенные, такие, как Жан Боден, автор известной книги «Республика», выдающийся ученый, философ, экономист, исполнявший в ту пору должность королевского прокурора.

Хотелось бы отметить, что тема чародейства и волхвования отнюдь не принадлежит только давно минувшим дням, и нынешняя популярность Кашпировского и Чумака накладывается на многовековую традицию. Конечно, было бы самонадеянным пытаться проанализировать этот феномен в столь кратком предисловии, наша цель лишь убедить читателя, что перед ним книга пусть на историческом материале, но о сегодняшних проблемах.

В. Каспаров

Анна, или Театр

Мне очень нравится Анна де Шантрэн в возрасте от пяти до двенадцати лет, маленький, хрупкий, немытый зверек с заостренной мордочкой, спящий, свернувшись клубком, на соломе, набросанной на дно тележки; с обкусанными ногтями, на ногах сабо, рубище вместо платья, выгоревшие волосы схвачены красной лентой, в ушах — серьги из граненого стекла. В бесцветных глазах несчастного ребенка врожденная покорность судьбе и кое-что еще: настороженная крестьянская тупость на невзрачном, неподвижном лице. И не только это. Все ее детство, трепещущее на пороге мира чудес.

Длинные медленные переезды от селения к селению по широкой равнине похожи друг на друга, как куплеты одной песни, как отрывки из сказок, рассказанных на сон грядущий, когда засыпаешь задолго до конца. Поля под солнцем, похожие на лоскутные одеяла. Сырые леса, которые никому не принадлежат (потому что мир Анны стелется по земле); тот, кто владеет землей,— это тот, кто твердо стоит на ней, кто боронит и пашет; а они, отец ее и она, легкие на подъем, проходят, минуя эти создания, крепко стоящие на краю своих полей, крепко стоящие на пороге своих домов, *самодовольно* расставив ноги. А они, со своими деревянными коробами, наполненными всякой мелочью: лентами, тесьмой, кружевами, сверкающими иголками,— они тоже напускали на себя самодовольство (у них тоже есть свое имущество, потому что содержимое больших коробов заставляло вспы-

хивать глаза деревеиских хозяек, потому что у каждой вещи своя цеиа, рождающаяся во время долгого торга); оии, делающие вид, будто у иих есть свое расписаиие, свои маршруты: «В шесть часов мы должны быть в Варэ, а завтра мы дойдем до самого Берлемоиа»; оии сами придумывают для себя обязательства, препятствия, которые иеобходимо преодолеть, как оии преодолевают подъемы на трудиом пути, и Аииа сможет сказать маленьким девочкам в теплых шерстяиых платьях у изгородей, заворожеииым ее серьгами: «Я куда хочу, туда иду!» — жалкая гордость бродяг.

Оиа устраивается у живых изгородей, чииит прохудившуюся одежду, ребеиок без матери, вскормлеииый пищей бедияков, от которой голова идет кругом: свободой, гордостью, лицедейством. Малеиькая крестьяика, полиая упрямого иедоверия, врождеииого преиебрежеиия к другим, иарочитой грубости, с которой она плюет иа землю, вскидывает худые плечи, иарочио косит. Малеиькая бродяжка, сладострастно дрожащая долгими, холодиыми иочами, наслаждающаяся восхитительиыми страхами, иезиакомыми постоялыми дворами и в первую очередь комедией пьянства.

Пьяиство — это театр бедияков. Самый легкий способ уиичтожить, перечеркиуть то, что есть. За одиу мелкую моиету оио смииает реальиость, как бумажку: всем это известио. Невидимое позади. А в бутылке содержится волшебиый эликсир.

— Хватит пить, папа!

— Ты воображаешь, что будешь мне приказывать? Мие иикто ие указ! Никто!

Он встает во весь рост в своих лохмотьях, взволиоваииый, иизкорослый, смешной. И я полагаю, что оиа его осуждает, в то время как сладкий ужас перехватывает ей горло, оиа бросает ему привычные слова:

— Но, папа, где мы будем спать? Никто же иас ие пустит!

— Ха-ха!

Грубый смех предателя из мелодрамы или уличных мальчишек, которые стойко переносят любые удары,— вот он каков, ее отец: тощий, отчаянно-смелый, с волочащейся ногой; человек злой судьбы, доставшейся по наследству от подобных ему созданий.

— Все те, кто нас видел сегодня, девочка, еще вспомнят о нас... Молоко у них свернется, скотина не разродится... Жаль, что нельзя это им сказать... Но в следующий раз они будут нас бояться, увидишь...

— Не надо, папа! Не говори так! Мне страшно!

Она играет испуганную девочку, она и есть испуганная девочка. Она играет холод, голод, дрожь избитого, рыдающего ребенка, и это все правда. Но она еще и зрительница этого пьяного театра, она знает наизусть реплики, которые должна подавать она, знает, как вызвать ответные, знает, как довести отца до того, что он выпрямляется в тележке и провозглашает:

— Настанет день, когда все они будут меня бояться! Я стану хозяином всего края! Все женщины будут принадлежать мне! Вся их земля будет принадлежать мне!

Анна, скрючившись под навесом, слушает его с каким-то веселым страхом (бутылка — Сезам, который отворяет путь этим речам), с подозрительной тоской, потому что, если это услышит кто-нибудь чужой, им грозит опасность. Покачиваясь, отец ходит по краю пропасти, и она это знает. А может быть, он хочет туда сорваться? И поверх всего безотчетная жалость ребенка к взрослому...

Маленькая обезьянка, она ходит по постоялым дворам, вечерами забавляет мужчин, мужчин, у которых, как и у них, нет дома. Ее можно вообразить стоящей на столе, в дыму, и поющей непристойную и невинную песню тоненьким голоском. Какое ей дело до того, что окружающие ее люди — это самые бедные люди страны, батраки в поисках работы, разносчики, как они, враче-

ватели, нищие и даже разбойники? Их что-то связывает, что-то, отличающее их от других, делает их совершенно иным племенем, вознесенным, униженным, Бог знает каким,— они всех презирают, их все презирают, они всех отвергают, их все отвергают,— но они всегда играют роль. Перед лицом опасности, голода, за ничтожное вознаграждение, ради утверждения иллюзорной власти. Они устанавливают свою невидимую иерархию, свои абсурдные правила; они дают друг другу свободу лжи — это временное королевство опьянения,— они играют, и игра — их богатство. Но это богатство не фальшивое — оно просто невидимое. Маленькая Анна живет в стране метаморфоз. Она уже знает, что за униженностью часто скрывается ненависть, что самоуспокоение отбрасывает страшные тени. Но сама тень часто принимает облик жалости, становится мигом нежности, это тоже правда. Анна живет в стране теней. Нравится ли ей это? Без сомнения, Анна ощущает смесь ужаса и наслаждения от одной лишь приобщенности к этой стране. Дорога дневная и дорога ночная не похожи друг на друга. Что реальнее: неприветливые фермы, разбросанные посреди полей, дети, послушные властным матерям, зависимое существование (нищета напоказ, в которую никто никогда не верит) или прокопченные постоялые дворы, темные леса, шутовские проклятия, порожденные вином?

Эти превращения от винных паров, или ночной тьмы, или случайных компаний, или древних привилегий становятся бесспорной отправной точкой для маленькой девочки Анны на пути от сомнения, от постановки самоочевидного вопроса. Ребенок охотно признает существование однородного мира взрослых, куда он проникает через щель; это проникновение страшит ребенка, но в то же время искушает. Лишенный ореола взрослый делает мир, которым он не владеет, тревожным и манящим. Так как ребенок не обладает ключом к этим автоматам,

приводящим их в движение, так как он лишь со стороны видит механизм, который оживляет фальшивых картонных богов, их пьянство внушает ужас, потому что пружины, которыми манипулирует ребенок, подчиняются силе, ему неизвестной. И потому этот ребенок — уже колдун. Ведь волшебство — это, в сущности, ловкость рук, умение управлять непостижимым. Маленькая Анна пока что лишь наблюдает действие вина, или обмана, постигает силу чувственно воспринимаемой вселенной; скоро она захочет дергать ее за веревочки.

Все охотно верят, что средние века — это великая эпоха колдуний; но, напротив, с возрождением духовности, по мере изучения явлений природы во всей их совокупности растет ощущение таинственности, и идея овладеть ими, повернуть в свою пользу вновь выходит на свет, целиком подчиняет себе народную душу. Число демонов умножается по мере распространения панвитализма Возрождения. Это удивительно, это правда жизни, порождающая самые безумные верования; потому что вера, замкнувшаяся в догме, таит в себе понятие невозможного. Наоборот, естествоиспытательство в том виде, как оно распространилось в XVI веке (включающее в себя и добытые *опытом* истины, как это сделал Парацельс, и сведения о гномах и карликах), считает все возможным и, как это ни парадоксально, создает основу для возникновения предрассудков на базе жизненных фактов. Отсюда проистекает существование странно регламентированной, подобно точным наукам, магической практики. Однако дух Зла не внушает полного доверия; конечно, можно сказать, что христиане времен средневековья больше веруют во власть Сатаны, чем колдуна, который, конечно, способен вызвать нечистую силу, но эти люди убеждены, что если в приворотное зелье или волшебное снадобье не положить один из ингредиентов или пропустить ритуал в процессе колдовской церемонии, то такое нару-

шение воспрепятствует матерналнзацни духа и помешает его проявлениям. Так, Жнль де Рэ, печально известиое кровавое, лнцедействующее ннчтожество, призывал различных колдунов (как призывают к нзголовью больиого известиейшнх врачей), ученых знатоков волшебства, как будто бы одинх его преступлеиий н наглости недоставало, чтобы стократно удостонться вниманння нечнстой силы. Налнцо отсутствне веры в собственные труды, даже если этн труды относнлнсь к областн зла, н налнчие веры в чью-то ученость, даже если эта ученость эфемерна нли сомннтельна, что является характернстикой эпохн, где сомиенне одержнмо верой в первопрнчииу. Это — помрачеине веры, н ие только той веры, которая породнла предрассудки велнкнх эпох колдовства. Итак, маленькая Анна родилась в 1603 году в мнре, где зло подчнннлось законам механкн. И что воспрннмчивее детства к забаве собнрать н разбирать механизм, пленником которых оио является? Именно этнм объясняется ужасающнй н потрясающнй феномеи возникновення детей-колдунов.

Детство обладает опасиым даром снюмннутиости: оно ие верит в существоваиие невозможиого. Детство само по себе волшебство. Оно волшебно хотя бы потому, что оно детство. На выбор непрестанно предлагаются разлнчиые мнры, несовместнмые друг с другом, н детство создает нз инх чудовищную поэтнческую конструкцию. Первая ложь — это экспернмент более чем грешиый; оиа, иесчастиая, худенькая девчонка, изобретает приукрашенные верснн своего бытия. «Мой отец был однн из самых большнх людей в здешинй краях,— говорнла она.— У него был самый краснвый дом. Горе отняло у него разум». Сочувствие, подареиая накидка, лакомство служили доказательством ее властн. Иной раз ее охватывала гордость. «Мы счастлнвее вас, мы вндели разные страны. Однажды я вндела иастоящего китайца». Она покидает крестьяиский двор, как королева

взбирается на жесткую, холодную тележку, от которой болит поясница, под восторженные взгляды сытых детей. Разве она солгала? Во всяком случае, когда они уезжают в тряской повозке под непрестанным дождем севера, она долгое время не ощущает ни холода, ни голода. Так же как и ее отец после выпивки. Девочка хрупкая, но твердая духом. Лишенная матери, она сама стирает и чинит белье; руки огрубели. Вытирает блевотину отца, терпит вспышки его гнева, а иногда и удары кнута. Ее лицо принимает суровое выражение сосредоточенной, высокомерной покорности бедных женщин, постаревших к тридцати годам, но не униженных и хранящих достоинство, принятое ими раз и навсегда и пребывающее при них до самой смерти. «Она очень вынослива»,— говорит отец сочувствующим крестьянкам. Она вынослива, вот и все. Когда же она устает и замерзает (ветер — самовластный господин этих равнинных мест), она прячется за спиной отца на постоялом дворе, ослабевшая, насмешливая, готовая укусить даже, когда ее светло-голубые глаза сосредоточенно — так что она при этом немного косит — наблюдают за разыгранным по-крупному спектаклем хвастовства, проклятий и выпивки. Однажды отец, под властью вина, или безумия, или непреодолимого желания стать блистательным центром всеобщего внимания, источником жизни, опьяненный безличной сердечностью, которая похожа на безразличие так же, как и на братство, разложил все свои сокровища посреди большого, пропыленного зала. И эти жалкие сокровища мгновенно преобразились. Грубые, но прочные ткани, галуны, кусок тонкого, как паутина, кружева, пожелтевшего, однако выглядящего здесь весьма престижно, украшения из немецкого стекла, ленты. Возчики, две женщины, которые держали постоялый двор, нищий, прикорнувший у огня, по временам вздрагивающий, как маленькая собачка,— все окружили сокровища, восхищенно рассматривая сверкающие ножи,

медные браслеты, кусок поредевшего от времени муара... И вознесенный внезапным приступом бреда, отец давай расхваливать свой товар. Его лицо, хитрое, тощее (лицо нищеты, привыкшее к унижению, которого не замечаешь), вдруг преобразившееся, сверкало радостью, которой он не испытывал даже от самых выгодных сделок.

— Смотрите! Замечательный муар, платье из него могла бы надеть принцесса, а я дарю его вам, мадам Марта! Жанетта, вот серебряные ножницы с насечкой, купленные на распродаже в замке Де И. Я дарю их тебе, моя девочка, и еще наперсток впридачу! Хотите прекрасный стальной нож? Рене, вот браслет для твоей подружки! А ты, старик, возьми кусок хорошей шерсти, согреешься! Ну, берите, берите же, я говорю вам!

Тут начинается лихорадка, одна вскрикивает, другая бежит, протянув руки, они отступают, кричат. В комнате становится жарко, пиво льется в большие стаканы через край; сумасшедшая радость, служанка целует торговцев в губы, сокровища исчезают, их больше нет, и после этой вспышки пламени остается зола, но разносчик тут еще король, он советует одной, как сшить корсаж, другой, как сшить юбку, как пользоваться ножом, который ему самому нужен... Он подходит то к одной, то к другой, как дружелюбный властелин, похлопывает по плечу, он полон гордости и радости от того, на что он осмелился — на раздачу по мелочам того немногого, чем он владел при своей нищете, гордый праздником, которому один он знает цену: долгие дни на голодный желудок, чудовищные лишения; это их ночь, и они поют; хозяйка, не желая отставать от разносчика, наполняет стаканы; радостные крики, служанка потихоньку добавляет к своему приданому кольцо, ленту, но кто ее упрекнет? Из котомок достают печенье, сыр, все на общий стол, в камин щедро бросают поленья... Таких праздников не бывает в заботливо запертых крестьянских домах,

где боятся волков, разбойников, холода. В этих домах все как вымерло; там не позволяют себе праздника, который сулит на завтра нищету и страдания. Холодная постель, потухший очаг, дождливый рассвет, отрыжка воспоминаний о вчерашнем дне — все это последует с фатальной неизбежностью. Но это только усиливает безумие на час. Нет меры грубости объятий, сумасшествию опьянения: там сверкает отчаяние, свершается акт справедливости по отношению к нему, триумфатору на мгновение, заплатившему полной мерой за свою независимость, за это торжество без будущего, но тем более яркое среди всей этой нищеты. А на следующий день — тележка с остатками товара в коробах, медленное, лишенное надежд движение по бесконечным дорогам, сгорбленные плечи... Снова — скромный разносчик.

— Я не так уж плохо сделал,— вдруг скажет он (его смятая одежда цвета земли, камня, леса будто подчеркивает незаметность его существования: он точно растворяется в пейзаже, поглощен без остатка длинной, серой дорогой).— Уж на этом постоялом дворе я всегда смогу остановиться в кредит.— Девочка не отвечает. Упрямо молчит с подведенным животом. Она не жертва, а судья, и это новая метаморфоза.— А что, нет?

Большой деревянный короб на три четверти пуст, в кармане — мелочь, всего несколько су, утренний завтрак на постоялом дворе подан с неохотой, служанка носит кольцо, на лице выражение стеснительного недовольства, хозяйка еще спит (так, по крайней мере, сказали)... Согнутый унижением отец.

— Скажешь, нет? — Суровая, маленькая девочка. В то время как он взывает к ней, она, его тяжкая ноша, его мучительный долг, ученая обезьянка, призванная возбуждать жалость, ей пока грош цена, она ест больше, чем приносит дохода,— его единственный свидетель.— Все-таки это было прекрасно?

На тонком бледном лице, усыпанном веснушками,

появляется нежное выражение, делающее из ребенка десяти лет женщину:

— Да, это было прекрасно.

Мне очень нравится Анна де Шантрэн в возрасте от восьми до десяти лет.

Зрелость начинается с первой крови: в одиннадцать или двенадцать лет, не более. Дикая козочка, маленькая бродяжка, бедная игрушка леса и звуков, она становится женщиной, и все меняется. Бедная дикарка к этому совершенно не готова.

— Но ты же знала...

Она ничего не знала, она не знала, что к ней придет это. Разве кто-нибудь знает, что придет смерть? Кое-кто знает. Но это большие: мужчины, женщины, взрослые... «Я женщина?» Детская грудь переполняется возмущением. Куда деваться? Она, такая стойкая в несчастье, она, столь гордая в унижении, с телом, разбитым долгими переездами и побоями, готова расплакаться. Потому что ей страшно. В блуждающем взгляде отца — смущение, даже мгновенная нежность, но она почувствовала угрозу. Он хочет избавиться от нее. Ребенком Анна была для него всем: судьей и сообщником, свидетелем, актером его ежедневной драмы, а еще животным, чье слабое тепло согревало, когда она прижималась к нему в конюшне, она была для него гномом, эльфом, игрушкой, безмолвием. Но, став женщиной, она превратится в личность, присутствие, слово. Быть может, упрек. Это несчастное кровотечение напугало его, может быть, больше, чем ее. В конце концов не помешает ли ему присутствие этой женщины быть мужчиной? Непонятная сущность женщины волнует его, приводит в отчаяние. При жизни жены он, растратив приданое, устраивая, как он говорил, свои дела, уходя из благоустроенного дома в деревни, все более отдаленные, чтобы заставить себя слушать, жил там мечтой об иллюзорном могуществе, а она доила коров, собирала яйца

н стояла на пороге дома, который его все же притягивал и нес в себе мечту о тепле, понимании, блестящем верховенстве главы семьи. Она думала, в своей женской непроницаемости, нежная, как сурок, что другие женщины покушаются на ее деньги и низенького, хромоногого супруга. Женщин этих было великое множество! Доброе слово самого богатого крестьянина, презрительное почтение мелкого судейского чиновника, идущего на дно, шумное восхищение (правда, насмешливое) цыганского табора, устроившегося по-хозяйски,— вот то добро, которое он искал так далеко и за которое платил так дорого. О, воображаемое добро! А в ней самой, в жене, он любил не приданое, не теплое стойло, не тело ее, пахнущее коровой, не старательно приготовленную ежедневную пищу, насыщавшую лишь желудок, но власть, растущую изо дня в день, которую он приобретал над этой простой душой, беспокойство, которое он порождал в ее глазах цвета луговой травы: он любил ее за слезы. И потом за ее смерть. Это было прекрасное несчастье, дозволенное безумие. Несчастный ребенок, которого он тащил за собой, маленький зверек, выдрессированный для забавы, для развлечения. Портрет покойной в котомке, эта опоэтизированная глупость, был пропуском в царство грез. Другая женщина? Никогда! Только этот ребенок.

И он больше не осмеливался смотреть ей в лицо. И больше его не удовлетворяли ночные беседы с бутылкой. Ему стало трудно разговаривать с девочкой. Напрасно старается она понравится ему, сама расхваливает товар крестьянкам, восхищенным ее любезностью, стараниями; на рынке она раскладывает палатку, считает деньги, любезничает с соседним торговцем... Она чувствует, что встала на неверный путь, она попадается во все ловушки, сворачивает, возвращается, точно животное, ищущее свой хлев... Он ни в чем ей не помогает. Самое смирное животное бесится, ощущая возле

себя пот агонии. Торговке маслом, которая сказала, что Анна сильно выросла с последней ярмарки, он ответил: «Это настоящая маленькая женщина». Анна вздрогнула, услышав эти слова. И тогда она совершила непоправимую ошибку, ошиблась в расчетах: она себя пожалела. Спрятавшись в самом раннем детстве. Без всякой надежды вернувшись к собственной слабости. Взыскуя, требуя этого первого дара, который смутная, упрямая ностальгия предоставляла ей так долго, что ей показалось, что она имеет на это право. Право на всеобщую жалость, на каждодневную нежность, без чего она не может ни жить, ни существовать.

— Мне больно, папа, мне страшно.

Ошибка. Как все, что он делал в течение этих восьми или десяти лет, прошедших в бегстве от родной деревни, в попытках разорвать связующую нить, стать, наконец, свободным, ни с чем не связанным, не обязанным ничего создавать, плетя собственную сеть, дышать своим воздухом (бесконечно осторожно и хитро, подобно сомнамбуле, пребывающей в сознании, но боящейся пробуждения...), что он делал, чтобы освободиться от женского мира гончарной глины и менструаций, тягот и страданий, смерти, порождаемой жизнью, как окровавленная головка новорожденного, вылезающая между двух белых бедер? Он ищет выход в перемене мест, в спешке, в ночных праздниках. Даже презрение стало для него удобной одеждой, делающей его невидимым. Охраняет его от чужих требований. А неудобства его жизни, ночной холод в тележке или стоге сена, долгие, голодные дни в пути, разве они не сделали его тело таким лихорадочным, ирреальным, маленьким, и великим оно может стать лишь на крыльях опьянения? И вот она плачет, она, требовательная жертва, хочет управлять его жизнью, его смертью, непроницаемым мраком, сменившим день женщин, оторвать его от великой холодной ночи, куда он уходит, считая, что он уже далеко, так далеко...

Слабый голос тащит его назад, удерживает, связывает. Тихо, чтоб не рассердить.

— Да ты и впрямь выросла и больше не можешь шататься по дорогам...

Анна молчит. Она приговорена.

Со следующего дня он занимается ее устройством! Ах! С этого мгновения все только игра, и как он симпатичен, как он добр, ее отец! Он употребит все силы, посетит все ярмарки, все рынки, все постоялые дворы, чтобы собрать для маленькой бродяжки, плетельщицы корзин, разорительницы гнезд приличное приданое.

— Помогите мне спасти душу, добрые люди! Я бедный пьяница, я все время в дороге, а она выросла... Я готов отдать все, чтобы ее спасти, я даже откажусь навсегда видеть ее и один продолжу свой грустный путь...

Эту жалобу он произносит везде, бессовестно, то веселый, то пристыженный, ни разу не повторяясь; какая разница? В конце концов если товар находит сбыт, неважно что: ленты, кружева, жалость, любопытство, насмешка,— какая разница? Он продает трагическую историю девочки-сироты, у которой мать умерла от горя, у которой отец — кающийся негодяй, и пусть покупает, кто хочет. Он знает, что на его товар постоянный спрос, который продлится до конца столетия. Согревающая иллюзия доброты, горьковатый вкус иронии, пренебрежение столь явное, столь очевидное, всеохватывающее ощущение превосходства, уверенности в себе; и все за ту же цену! Кто усомнится, кто пожадничает? Не каждый день беспробудно пьют. У Анны будет приданое. Она незамедлительно поступит в монастырь Черных сестер в Льеже.

Что можно сказать о странной жизни, страдальческой и мечтательной в одно и то же время, которую вела Анна де Шантрэн до одиннадцати или двенадцати лет, вне времени и пространства, без всяких правил;

без матерн, часто без хлеба н всегда без сострадання? Жнзнн, в которой еднивственная связующая ннть, еднн-ствеиное удовольствне — это пробудившаяся мечта бедняков, это феерия, рожденная голодом н иеупорядоченным существованием, жнзнн в прнвычных лохмотьях, сквозь дыры которых проступало обветреиное тело. Ощу-щеиие безграиичностн бытия ннкогда больше ее не покинет, и, так как она жнвет не столько умом, сколько чувством, она способна лншь громоздить тайиу на тайну. Открывать воображаемое еще не значит познавать зло. Но это уже иа самой его граин. Перейдет лн она эту грань? В этом — все.

Жнзнь ее обретает нной смысл с момента поступлення в сиротскнй дом Черных сестер в Льеже. Можио лн сказать, что все предопределено и заранее предпнсано? Безусловно: н то, н другое. Голый фасад с снмметрнч-иымн окнамн: убежнще или тюрьма? И то, н другое. Кротость, состраданне, усердная молнтва — что это, на-слаждеиие илн наказание? И то, и другое. Прямоуголь-иые бордюры, маленькие, густо посаженные гвоздйкн с запахом перца, строгая одежда, время, отмеряемое ударамн колокола, струящнйся поток прекрасных, спокойных молитв, полет голубей, выпускаемых в полдень, пенне, прерываемое ударамн колокола, в ясные н не-иастные дни, иатертые до блеска плнткн пола, пустыня, которую нужно пройтн... Наконец, место под крышей в ее короткой бродячей жизни. Вот она наконец в *доме,* за слабо освещеииымн стеклами, а сиаружн тележкн проезжают под дождем. От внезапио прерванного путешествия она сохраннла какую-то ностальгню, может быть, даже легкое головокруженне, непреодолнмую тоску, к которой она прнвыкла на колесах, во время тяжелых поездок по дорогам, н вдруг, прервавшая свой путь, оиа мучается усталостью, проннкающей во все ее существо, не поддержнваемое больше этой убогой колыбелью. Она остановнлась. Колокольный звон, камень,

брошенный в глубину колодца: остановилось время. Что делает она здесь, в этом саду, одетая в черный балахон?

И когда вещи оказываются опасно-неподвижными, лишенными роли образа, как будто погруженными в вечность, приходит первое искушение или, если угодно, первая благодать. Анна может идти до конца долгой жизни, полная желаний, достигшая своих целей, и даже более того: она может преображаться от полуденной летней тишины, от полного, всеобъемлющего счастья, от внезапного крушения, когда страдание и смерть прерывают течение дней; неважно отчего, но малейший *прорыв* ведет к безграничному его расширению. О! Конечно, более или менее быстро. Есть такие, кто жизнь готов положить за то, чтобы кровь вытекала из тела быстро, капля за каплей (этот маленький, покрытый пылью рубин сердца Христова в часовнях), другие будут медленно гнить, отравляя душу,— очень мало тех, кто откроет сердце в медленном поступательном движении души,— или быстро, и мне подсказывает память, что сердце есть у плода и у минерала, где оно — основа внутренней связи, главная пружина, о которой говорят, что она вечна. Анна не такая. Неподвижность монастыря, остановка перед этим стоячим водоемом, совершенно круглым, отражающим небо, это мгновение, укол розового шипа, совсем маленькая фальшивая нота... Но у Анны тонкий слух, бодрствующие инстинкты дикого зверя, странный шорох в лесу, катящийся камень, сломанная ветка останавливают его на бегу, он вибрирует всем телом, предчувствуя неизвестную опасность.

И вот она здесь, ребенок среди детей, здесь тишина или заучивание молитв, а параллельно другие молитвы и другая тишина. И она составляет часть прекрасной, меланхолической картины, которую монахини демонстрируют городу, это спокойная, немного увядающая аллегория. Анна исчезает, растворяется в этой аллегории;

и она ощущает, будто ее засасывает трясина. Грубость крестьянок, различные рабские ухищрения, удивительная власть страха и пренебрежения постепенно стираются как призраки. Она точно камень, брошенный в пруд: несколько кругов на воде — и плотная поверхность вновь принимает прежний облик. Напрасно она сопротивляется: в этой ватной тишине все движения тщетны. Вся ее плоть подчиняется новой дисциплине; и вот она уже ест по часам и встает, когда приходит мать-настоятельница. Единственный живой островок — приемная.

Там на нее смотрят, ее видят. Из двух десятков девочек она среди самых бедных — так говорят. Следовательно, она самая интересная. История ее бродячей жизни вызывает восклицания у льежских дам, посещающих монастырь, проявления чувств, к которым Анна столь небезразлична. Как могла такая маленькая девочка выжить в подобных обстоятельствах? С двух лет — вечно пьяный отец и тележка! Анна рассказывает. Она рассказывает про волков, про то, как их никогда не пускали в крестьянские дома дальше порога; про то, как она всегда спала в хлеву вместе со скотиной; про голод, любовь отца к бутылке и ее тщетные просьбы не пить... Для этих сочувствующих дам она вновь разыгрывает сомнительную комедию пьянства. «Папа! Не пей, мне страшно!» Она описывает исхлестанную клячу, нагруженную тележку, безумные скачки по сырым лесам... Она не в состоянии описать свою тайную радость вновь переселиться в то время, описать свое острое любопытство, когда ее отец, этот маленький, бесцветный человечек, преображался, становился царственным безумцем, готовым рискнуть их жизнью, растратить и раздать все их достояние, хвастуном, метателем бисера перед свиньями, забавляющим девиц на постоялых дворах и цыган... Она предает его, слабого и ранимого человека, с его смешными мечтаниями. Но как она

могла его не предавать? Она с удовольствием вспоминает это непонятное прошлое, и, отвечая на все вопросы, ей удается сохранить тайну своего королевства: тайна — это уже немного власти. Тайна — это убежище, это сокровище. Это внутренняя жизнь, двойная жизнь. В приемной Анна вновь оживает. Но тайна — это еще и опасность. Тайна Анны (неопределенная, смутная, однако находящаяся в ее безраздельной собственности) часто для нее тяжела. Тайна создает ощущение, будто она не живет здесь, окруженная сестрами, которые учат ее и кормят, будто она пробралась сюда *хитростью.* Часто она говорила себе, что здесь она по недоразумению, что она находится в таком месте, куда попала не по праву. И тогда она не слишком ловко пыталась снять камень с души. В приемной. «Понимаете, я все же любила своего отца»,— говорит она. «Святая невинность!» — вздыхает сестра Мари-Клеманс. И недоразумение продолжается. Тогда она погружается с головой в нездоровое наслаждение обмана. Она описывает постоялые дворы, пивные, странные нравы, цыган, которые воровали кур, и один из закрытых для чужака домов, где однажды их укрыли от непогоды и где девочки дали ей гостинцев. Это еще не ложь, но уже подобие мифотворчества, очень утонченного, единственная радость, горькая и сладкая, которая тихо увлекает ее в *воображаемый мир.*

Продолжая эту двойную игру (так как она скоро становится лучшей воспитанницей монастыря, которая жадно поглощает отрывочные знания и сведения, преподносимые здесь, и которая с удовольствием соблюдает все требования устава), она мало-помалу приобретает исключительную остроту чувств, бессознательную, но безупречную интуицию. Хитрость проистекает из хитрости. Ее примерное поведение — тоже хитрость: она знает, что все это *неправда.* Это образцовая воспитанница, это трогательная сиротка, это набожное дитя, на

которое монахини возлагают определенные надежды, но она играет роль, играет ее легко, потому что знает, что это роль. И из сомнения в себе рождается сомнение во всем окружающем. Этот выстроенный фасад — всего только фасад? Беспокойство прежних дней давно миновало. Она отказалась от прежнего одиночества. Можно ли поверить, что двенадцатилетняя девочка обладает духовным опытом? Такое случается нередко. Тому причиной была внезапная перемена участи. Подобные перемены рано или поздно случаются в жизни, и реакция ребенка бывает более естественной, более безоглядной, чем у взрослого. Анна не была к этому готова. Она оставила позади голод, холод, нищету, унижения, она познала все и хорошо усвоила урок. В нынешнее состояние ее привел инстинкт, и это ей нравится. И тут, под защитой крепости, выстроенной из обмана, она наблюдает за другими и держит их в своей власти. Поскольку они все общаются с ненастоящей Анной, они ничего не могут против нее, укрывшейся в своей раковине. Она чувствует себя очень сильной. Скоро она ощутит вкус власти, потому что она и власть сливаются воедино. Примерная воспитанница — это реклама монастыря, оправдание его существования. Как и все монастыри того времени, монастырь Черных сестер знал и конкуренцию, и финансовые кризисы. Его богатые покровительницы могли отвернуться и понести в другое место свои пожертвования, составляющие основной фонд монастыря. Интересный случай, история Анны, может им польстить и удержать их. Ее очевидное могущество, которое она вскоре инстинктивно познает, пойдет Черным сестрам на пользу. Для дам Льежа, для самих сестер она — их доброе дело, доказательство их праведности. Потому что Анна больше, чем другие, представляет их достоинство и силу своего совершенства. Она так хорошо может сказать сестре Сесили, которая учит музыке: «Сестра, с вами я чувствую себя на небе!»

А сестре Анжель, которая занимается хозяйством, не без горечи говорит: «Что бы мы делали без вас, сестра? Самая прекрасная работа в монастыре — это самая скромная». Сестра Анжель краснеет от удовольствия. Анна наслаждается ее румянцем. Она учится искусству лести, она учится находить под покровом замкнутых лиц слабости, вводящие душу в искушение, мелкое тщеславие, подавленные желания, которые размеренная жизнь делает явными. Анна больше не скучает, и тоска одиночества позади. Так окольным, порочным путем Анна создала для себя внутреннюю жизнь. Разбив мрачный фасад монастыря, сокрушив слишком суровые правила, она проникла собственным путем в самую сердцевину затворнической жизни и, пока еще неведомо для себя, отравила ее своим ядом.

Ничего еще не произошло. Анне четырнадцать лет. В этом возрасте, когда одновременно присутствуют доброе и злое, со всей хитростью, со всей фальшивой, недоверчивой униженностью, не проявляется ли тайное желание девочки быть всеми любимой и боязнь не достигнуть этого? С этой привычкой искать слабости, недостатки в окружающих, разве нельзя искать дружбу в объятиях греха, во власти которого она себя ощущает? Грех — это возврат к детству, когда он наиболее ощутим, потому что не маскируется тысячей личин общественной жизни. Ребенок, который мучает животное, обижает товарища, ломает вещи или рвет книгу, не ищет оправданий своей жестокости и дурному поведению, не объясняет высокомерие чувством собственного достоинства, жадность нуждой, а похоть любовью. Он воспринимает зло как безвозмездный дар, точно так же, как и добро. Так же часто проявляется у него и духовное прозрение, глубина которого потрясает. Но чаще всего оно сразу же гаснет и возвращается лишь после тысячи перевоплощений. Анна пока еще пребывает в этом состоянии прозрения. Она играет этим своим состоянием,

наслаждается, не подозревая, что играет своей короткой жизнью. Как прежде, в сумасшедшие вечера, когда она играла со своим отцом, она и тут создает театр. Метаморфоза дня и ночи присутствует и здесь. Бывают слова-ключи, слова-знаки. Сестрой-настоятельницей с ее волей и властью, сестрой Сесиль с ее ангельской кротостью, сестрой Анжель с ее агрессивным смирением, сестрой Жанной де л'Аннонсьянсьон с ее частыми взрывами гнева — она научилась всеми ими управлять, возмущать их и заставлять улыбаться. Другие воспитанницы ничего для нее не значат, эти маленькие тени, коричневые и белые, неопределенные, бесплотные и бесформенные, ускользающие. Анну интересуют и влекут к себе только монахини. Пленницы и тюремщицы в одно и то же время, которые не могут вырваться отсюда, от нее, так же как и она не может и не хочет вырваться от них. Почему? Другие девочки думают о «внешнем мире», они знают, что пойдут служить в дома, в лавки, им предназначена судьба маленьких служанок, потому что всегда «берут кого-то из сиротского дома», когда есть нужда в черной работе, работе малооплачиваемой, ничтоже сумняшеся, эксплуатируется несчастье, в чем никто или почти никто не отдает себе отчета. Они совсем не ощущают себя жертвами, это веселые девочки, они предчувствуют воздух свободы, не задумываясь, что им придется дорого за это платить, они мечтают о балах, прогулках, новых лицах и прочих вещах, отличающихся от торжественных вечерних служб, ежедневных прогулок вокруг пруда, под покрывалом, с опущенными глазами.

Но Анну опущенные взоры очаровывают. Монотонные прогулки ей нравятся потому, что она провидит нечто в обманчивом покое. Что это: любопытство, влечение? Как определить чувства, которые оживляют длинные, тягостные дни, пробуждают настороженность?

В монастыре есть одиа сестра, Мари де ля Круа, которая обладает способиостью зачаровывать детей, как животных. Ее кротость подчнняет самых непокорных, необъяснимо делает более легкимн самые суровые урокн, смягчает обычные монастырские строгости. Говорят, что она нз зиатной фамилин и виесла в монастырь все свое приданое. Говорят, что ее неодолимое стремленне к монашеской жнзнн перевернуло все существование семьи, высокопоставленной н весьма светской, которая отныне строго следует заветам Евангелия. Говорят, что ее смнренне столь велико, а дух самоотречения столь снлен, что она порвала все связи с миром, отказалась от всех разрешенных орденом украшеннй в своей келье, н самое большое чудо, что ни одна нз монахинь на нее за это не сердится. Говорят еще... да мало лн что говорят! Говорят об экстазе, о чудовнщных умерщвленнях плоти, о стонах, доносящнхся из ее кельн, о кровн, проступающей сквозь ее монашеское платье... Моиахиин шепчутся ей вслед, за ней наблюдают в часовие, и нн для кого ие секрет, что мать-настоятельннца как-то сказала сестре Анжель: «Благодаря Марн де ля Круа, возможио, когда-ннбудь наша маленькая обитель сравияется с ианболее прославлеиными...» Скромиая гордость, которая не считается греховной, но которая все сокрушает.

Потому что жажда чуда в иачале XVII века столь велика и столь снльио искушение совершить что-то, казалось бы, «для вящей славы Господней», а иа деле «для вящей славы своего ордеиа». Эта жажда чуда не была снльна в эпоху самой глубокой веры, н не случайна эпндемня сатаннзма и одержнмостн, охватнвшая Европу, начнная с XV века, в то время как подобные случаи столь редкн и исключительны в самые темные времена средневековья. Некоторое ослабление веры, расколы, ересн, Реформацня, движение катаров моглн подвнгнуть нанболее благорасположенные душн к вполне

законному желанию достичь абсолютного торжества веры, увидеть ее земную мощь и доказать истинно верующим неколебимость ее постулатов. И не удовлетворяясь заслугами святых, ежедневными подвигами самоусовершенствования, результаты которых скажутся нескоро, у истинно верующих с их жаждой чуда, чего-то из ряда вон выходящего, сверхъестественного, стало неимоверно расти желание испытать бедность и страсти по Евангелию. Сюда надо прибавить амбиции, законные и незаконные, орденов, часто соперничающих и вербующих себе сторонников за счет друг друга. Известно, что трудности, с которыми столкнулась святая Тереза из Авилы при реформировании монастырей ордена кармелиток, были связаны с опасениями других орденов, что сбор дополнительных средств приведет в отчаяние верующих, которые по временам бывают весьма скупы. С другой стороны, как раз в ту эпоху, когда Анна де Шантрэн находилась в Льеже, появились одержимые из Лудена. Их забрасывали дарами (а можно ли сказать, что эти публичные эксперименты, похожие на представления в ярмарочных балаганах, возбуждали лишь «святое» любопытство?), и с тех пор как одержимость теряла силу и живописные ее приверженцы чуть не умирали с голоду, ее уделом стало всеобщее равнодушие. Что же удивительного в том, что эти несчастные, одержимые (возможно, и симулирующие одержимость) кое-когда удвоят ужимки и прыжки и примутся за пляски на канате, подталкиваемые нищетой и другими искушениями, не последнее среди которых — привлечь как можно больше людей? Политика, религиозные интересы, патология, то есть просто-таки корысть, абсолютная в своей безысходности, присутствуют в Луденском деле, и в этом тоже знак эпохи.

Чтобы не слишком углубляться, достаточно сказать, что множество монастырей обеднели, множество уставных правил не выполняются (потому среди сильных

мира сего возникла мода проявлять отвращение к тому или иному ордену), и эти монастыри без зазрения совести обратились к кое-каким свидетельствам милости Божией, чтобы стяжать милости земные. Появление какого-нибудь святого или блаженного — конечно, большая редкость, но можно довольствоваться меньшим: монахиней, осененной благодатью, впавшей в экстаз, одержимой и творящей чудеса,— иногда этого достаточно, чтобы захудалый монастырь обрел славу. В обители Черных сестер ничего подобного не водилось. И потому амбиции настоятельницы были тем более извинительны, что в основе их лежало дело милосердия, которое она творила от чистого сердца, но желала, чтобы об этом знали. Желание само по себе вполне законное, однако оно несло в себе опасность обращения к сверхъестественному, которое они ожидали и чуть ли не призывали.

И несмотря на эту благодатную почву, никакого чуда, никакой одержимости, ни малейшей милости Божией в обители Черных сестер не появилось. Монахини сами по себе были безупречны, осторожная уравновешенность, возможно, проистекала из их воспитательной деятельности, которой они занимались с неподдельной заинтересованностью и бесхитростным милосердием. Конечно, некоторые немного отвлекались, принимали гостей, даже пели романсы; другие небрежно исполняли устав, не соблюдали посты, когда представлялся случай, подавали воспитанницам дурной пример, хвастаясь своим высоким происхождением и добродетелями, но не было ничего, даже отдаленно напоминающего связь со сверхъестественным. Тем не менее случай с Мари де ля Круа в значительной степени возбуждал умы. Когда Мари де ля Круа поступила в монастырь, она столкнулась с завистью, слежкой, недоброжелательством, но ей удалось всех разоружить и избавиться от враждебности благодаря щедрости, с которой она раздала безделки, великое множество которых она привезла с со-

бой (известно, какую цену могут иметь ленты, зеркало, ноты романса для девушек, привыкших обходиться абсолютно без всего), и простоте, с которой она отказалась от всех привилегий, предоставляемых ей ее происхождением,— а ведь есть множество монастырей, где совершенно не признается святое равенство, а действуют все мирские отношения. Особым образом Мари показывала, что ей нравится общество сестер более скромного происхождения (по большей части горожанок и немногих крестьянок, экономок, привратниц и сестер, приставленных к кухне), она играла в домино с сестрой Анжель, переписывала ноты для сестры Сесиль и (то, что считалось из ряда вон выходящим) позволяла себе смеяться над убогими монастырскими шуточками, интересоваться (сохраняя, однако, достоинство) мелкими монастырскими склоками... Короче говоря, она была само совершенство. Но через два-три года здоровье сестры Мари ухудшилось. Она внезапно бледнела, прикладывала руку к сердцу, говоря при этом, что чувствует себя отлично,— верный признак тяжелой болезни в доме святости. Однажды она потеряла сознание на хорах. Она плохо спала, из ее кельи слышались стенания. Полное лицо ее осунулось, под глазами проступили круги, однажды на ее одежде появился след крови — и возник ореол. Сестра Мари сильно покраснела. Все признаки тут же были замечены, и начались обсуждения: было отмечено, что сестра Мари в трапезной оставляет еду на тарелке,— один лишь Господь знает, до чего скудным был монастырский стол; она сделала сестру Анжель своей наперсницей, а сестра Анжель строже всех соблюдала устав; и пошли разговоры, что сестра Мари жаждет святости. Вещь в те времена вполне естественная; часто в монастыре с его обычным контингентом светских дам, старых дев и крестьянок появлялись одна-две монахини, доводившие себя до исступления, несколько душ устремлялись на завоевание небес таким же образом,

как рвутся участвовать в соревиоваииях, а уж если в одиой обители иаходятся две-три чемпиоики аскетизма, то иачииают разыгрываться иастоящие турииры, причем нскреиияя иабожность не исключается н, можно сказать без предубеждеиия, появляется даже какой-то спортивиый дух. Эти великие оргии поста, эти опустошительиые сражеиия самопожертвоваиия, эти подлиииые рекорды вызывают восхищение. Известеи случай святого Петра нз Аль-Каитары, который спал всего два часа в суткн, да н то сидя иа корточках; более близок нашему времеии случай с кюре из Арса, который съедал всего лишь иесколько вареиых картофелии в иеделю, особеиио радуясь, если картофель оказывался подгнившим; можио вспомнить еще чудесиое паломиичество в XVII в. дьякоиа Пари, исходившего всю Францию пешком в плохое время года по кочкам и оврагам, чтобы освонть, еслн я осмелюсь выразиться подобиым образом, иовейшую технику умерщвлеиия плоти.

Посредствеиность, одиако, ие была ндеалом благочестия. А веком раиьше, в эпоху, когда Аина де Шаитрэи жила в Льеже, иикого ие удивляло, еслн какой-то моиастырь жаждал, что в его стеиах воссияет одни из чудесиых цветов святости. Без сомиеиия, в этой иадежде присутствовала и мечта о чуде; без сомнения, присутствовало и миого лишиего, и тут был рнск вызвать к жизнн патологнческое, столь тесио связаииое с феиомеиом мистического. Но безумие было прекрасиым, чаяиия исполиеиы веры и безграиичиого оптимизма, который мы теперь утратили. Облагородить веру — разве это ие зиачит отрицать собствеииую волю к преображеиию?

Сколько же моиастырей, желая нметь святую илн блажеииую, держали в своих стенах монахинь, отмечеииых стигматами, более или меиее подозрительиыми, полусумасшедших тихих эксцеитричек, истеричек, одержимых, выявляя среди их по времеиам истиииых при-

верженцев дьявола! Где же правда? В вере, которая вырождалась, допуская зло, нлн же в заботе о чнстоте помыслов, когда забывают о всемогуществе благодатн, о самоочевндностн существованння сверхъестественного, воплощения его в себе? Но здесь не место представлять в целом нлн деталнзнровать это протнворечие. Мы рассказываем прекрасную нсторню, вызываем к жнзни нанвный образ, любопытный сам по себе, подобный тем, что мы находнм в старых, заброшенных фламандских часовнях. Это старая, потрескавшаяся картнна, почерневшая от временн, на которой едва можно разлнчнть фигуру, держащую в руках розу; это маленькая восковая группа, немного оплавнвшаяся под стеклянным колпаком, засиженным мухамн, на который уже никто не обращает внимания. Это днтя, маленькая девочка, которая глядит вокруг себя, извращенно забавляясь образамн, которые ее окружают, дергает нх за веревочкн, провоцирует реакцни, примеряет эмоцнн, как примеряют костюмы, маленькая девочка, как многие другие, которая кончнт костром, как другне, даже не зная, была ли она на самом деле прислужницей зла. Она будет отвечать «да», она будет отвечать «нет», она будет слншком громко кричать о своей невнновности, что не совсем верно, она слншком легко прнзнает свою вину, и это ее успоконт. И все это вперемешку, в то время как судьн множество раз будут задавать ей вопросы, чтобы узнать, не безумна ли она. Но разве весь мир безумен? Шабашн, котлы, зарезанные дети, животные, которым поклоняются недостойным образом, ритуалы, оргни, гротескное убранство, порочное н ужасное,— не порождение лн это человеческого разума? Более того, не странная лн это общность, объединяющая судью н обвнняемого, палача н жертву? Это невероятный мнр, нечнстый, жестокнй, ннфантнльный, кошмар, пронсшедший от этого ужасного союза, как чудовнще, порожденное двумя химерамн. Судья н обвнняемый, взанмно

оплодотворяя друг друга, служат друг другу поочередно то инкубом, то суккубом Этот механизм, эта адская машина пока что наготове, ее может привести в действие что угодно, даже наивная греховность помыслов ребенка. Потому что и в смертный час Анна была еще ребенком (и, умирая, она в конце концов утешилась тем, что ускользала от постоянного конфликта между воображением и реальностью, и то, и другое так крепко переплелось, что она заблудилась в этих дебрях, как в лесу кошмаров, и единственным выходом для нее оказалась смерть), и ребенком она была тогда, когда поступила в обитель Черных сестер, именно ребенком, обладающим магической властью и тончайшей интуицией детства, ощущением сверхъестественного и пониманием воображаемого, что тесно связано друг с другом,— в этом и заключается главная опасность, опасность для жизни в то время, опасность для разума во все времена.

Анна полюбила Мари де ля Круа, она полюбила ее обеими сторонами своей натуры, она полюбила ее духовно за ее духовность, она полюбила ее в воображении за ее воображаемый мир, за чудеса, которые от нее ожидались. Вся обитель разделяла это неясное чувство. Была ли Мари столь беспорочна, чтобы выдержать это? Она переносила враждебность с кротостью, на радость своим почитателям. Анна испытывала на ней все свои сомнительные штучки; она пыталась вывести ее из себя, изображая непонимание и тупость, она пыталась унизить ее, задавая вопросы по тем предметам, которым Мари ее не учила; старалась ее смутить, поверяя ей самые ужасные богохульства, когда-либо услышанные, или грубые сцены, которые ей довелось видеть во время странствий с отцом. Мари оставалась непоколебимо кроткой. Тогда Анна попыталась пустить в ход страхи, потом постаралась превратить эти страхи в чары. Она демонстрировала усердие и прилежание, стремилась удо-

стоиться одобрительного взгляда; Мари хвалила, одобряла ее, но как-то небрежно. Анна стала постоянной обожательницей Мари. Покорность ее стала сервильной, старания безграничными, глаза ее все время были устремлены на Мари, любовь ее к Мари стала властной и агрессивной, как ненависть. Мари улыбалась, и Анна наслаждается смятением собственных чувств (это ее и погубит): она любит Мари и играет в любовь к Мари. Она поклоняется ее образу, и тем не менее ей хотелось бы сокрушить его и уничтожить. Желая в душе, чтобы Мари была безупречной, она старается постоянно ее испытывать, что вполне естественно, но при этом она жаждет видеть ее падение. Что же, для нее совратить — это обладать? Вот что это такое: совратить — это значит овладеть, поскольку это означает совершить действие, гораздо более весомое, чем самостоятельный порыв души, но это означает владеть в воображении, потому что, совращая, уничтожают то, чем можно владеть в реальности. Анна загнана в угол, смущена своей зарождающейся женственностью, раздвоением чувств, но она загнана в угол не всерьез. В ее жизни, столь краткой, драма взросления не является прологом, не является зародышем или предвестником того, что будет потом, тут все, и потому все полно символического значения. Анна, играя в духовную жизнь, играет также и в жизнь физическую, и это придает игре, наблюдаемой со стороны, патетический характер, подобно бою быков. Но тут лишь одна сторона вопроса, преображенная эпохой живописная сторона этой духовной драмы, то, о чем Пеги говорил: «Все сыграно в двенадцать лет».

Фразу можно понять и буквально, потому что в двенадцать лет, действительно, играют. В двенадцать лет играют на сцене, играют героя в интересной истории, но реплики, которые произносят, не вникая в их смысл, жесты, которые делают, чтобы примериться, как

прнмеривают маски, кажутся зрнтелю исполиеиными глубокого смысла, по ним можно предсказывать будущее, как по прекрасиым картиикам, нзображеиным иа гадальиых картах. У Аниы будущего иет, н когда оиа увидит, что ее жизнь окончена, в очеиь чнстой маленькой тюремной камере, в ту зиму, когда ей исполиится семнадцать лет, оиа сто раз виовь пройдет свою роль, виовь услышнт все до одиой реплнки, вновь просмотрит пьесу сцеиа за сцеиой, и все перемешается у иее в голове; как же различить, что было иастоящим, что фальшивым? Главные герои, снмволы в театральиых одеждах, подающие свон моиологн,- разве это достоверио? Мари, аигел, под иогами которого расцветают розы, Кристиана, чертовка, Лораи, красавец вор, отец, нескоичаемые дороги, мечты, сцеиы с бутылкой, сцеиы страха, сцеиы с участием примерной воспитаниицы — это гиньоль, с механическими жестами, малеиькнй театр ее совестн, луч света, иаправлеииый вовие, оиа представляет себе все это сто раз, тысячу раз, в то время как она, потеряииая, мечется, задает себе вопросы, ие зная, что делать, н может только повторять фрагменты своей драмы.

Но она его сыграла, спектакль рока. Прнчем дважды: удар грома, н оиа его прожила. Два мгиовеиия одиой жнзии, когда завеса разрывается и обиажает душу, живущую в теле, и от этого иикуда ие уйти. Два мгиовеиия, когда вдруг ие хватает текста, когда иет выбора, иет возможиостей: когда иикуда ие деться от себя самой. А третье мгиовеиие — костер. Но у кого за всю жизнь иайдется более двух-трех момеитов истииы? Умирающий ребеиок, зарождающаяся любовь, опасиость смерти, опасиость жнзии, н вдруг ты замечаешь, что спишь. А иногда настает миг чистейшей благодати, пчела садится на розу в правнльно разбнтом саду, и это рождает легенду. Остальное время... Сои, иаселеииый несиыми вндеииями, которые очеиь трудио разгадать.

Темный и теплый покой наливающегося соками, обрастающего ветвями и листьями тела; все это циркулирует внутри: она пока еще вещь в себе. Тоннели, пещеры, алые проблески — все это кружится, во всем и добро и зло; ты задыхаешься и, наслаждаясь, не замечаешь этого. Не замечаешь до момента, когда сквозь отверстие раны проникают потоки воздуха, и ты вздыхаешь полной грудью, разве можно это когда-нибудь забыть? Боль от раны способна принести радость: вечером, идя по длинным коридорам, по холодному, натертому полу, по вощеным плитам, по бесконечной черно-белой шахматной доске переходов, Анна в одиночестве слышит звук своих легких шагов, таких печальных, гнетущих, останавливается у входа в часовню, нерешительная, привлеченная тишиной. Быть может, в этот вечер она лишена абсолютно всего, у нее больше ничего нет, даже грехов, это мгновение, когда кажется, что можно сделать любой жест, прокричать любое богохульство, все погрузиться в тишину, чтобы исчезнуть навсегда.

«Я желал бы совершить ужасный грех,— говорил Лютер,— чтобы посрамить дьявола и чтобы он понял, что я не числю за собой никакого греха, что моя совесть абсолютно чиста».

Это победа над воображаемым (а что же такое грех, как не воображаемое, которое не хотят облечь в плоть и кровь, оно — тщета) — тоже томление духа. Это благодать, кажущийся разреженным чистый воздух, которым трудно дышать. И вдруг тебя охватывает восторг, ты задыхаешься, прежде чем очиститься от греха. Анна делает шаг по направлению к часовне. Привычная тишина, густая, томящая, однако влекущая. Тусклый свет лампады под скорбящими статуями святых; обитель бедна, на нее не работают настоящие художники, фигуры святых, вышедшие из-под неумелого резца, похожи на грубых идолов, замерших в одури. Нарочитые жесты, запечатленные холодной рукой ремесленника, мученики,

застывшие в тряснне посредственности, ни малейшего двнжения души не могут породнть эти старательно вырезанные колоды, украшенные простеньким орнаментом. Часовня напоминает маленький, изукрашенный ларец, детскую нгрушку, безвредную, не имеющую ценности, и вдруг у подножия прндела — неподвнжиая фигура, бледный овал, ледяное пламя: Мари де ля Круа. Она едва дышит, губы у нее посинели. Она почти бесплотна и окаменела, одеяние висит на ней, как на манекене. Пустота, опустошенность. В чем причина? В глазах пустота, она больше не прекрасна. Рука Аниы касается напрягшегося плеча. Ничего. Ничего не ощущают дрожащие пальцы, кроме мертвой плоти, одеревеневших мускулов, неведомо как скрепленных костей, это скелет, машина. Анна отступает. Экстаз представляют благоуханным, тонущнм в звуках небесной музыкн, с улыбкой, нежнее ангельской, а тут — землистый цвет лица, труп, большая кукла, одетая монахиней, крепко сцепившая руки. Смешно, ужасно, страшно. Анне захотелось закричать. И в то же время ее охватил необъяснимый восторг. Что-то происходит, наконец, впервые с тех пор, как она родилась на этот свет, что-то происходит.

Какое чувство охватило ее: удивления, надежды? Она хотела бы убежать, но она остается здесь, ожидая, когда оживится взгляд, застывшнй, как стоячая вода, когда оживут мертвые глаза, лишенные влагн. И взгляд возвращается, и взгляд встречает взгляд. Решительный момент. Душа Анны, быть может, впервые обнажена. Готовая ко всем лишениям, ко всем иизостям, ко всем благодеяниям. Она тоже опустошена, оцепенела. Обнажена самая чувствительная точка души, то место, через которое может быть нанесен уничтожающий удар. А выдержала бы Марн столь всесокрушающий удар? Проходит мнг, прежде чем она придет в себя под этим взглядом. Затем зажигается огоиек стыдливости, вполне естественной. Но, впрочем, что может быть естествен-

иого в партии, которая тут разыгрывается? Монахиня краснеет от того, что ее видели в таком состоянии, с совершенно обнаженной душой. И желание сохранить на мгновение, всего лишь еще на мгновение, в своем сердце этот сверхъестественный покой, который был ей дан,— это большое искушение; потому что покой, который, хотя бы на мгновение, она пытается сохранить, есть соблазн. И наконец, тут боязнь гордыни, которая сама по себе есть гордыня. Мари испытывает все это одновременно, она обнажает свою простоту, свою гротескную и великолепную наготу, она вновь становится иемощной. Перед глазами взволнованного ребенка, который боится и жаждет чуда, она не может отважиться явить это чудо. Она убегает.

И с этого дня в нетронутой душе Мари де ля Круа появилась трещина. Сад за оградой, запечатаиный фонтан — все это было осквернено. Жадные взоры Анны преследовали ее повсюду. Восхищение Анны — яд, сводящий ее с ума. Стойкая духом молодая девушка обращается теперь в раненую Пентесилею. Маленькая девочка, маленькая куничка, выслеживает ее, подстерегает — жаждущая сверхъестественного, как зверь жаждет крови. В часовне, в келье — нигде больше Мари не чувствует себя в безопасности. Она, Мари, не чувствует себя в безопасности! Значит, и небесная благодать не гарантия безопасности? И если Богу было угодно ниспослать на вас сомнительную избранность провидца и знахаря, низменную популярность чудотворца, разве Богу угодно, чтобы кто-то эксплуатировал вашу чистую, лилейную любовь, чтобы ее продавали, выставляли напоказ? Если Богу угодно, чтобы вы стали ученой обезьянкой, больной, истеричкой, которую другие сестры, сообщницы, но не обманутые, выставляют на обозрение благодетелям монастыря, не слишком ли дорого платить за спасение этой маленькой души, любопытной и порочной, которую одним взглядом можно было бы вылечить?

«Я хочу,— сказала Мари,— быть монахиней, как другие».

А если Господь распорядился иначе? Не является ли посредственность самой страшной ловушкой для гордыни? В час чтения покаяиных молитв Мари простирается на земле, выкрикивая свое отчаяиие.

— Я повернла в мнлость Божью. И меня обуяла гордыня. Я иаполнена суетиостью, как бурдюк. Пусть меня раздавят!

Настоятельница внимательно, точно лаборант, следит за ходом опыта: иитересно, ртуть все-таки взорвется? Откроет ли Мари философский камень, «который все превращает в золото»? И даже в золото мирское? Ее окружают бесстрастиые лица, широкие, симметричиые складки одежд. Иногда проблеск в оцеиивающем взгляде, публичная исповедь — это искусство; Мари принялась совершеиствоваться в нем. Волиения, унижения, слова, которые она отрывает от себя с сожалением, с видимым страданием, будто срывает с себя одежду: рождается беспокойство, укрепляющее веру... Однажды вечером Аниа прячется среди церковиых кресел. Холод часовии, похоронные сполохи свечей, белый и черный мрамор, нелепые статуи, плоские восковые лица лишают покоя. Потом приходят монахиии, те же сестры, которых видишь так близко каждый день в огороде и за чтением молитв, и вдруг оии превращаются в носительниц какой-то тайны, не приносящей добра. У них восковые лица, они тоже, как статуи,— размеренные движения, звук колокольчика, глухие голоса становятся громче, обвиняют... И вдруг видения; Аниа виезапно вспоминает ужасающее, подозрительное, возбуждающее зрелище, которое так поразило ее в восемь лет: харчевню в клубах дыма. Голоса, звучат голоса, они, как в бреду, будто воздвигают что-то невидимое.

— Я согрешила, я сильно согрешила...

— Я ему хорошо ответила, поверьте.

— Мне не хватило терпения, настойчивости, милосердия...

— У меня было больше денег, чем разрешено иметь...

— Я судила о сестре пристрастно...

— Прекрасная женщина с волосами цвета ржи...

Это только мечта, длинная, монотонная мечта, как дорога, по которой катилась, покачиваясь, тележка. Мари говорит, голос у нее больной, дрожащий.

— Я поверила в небесные видения... Я позволила душе ощутить блаженство... Я наслаждалась собственной молитвой...

Спокойные глаза настоятельницы, оценивающие, выжидающие. Философский камень или взрыв? Или мгновенное погружение в темный омут беспредельного возбуждения? Глаза сестер: «Надо посмотреть, к чему это приведет». Дрожь Анны, пленницы своего кресла: что-то произошло. Прорыв в унылой череде тел; Бог или дьявол. Мари узнала ее, что-то произошло.

— Итак, вы больше никогда не покидали эту сестру, Мари де ля Круа, которую так ненавидели?

— Это святая,— шепчет Анна со странной смесью восхищения и богохульства, переполняющей ее.

Святая! У сестер имеются еще кое-какие основания хранить молчание, хотя они всем своим сердцем призывают чудо. Но ни в коей мере не у девочек, они не ждут. Откровения Анны ходят по монастырю, потом попадают в город, дополненные и приукрашенные. Анна познала радостное волнение, выставив свою Нежно Любимую в чем мать родила на всеобщее обозрение. Она ее превозносит, она ее ненавидит, не желая больше верить в ее святость. Она мстит, она провоцирует: «Святая!» Она еще надеется. За спиной у Мари шепчутся. Она страдает. Она плачет. Анна наслаждается ее слезами, ее воля становится злой. Мари остается *только*... Ей только и остается стать святой на самом деле. Она почти не осмеливается молиться. Она боится

нолета души, она его сдерживает, отталкнвает, отказывается от него. Полная смятения, она отвергает участие в этом гнньоле, она не хочет быть набожиой марнонеткой, которой управляет неизвестно кто. Однако теперь управляет ею Анна при помощи обожающих взглядов, поклонення напоказ, безжалостной требовательности. «*Вам больше ничего не остается*»,— говорят глаза девочкн. Мари боится. Боится согрешить, боится не согрешить. Боится нзбранничества, боится оказаться недостойной. Чего ей не хватает: решнмостн илн душевной чистоты? У монахинь вообще не так много душевной чнстоты: они достаточио насмотрелись на ясновндцев н бесноватых; они пресыщены высоким и ннзким своего призвания, своего избраиничества, своего милосердного служення. Но существует и легковерие. И заботы, как выжить н преуспеть. Марн горестно отдавала себе в этом отчет. Она начинает яростно обвинять себя.

— Я не была снисходительиа к сестрам...

— Я не была милосердной...

— Я не была скромной...

Она мучит, разрушает себя. Ей кажется, что все грехи, о которых она сказала вслух, тяжкнм грузом легли на нее, прнжнмают к земле, душа ее больше не взлетит. Но напрасно она заходит столь далеко в своих признаниях, в своем самоотреченин, начнная уже извлекать из этого наслаждение: благодать всегда пребывает с нею (хоть и горькая), а глаза Аниы бесстыдны, жадны... Однажды вечером в переходе Анна выбежала нз-за поворота, бросилась к ее ногам и стала целовать край ее платья. Обдуманный поступок, испытание огнем, Марн отступает, взволноваиная.

— Этот ребеиок — сущий дьявол!

Она освобождается, убегает. Анна торжествует, а потом пускает слезу. Не потребовала ли оиа для себя небеса в надежде увидеть ангела? В конце концов она только девочка. На следующее утро прекрасной и благородной

сестры здесь больше иет. Она попросила перевести ее в другой монастырь и, пока все уладится, отдыхает у родителей.

— Я больше ее не увижу?

— Какая разница, дитя мое? Не надо ни к кому привязываться...

Кто погиб в этот день: Анна или Марн де ля Круа?

Это не помешало тому, что очень скоро Анна попросила приискать ей место. Она просила поместить ее в городе, как и других. Служанкой или нянькой, как угодно...

— ... Как и других.

— Но мы надеялись, днтя мое...

Удивление, не больше.

— Я недостойна, мать моя.

Театр, как всегда. Но ведь это неправда, будто она чувствует себя иедостойной чего-либо.

— Возможно, я и вернусь.

Она оставляет себе эту возможность, эту надежду. Все девочки, даже самые испорченные, любят сказки со счастливым концом, апофеозы, театральные машины, возносящие к небесам торжествующего героя илн героиню. Она вернется, возвеличенная чем-ибудь, сопровождаемая восхищенным шепотом, она воплотится в прекрасном образе, от которого отказалась Мари. Выиуждена была отказаться. Потому что Мари не была святой. Она была слишком скромной, но недостаточно смиренной. Образ притягательный, таинственный. Не знаю, что с ней случилось. Она была из тех высоких душ, набожность которых слишком утонченна для эпох, когда вера была чересчур крепким элнксиром, который нужно было уметь переварить. Можно ли погубить себя избытком утонченности? Надо полагать, что да. Не является ли вера чувством слишком личиым, слишком особеиным, чтобы отказаться превратить себя в образ, идола? Контраст между мрамором поклонения, который

их заключает, и живой душой — одиа из форм мучеиичества святых. Мари отступила. Оиа обмаиула остальиых своей великой сцеиой в фииале, своим триумфом в театральиых одеждах, своими иазидаииями. Никто ие будет на иее сердиться. Но, быть может, какие-то души нуждаются в подобиых сцеиах, чтобы вознестись в царство духа? Таким образом, можно объясиить преувеличеииую жестокость, которая кажется сегодия бесполезиой, которая демоистрировалась под барабаииый бой и крики ярмарочиых зазывал:

— Спешите, спешите все присутствовать при великом подвиге, который мы совершаем во славу Божию! Двадцать дней без пищи! Сорок дией без сна! Спешите видеть аскета, который первым надел власяиицу с гвоздями!

Грубо, конечио, очеиь грубо. И толпы, жадные до зрелища изувечеиных, кровоточащих члеиов, суровых лишений, самоистязаний, испытывают нездоровое любопытство; жестокость обрушивается иа удивлеииую душу, может быть, это и есть путь к грубому и суровому утверждению превосходства духа... Обманутые в своих претеизиях, обманутые в своих духовных устремлениях, сестры без сожалеиия распрощались с Мари. В сущности, она была слишком возвышеииа... Одним словом, аристократка.

Что касается Аииы, ей иашли «место», раз оиа просила об этом. Не слишком завидиое. Сирота все-таки... Неизвестио, что стало с ее отцом... У женщииы, торговавшей по доверенности различиыми вещами, достаточно зажиточиой, бездетиой вдовы, Кристиаиы де ля Шерай. Аниу приняли бы в монастырь, если бы она захотела. Прииялн бы, коиечно, без восторгов, без восхищения, как Мари. Ведь Аииа была сиротой, бесприданиицей, для нее моиастырь — лучшая участь. Защищеииость, иекое обретеииое достоииство. Все преимущества. Любовь, материнство ие считаются таким уж благом, ими

легко жертвуют. Грубость мужчины, хрупкость ребенка сделали свое дело, и, если попадаются нечестивые монахини, есть много других, которых считают вполне счастливыми (в особенности это относится к девушкам из крестьянских семей), потому что монашество освобождает их от тяжелого труда ценой немногочисленных молитв. Таким образом, если бы Анна избрала путь монахини, ее бы не встречали возгласами: «*Аллилуйя*». Ее бы хорошо приняли, и все. «Наша лучшая воспитанница». Ничего бы не изменилось, кроме чепца. Но она хотела, чтобы что-то переменилось; ей уже четырнадцать лет. Последовали бесконечные слезы, наполовину искренние.

— Матушка, я не чувствую себя достойной... Самая тяжелая работа мне больше подходит...

Отличный текст, произнесенный с чувством. Настоятельница тронута.

— Я бы хотела остаться здесь... Я так привязана к сестрам... Может быть, позднее...

Сестры довольны. Они жаждут благочестивых волнений после отъезда Мари. Анна делает все, что может, рыдает, обещает искупить грехи отца, замолить свои детские грехи, короче, она уходит. И другие девочки с тремя су в кармане мечтают о музыке и лентах. Уходя, Анна вызывает больший интерес, чем если бы осталась. Итак, она уходит, очень довольная собой, с котомкой в руках.

На одной из улиц предместья прекрасный деревянный дом, в нижнем этаже лавка. Гиацинты на резном балконе второго этажа. Внутри крашеные стены, бархатные занавески; вдова торгует одеждой, мебелью, случайными вещами. Бегают приказчики, полное благополучие, почти богатство. Анна наблюдает за всеобщей активностью, смотрит на прекрасную, смеющуюся женщину, которая, стоя за прилавком, успевает смотреть в зеркало, дотрагиваться до сережек. Неужели это монахини называют «мирской жизнью»? Она входит.

Ее поместят на просторном чердаке, заставленном мебелью, предназначенной на продажу, вполне удобной. Этим же вечером она займет место за большим дубовым столом среди равнодушных к ней людей. Вдова, ее родственник и компаньон Лоран, двое приказчиков и прочие, без примет.

Обычные слова.

— Бери масло; отрежь себе хлеба; налей вина.

Еды ей не пожалели. Не спросили, как зовут. И она вдруг почувствовала, что совершенно ничего не значит. Тут она ощутила боль отца, маленького, бесцветного человека, полного ярости, которого дождь, казалось, смыл с дороги. Так смывают рисунок с аспидной доски, а он сопротивлялся, хотел жить, пусть краткий миг, вспыхнуть ярким, мгновенным огнем, готовый платить за это мгновение кровью.

— Только бы жить! Гореть!— говорит она себе, не зная, что этим ужасным каламбуром предсказывает себе судьбу.

Она презирает Мари, лишь на мгновение унесенную в иные пределы (она никогда не забудет это распростертое тело, эти посиневшие губы, это странное и прекрасное самопогружение), она презирает Мари за то, что та захотела *вернуться*. «Я,— думает она,— ни за что бы не вернулась». Она в миру не более чем худенькая девочка, грациозная, с острой веснушчатой мордочкой, с длинными бесцветными волосами, с размытой синевой глаз. Ни денег, ни положения, почти без имени, почти без существования. Она умеет читать и писать, вышивать. Такой она предстала перед прекрасной вдовой.

— Ты будешь приводить в порядок вещи в комнате за лавкой.

Слова упали, точно окончательный приговор, с полных уст вдовы. «Всю жизнь?»— думает Анна. И вот она чувствует, что у нее согнулась спина, как у маленьких старушек, которые проводят всю свою жизнь, починяя

старые вещи или моя на корточках грязные полы. Они всегда чем-то взволнованы, эти маленькие старушки с пустым взглядом, бормочут что-то непонятное, у некоторых из них были и муж, и дети; все выскользнуло из их скрюченных от работы рук, они пережили мужей, погибших на войне или умерших от истощения, детей унес голод или болезни, или они далеко... И они моют, чинят старье целую вечность, бормоча, бормоча все время, рассказывая что-то, никто их не слушает, они повторяют молитвы, которые все сливаются в длинную колыбельную нищеты. «Нет, я не стану такой»,— думает Анна. А чем другим она может стать? Маленькой белой мышкой, попавшейся в мышеловку вместе с множеством других мышей? А вдова красивая, волосы светлые, но не как лен, а как золото, у нее свой дом, свой стол, накрытый для всех, кто ее знает, она может распоряжаться Анной и говорить ей:

— Ты будешь приводить в порядок вещи в комнате за лавкой.

Анна возражает:

— Я бы лучше хотела чинить их у себя в комнате, мадам.

Черные, спокойные глаза становятся насмешливыми.

— Вот как? Почему же?

— Потому что в лавке мне не нравится.

Клиентура, окружающая хозяйку, шепоток по углам, тут назначают свидания, нет ничего хорошего в том, что девочка не догадывается сразу, что тут скрывается смутного и тайного. Что ж, вдова покраснеет? Нет, она смеется.

— Дурочка, можешь чинить, где хочешь. Можешь хоть две недели сидеть на своем чердаке и не спускаться вниз.

Осечка? Ничего подобного.

— Как же тебя зовут?

— Анна.

Анна устраивается, прнвыкает. Она наблюдает. Прежде всего бросаются в глаза веселье, выпивки, сомннтельные сделкн: средн одежды попадаются часы, медальоиы. Аине не надо объяснять, что пронсходнт. Она все поннмает ннстинктнвно. Кристнаиа играет роль здоровой, цветущей красавнцы, немного трактнрщнцы, немиого перекупщицы, кокеткн, моднннцы, очаровательинцы и, может быть, женщнны легкого поведення. Прекрасиый плод в бархатной коробке, дурная репутацня ей льстит, это провннциальиая красавица, первая красавнца квартала. Почти каждый вечер за столом ее родствеинпритнк Лоран. И друзья. Друзья, которые много путешествуют, которые прнвозят нз путешествнй добычу, скорее похожую на крадеиое, чем на куплеииое. Аниа поннмает, что онн сообщннки, она узнает нечто знакомое. Даром, что ли, она до однниадцатн лет таскалась по дорогам, ей знакомы ярмаркн, харчевни, полные дыма ночн. Что это, сообщество разбойннков? Может быть. Но еще н мечтателей, одурмаиенных, сообщество без любвн, сообщество почтн враждебиых друг другу людей, почти ненавндящих друг друга... Взрывы хохота, обильные возлняння не в состояннн надолго замаскнровать этн страиные связн, которые оиа разгадала. Оиа сидит иа дальием конце стола, непрнметная девочка, до поры до времени довольиая жизнью: она готовнтся перейтн в иаступлеине. Крнстнаиа смеется от душн: одиако в этом чувствуется некоторая натянутость. Тут ощущается какая-то горестная нотка, таящаяся на дне душн. Открытый взгляд смелого красавца Лорана, велнкодушиого разбойника, веселого, сказочного гулякн, по временам ожесточается, покрывается морозиым туманом. Цветиой заднкк в брейгелевскнх тонах время от временн под взглядом девочкн замнрает, тускнеет. Что-то постояиио пронсходит там, за сценой. И снова все ожнвает, но Аниа что-то заподозрнла. Мир вокруг становнтся малоразлнчимым. А сама она всего-навсего иевзрачиая снрота,

девочка нз монастыря — что она такое? Почтн инчего, малеиькая служанка среди веселых торговцев, которые ие обращают иа нее иикакого виимания.

А ночами внизу, под чердаком, загадочная суета; Аииа сидит, запершись.

— Не выходи из своей комнаты по иочам.

А оии все ходят. Вдова встает поздио. Оставаясь одиа в доме, Анна иногда размышляет о Мари де ля Круа, о монастыре, таком близком н таком далеком. Что делать, что предпринять? Во время вечерией сутолоки оиа себя чувствует такой чужой, такой иенужиой, ну точио как в тишиие моиастыря. Лишь изредка брошеиный на иее взгляд Кристианы иапомииает, что оиа все существует.

— Аина!

— Слушаю, мадам.

На мгиовение их взгляды скрещиваются, проникают один в другой, и обеим трудно отвести глаза. Глаза Аииы вопрошают, в глазах Кристианы сомнение. Но оии не лгут. Короткие вспышки среди долгого, сумрачиого дня.

— Тебе ие скучио там, наверху?

— Нет, мадам.

— Спуститься не хочешь?

— Нет.

Неуверенность, колебаиия?

— О чем ты думаешь, когда шьешь иаверху?

— Я молюсь за вас, мадам.

На этот раз удар иаиесеи. Какой иистинкт движет девочкой и как ей удалось сделать свою жестокость вдохиовеииой? Кристиаиа бледиеет, ее чериые глаза вспыхивают, и в полубреду оиа шепчет:

— Молись, молись...

Аина сиова живет полнокровиой жизиью.

И оиа иачиет следить за Кристианой так же, как следила за Мари, с тем же свирепым усердием. Кристи-

ана, прекрасиая, смеющаяся, вся золотая, все-таки очеиь раннма. Какое открытне! Какой ключ! Аииа нашла свою роль и свое амплуа. Снротка, служаика, н вот виезапно в ее руках целые охапки роз, прямо как у святой Елизаветы. Оиа больше ие иевидима. Слова, обращеииые к ией, те же, ио все изменилось.

— Передай хлеб, иалей вниа.

В этих словах какая-то иовая иежиость, смешаииая со страхом. Аииа в конце стола, с опущеииыми глазами, оиа ие реагирует на шутки, ие пьет пива и сидра, но она обрела что-то иеизъясиимое. Вызов:

— А вот наша малеиькая святая Аииа спустилась нз своего убежища!— шутит Лораи, худой, с властиым лнцом.

— Ты все еще молишься за иас?— осмеливается спросить Кристиана.

— Конечно, мадам.

Раздается смех, и Аине в ием слышатся н страх и гиев. Если бы оиа могла повелевать ими... Оиа охвачеиа какой-то опьяняющей снлой, ио не знает, откуда это.

Ей бывает страшио. Утро, длиииое, серое утро она проводит в маисарде одиа, шьет, бескоиечно шьет, а за окиом звенят колокола, иепрестанио, н она молнтся. За нх обращеиие иа путь истиииый. Если бы иастоятельннца ее сейчас увидела, оиа была бы довольиа. Аина молится от всей души.

— Пусть оии обратятся иа путь истииный, пусть оии меня полюбят.

Собствеиио, это одио и то же. Ребеиок, выросшнй без матери, оиа молит Пресвятую Деву победить чужую красоту. Оиа, тощая, с тихнм голосом, невзрачиым лицом... И она протнвопоставит свою тайиую силу вызывающему очароваиию Кристнаиы. А есть ли у иее другие средства? Если она встаиет ночью, стаиет подсматривать, ие откроется ли ей другая действительиость, отличная

от беззаботности, которую ей стараются навязать? В монастыре, за каждым лицом, немым, замкнутым, скрытым чепцом, какое было широкое поле для наблюдений, чего только она не открыла! А здесь маской служит веселость, раскованность, смех, красота.

«Я сорву с вас эти маски»,— думает она с яростью и тайным восторгом.

Иногда у Кристианы глаза красны от слез. Анна невзначай дотрагивается до Лорана в коридоре. Он останавливается. На миг в темноте их дыхание смешивается. И все снова, как было. Старая женщина огрубевшими руками, согнувши спину, моет пол; мгновенный взгляд, брошенный на ослепительно белое тело Кристианы. И все снова, как было. Маленькая Клодина, цыганка, достает из мешка простыни, с которых надо снять метки, и кружева, в доме шум, и она вздрагивает, готовая бежать,— напуганное животное, отовсюду гонимое. Страх отпечатан на всем ее теле, тоненьком, как прутик. Страх, недоверие, готовность спрятаться, готовность кусаться — она прекрасна в этот момент, даже прекраснее Кристианы... И все снова становится, как было.

Анна потрясена, другие тоже нельзя сказать, что спокойны. Немое присутствие девочки, неизъяснимого существа, которое находится здесь, в доме. Никто не знает, что думает эта девочка, что делает, но это еще ничего.

— Какая она тощая! Больше двенадцати лет не дашь..

И им кажется, что они все сказали. Она появляется вечером, за ужином, она все еще молчит, молчит постоянно, до умопомрачения. Все меняется.

Меняется и жизнь Кристианы: в ней пробудилась нежность бездетной женщины при виде ребенка, безмолвного и некрасивого, при виде этого существа на дальнем конце стола: лицо невинности? Или только личина?

— Анна, остаешься с нами сегодня вечером?
— Нет, мадам.
— Боишься?
— А вы?— парирует девочка.

Кристиана бледнеет, она опять расстроена, и, может быть, ей это даже нравится.
— Анна, ты счастлива здесь?
— Нет, мадам.
— Ты несчастлива?
— А вы?

Удар, ответный удар, каждый приносит наслаждение. А знает ли Анна, чего ждет от нее Кристиана? Помнит ли Анна о Мари де ля Круа? Знает ли Анна, что невинность, тем более симуляция невинности — худшее из искушений? А, впрочем, где начинается симуляция? Во времена царствования некоторых из римских императоров в театрах давались представления, где показывались казни: раб, игравший приговоренного, и вправду предавался смерти. Этот невольный мученик разве не был мучеником на самом деле? Его слезы лились на грим, кровь струилась по шелку, его стонам аплодировали, как монологам. Но ведь умирал-то он по-настоящему? Что же такое театр? Мари де ля Круа, марионетка, раздавленная благодатью, давала ярмарочное представление, отвратительное, впрочем, зрелище, монастырский промысел. Была ли ей нужда подвергнуться такому унижению (комедия истины), чтобы при помощи его достигнуть высшего самоуничижения, чтобы тем самым удовлетворить грязное любопытство толпы? Должна ли была маленькая Анна играть ангела, которым она была лишь наполовину, будучи ребенком, всего лишь наполовину? Кристиана просила, требовала. Ей нужен был ангел. *Любой ценой.*

— Нет, не уходи, не уходи. Разве ты хочешь вернуться в монастырь? Покинуть меня?

Анна отвечала:

— Нет.

В этот момент у нее была смелость, которой не хватало Марн. Она нграла до конца. Но будет лн она играть в момент пыткн?

— Я боюсь за тебя,— говорнла Крнстнана.— Уходн.

— Нет.

— Почему?

— Радн вас.

Она ие знала в подробностях, что пронсходнт в доме, знала только главное. Дыханне зла. Воровство, маленькая цыгаика, взгляды, которые бросал Лоран иа Крнстиаиу, выпивкн, миимостн. Это был хлеб насущный определеииой части общества, которую она знала. Страх, недоверне. И еще кое-что. Лоран. Онн, подданные Короля Пьяннц, думалн, что совершают грех, валясь под стол н залезая под юбкн. И лншь однн Лоран ие поддавался злу н не платил ему дань. Прочне же, щедрые в своих убогих чувствах, желалн делнть друг с другом зло, как крепкое внно, н девочка нравнлась нм, такая молчалнвая, беленькая, нетронутая. Конечно, оин прнвыклн все ломать, поганнть, как онн поганнлн черно-белый пол отхожего места, как ломалн тонкнй фарфор, потому что осквернять — это владеть, а владеть — это любить, пусть самую малость. Одни Лоран был холоден, краснв, бесстрастен.

— Вот, возьмн кружево, Анна, мнлочка,— говорнл толстый, добрый Жак.

— Аинета, саднсь ко мне на коленн!— крнчал цыган Флорнс, красавец внсельник, весь в золоте, вздрагнвающий, как дикнй фазаи.

Крнстиана взглядом приказывала ей отказываться. Она отказывалась под требовательным взглядом Крнстианы. Тогда Лоран клал руку на белое плечо Крнстнаны, и ее грудь горестно вздымалась под бархатом. Но он ее не брал. А бралн ее поочередно Флорнс, нлн Жак, нлн маленькнй Эрмнньеи, не достнгшнй еще

семнадцати лет, хилый и злой мальчишка. Кристиана уступала и плакала. Плакала отвергнутая красота. Анна напрягалась и бледнела. Ее глаза бросали вызов Лорану. Ему тоже требовался ангел, маленькая святая, агнец.

Все было просто. Нужно было только оставаться спокойной и недвижной, сгорая изнутри. Она горела для них для всех, и они это знали. Она не могла больше есть, худела. Она выжидала, тоже играя свою роль, немного переигрывая, как на паперти собора, где разыгрываются мистерии и где тот, кто изображает Христа или святого Петра, не осмеливается даже пошевельнуть пальцем, окаменевший от величия. Слишком низкая, слишком веселая, сплошь богохульная, непристойная пирушка цвела пышным цветом, как большие пионы, и тут же осыпалась, взрывалась, грех был грубым и бессильным, несмотря на яркие краски. Анна выносила все, зная, что это противники не ее уровня, ей достаточно было только присутствовать тут, чтобы победить.

Что победить?

Она все больше и больше забирала власть в доме, эта малышка. Она питалась соками окружения, она вбирала в себя все и ничего не отдавала взамен. Может быть, это их удовлетворяло? Кристиану — да, но ненадолго. Она поглощала все, и доброе, и злое, она боялась только пустоты.

И этой пустотой воспользовался Лоран, потому что с самых первых недель он вел дуэль с Анной. Это его вполне устраивало, хотя он не был уверен в победе.

Он умел взяться за дело. Все проходило через руки Кристианы. Мучить ее, подчинить ее — это все труда не представляло. Куда более утонченное мучение — бросить ее на съедение самой себе, сидевшему в ней демону, который жаждал муки, уничтожения, беспощадности. Достаточно было жеста, знака, чтобы Флоранс, Жак, Эрминьен стали вести себя осторожно и сдержанно, гово-

рили о делах, пили меньше. Несколько раз он удерживал Кристиану от выпивки. Наступала тишина. Все как будто куда-то проваливалось. Анна сияла. Кристиана теряла голову.

Она бродила по дому с самого утра. Таинственные ночные отлучки стали редкостью, или она не принимала в них участия. Анна видела это и считала, что взяла верх над хозяйкой; но она не знала о тяжелой бессоннице Кристианы. Иногда на нее, как и прежде, находили приступы веселья, о которых она почти забыла, и тогда она воспаряла, будто на орлиных крыльях. Тело ее вдруг становилось легким, а душа пустой по мере того, как грех, считающийся неискупимым, смертным, улетучившись, тотчас же превращается в фантом, и невинность как тяжкое бремя готова вернуться и остаться при ней до конца. Она боится. И все из-за девочки. Раз уж она причинила эти неприятности, у нее должно быть и лекарство.

— Маленькая святая,— шептала Кристиана, как будто происходило изгнание злого духа, уничтожающее и трогательное.— Подумать только, маленькая девочка!

Она сама хотела стать ребенком, она видела себя в райских садах, она боялась, она желала... Неведомая рука подносила ей пищу, и она готова была ее принять. Эта пылкая душа обладала заурядным умом, была полна мыслей о рогатых бесенятах и бумажных розах. Этот великий, возвышенный голод утолялся простенькими сластями. Само зло представлялось ей в виде завернутого в бумажку леденца. Она пила детство Анны, как мед. И уже в сердце Кристианы воздвигались алтари из позолоченной бумаги. Однажды вечером, не в силах более терпеть, она поднялась на чердак.

Анна угадала все — и ничего. Снова что-то произошло. Она ощутила вокруг себя присутствие таинственных сил, принявшихся за свою игру. В конце концов эти силы присутствовали в доме, принимали какие-то формы,

и она не спрашнвала себя, откуда онн берутся. Ей нравилось находиться в самом центре грозы. Итак, Кристиана поднялась на чердак. Раньше она никогда этого не делала. Ее шаги на лестнице, точно три удара: *зловещий зов судьбы,* самое время броситься на колени, умолять небеса. Мгновение чуда. Анна ощущает, как холодеет, в ней нет ни жалости, ни любви. Мари колебалась, Мари не сыграла свою роль из-за деликатности, из-за чувствнтельности своей натуры. А у Анны была абсурдная смелость. Она бросилась к подножию распятня, приняла позу; Кристиана была поражена в самое сердце. Дитя в белом, нскупительная жертва, готовая отмолить ее, сокрушить все силы ночи. Она уверовала. Она была спасена, когда вскрикнула: «Моя девочка!» Ребенок, лишенный матери, вздрогнул, повернулся, заплакал — все пропало.

Они поднялись, стали что-то шептать друг другу, столь несчастные, спустились вместе в обнимку по крутой лестнице.

— Я столько выстрадала...

— И я...

— Я так одинока...

— И я...

Они больше не играли, их поглотнла нечистая жалость к самим себе, полностью захватила их, они думали, что никогда не были столь искренни, столь обнажены, однако же они находились во властн химеры. Онн склонялись под одним н тем же бременем, Кристиану отягощал грех; Анну — невинность, и они надеялись облегчить бремя друг друга; им нравнлось их сходство. Комната Кристианы, совершенно голая, с белеными стенамн: все из-за Лорана; Крнстнана была из тех женщин, кому идут красивые вещи, портреты, фаянсовые цветочные горшкн с роспнсью, у нее должен быть добрый, счастливый дурной вкус. Эта пустота, эта большая железная кровать, голая, точно стойло, эта суро-

вость свидетельствовали о грехе. Еслн бы Крнстнана была счастлнва, чиста, ее подушкн былн бы украшены лентамн, тут была бы маленькая собачка, у нее былн бы любовники, которые бы дарнлн ей подаркн: муфты, пеньюары, туфли без заднннков. И все это было бы иевинно, как ее белое тело н золотое руно волос в постелн, все бы было вполне невниио, разве что немиого отвратнтельно. Но холод этой кроватн, холод стеи, отсутствие в комнате всякнх безделушек — все это говорит само за себя, обвнняет Крнстнану, разоблачает ее. Идол, прекрасная трактирщнца, с полной шеей, с ласкающнм смехом, внно, свет свечей — все нсчезает в удивлениых глазах Аниы. Она ожидала, что окажется в святнлнще, а очутилась в тюрьме. Богния превратилась в несчастиую, дрожащую жеищину на постелн, она рыдает, сморкается, что-то говорит, ей нужно, чтобы ее утешали, чтобы ее простнли, чтобы ей отпустнлн грехн, под пеньюаром у иее иичего иет, ее нагота — слабая, безоружная, и только то, что она всего лншена, делает ее прнвлекательиой; н эта девочка, которая вдруг становнтся обладательнннцей всех прав, жестом скупым н точиым откндывает одеяло, устранвается в постели и прижнмается к ией... Нежное сочувствие двух существ, одннаково больных, ласковая жалость, слезы, смех, возвращеиное детство; убежище любвн, где иесовершенство тела ие только простительно, но н влекуще, н душа убаюкнвается иа мгновенне грустной иадеждой братства. Шквал ласк: девочка, худеиькая, болезненная, и женщнна, цветущая, близкая к коицу своей жнзнн, ласкающая собственное несчастье, собственное однночество. Радость брошеиных детей — наслаждаться собственныымн слезамн.

Теперь онн тесно связаиы в тнщине, царящей вокруг. Еднственное тепло, еднственное украшенне комнаты. И слова, которые шепчут любнмому жнвотиому, ребенку, слова, ничего не значащне н прозрачные, легкне, ничего не весящне, не прнчнняющне болн: «Твон прекрасные

глаза...» — вот и все. Ласкн, слезы, много нежности. «Твон прекрасные глаза...», и это грех. Больше инкакой защнты. Душа обнажена, сущнй пустяк может ее раннть, оскверннть. Грех начннается с того, что открывает мир, как и благодать; но благодать сопротнвляется, а грех губнт. Аниа слышнт шутки и смех, страх очень блнзок к искушенню. Персонаж весьма стойкнй, весьма скрытный, стремнтельно воспаряющий. У иее читают по лнцу, ее видят сквозь одежду, и Флорнс, цыган, заметнв, что она краснеет, бледнеет, замнрает, говорнт себе: «Она стала женщнной». Это неправда, но он не так уж далек от нстнны.

Жнзнь часто открывает скобки: Лорана нет. Днн Анны и Крнстианы сочтены. Но что бы онн сделали со временем, еслн бы оно стало бесконечным? Нежность, радость, абсолютно лншениые надежды, прнобретают благородство, глубнну, которые нх притягнвают. Онн, одна для другой, становятся радостью прнговоренных к смерти. Анна принесла в пустую комнату цветы, птнцу в ивовой клетке. Крнстнана потратила два часа на то, чтобы перекроить для девочкн одно нз своих прекрасных платьев. Время останавлнвается, как в живой картнне: слезы, птнца, две дрожащне женщнны обннмаются, потом бросаются друг к другу с бешеной стремительностью; близнтся возвращенне Лорана. Однажды вечером после молчалнвого ужина они делают внд, что расходятся по комнатам, но снова оказываются у Крнстнаны:

— Моя девочка, моя дорогая, я боюсь...

Аина уже инстннктивно знает, что в этой комнате растворен страх.

— Я тоже,— отвечает она.

Самое время остановиться. Шепот Крнстнаны становится торопливым:

— Ты не знаешь, что здесь происходит, до чего он меня довел, и все начнется снова, как только он вернется. Я не имею своей волн, ты знаешь, я поступаю наперекор

себе, он сделал меня сумасшедшей, толкает на ужасные вещи, и ты остерегайся, умоляю. Ты не знаешь, на что он способен!

— Лоран?

— Нет, дьявол.

Что такое дьявол? В первый раз Анна задает себе этот вопрос в тот момент, когда Кристиана корчится в ее объятиях, боясь сказать больше, сгорая от желания сказать больше. Оборотень. Привычное слово, конечно.

— Дьявол повсюду,— говорили сестры.— Не слушайте вашего маленького дьявола.

А по вечерам легенды, которые слушают вполуха. О сестре, которая подпала под чары мелкого беса и родила маленького поросенка; о другой сестре, способной предсказывать будущее; еще об одной, из простых крестьян, которая вдруг заговорила на семи языках. В эти легенды верили, о да, в них верили, но над ними и посмеивались, как над обычаями дальних, неведомых стран, которые кажутся сказочными. И, однако, все время сжигали женщин, обвиненных в «колдовстве». Мать с дочерью, нищих воровок; кумушку, тайно устраивавшую выкидыши; этих женщин знают по именам, знают, где они жили... Анна Пуссен из Флавнона, Франсуаза Эрну из Ассесса. Будучи в монастыре, Анна присутствовала при казни одной колдуньи. Но для нее этот костер явился чем-то абстрактным, как тюрьма для тех, кто не крал: этого не замечают, в это не верят. Такого не бывает вообще. Дьявол: тоже не бывает. А Кристиана, обнаженная и дрожащая, бормочущая неясные признания, побледневшая так, что побелели и губы,— вот это... Какая дверь открылась вдруг? Вот это бывает. Тело Мари де ля Круа, распластанное в неестественной позе,— вот это бывает. Это существует. Это происходит сейчас, вовсе не в каком-то ирреальном театре души, но в жизни, вот в этой сегодняшней жизни, зримой, быстротекущей,

которую иельзя остановить... Глухой, страстный голос Крнстнаны... Чего она хотела, освободнться от тайны илн разделить ее с кем-то?

— Он знает, как открывать все двери, это я о Лоране. Флорис и Жак тоже умеют. И многне женщнны предместья. Такнм образом онн добывают вещн, одежду н многое другое. [illegible] очень богат, у него в таннике серебро и золото. [illegible]-нибудь мы уедем в другне края, если только смож[illegible] мы не сможем. Дьявол...

Может ли Анн[illegible]жаться на пороге тайны, которую ей предлагают столь самоотверженно? Разве ей когда-ннбудь что-иибудь предлагалн, иапрнмер другую тайиу? Ее оттолкнул отец, ее оттолкнула Мари, ее покииулн монахннн, которые больше ие интересовалнсь ею, и вот поэтому ее снедала мучительная жажда позиания, свойствеиная брошенному ребеику, страстиое желаиие участвовать н нграть — ведь кто знает, может быть, Крнстнана тоже немножко нграет?

Анна спрашнвает:

— Дьявол?

— Бывают сборнща, пнры, вндення... Собнрается много народу, женщины нз нашего города, встречаются н весьма высокопоставленные...

— Разве это возможио?

— Потом все р[illegible]сеивается как сои. Но это не сон. Остаются шрамы, следы...

Анна не осмелнвается больше спрашивать. Страдает ли Крнстнаиа, илн она наслаждается свонм смятеннем? Марн де ля Круа ведь тоже должна была спрашнвать себя, не грезнла лн она. Велнкне святые часто обретают *знаки:* стигматы. Но Марн ие была великой святой. Она обманула ожндання Анны, ие пустнла ее в свой рай. И вот здесь, накоиец, взрослая женщнна открывает ей свое сердце, свою тайиу. Ее охватывает безмерная благодарность. Какое упоенне для брошенной девочкн — больше не быть одной! Мать, подруга, воз-

любленная, соучастннца, Крнстиана стала для нее всем этнм за несколько дней.

— А... тем, кто бывает на этнх пнрах, весело?

— Ужасно.

— Тогда зачем ты туда ходнишь?

Она сказала ей «ты» в первый раз.

— Нельзя удержаться. И во[illegible]е уже поздно. Я заключила договор.

– Но как?

— Нужно отдаться дьяволу, [illegible]знается Крнстнана совсем тнхо.

— И ты его вндела?

- Да.

Что еще добавнть? Анна пугается, ей хочется смеяться, она пугается еще больше. Вот онн, эти взрослые, такне волнующие, н эта Кристиана, такая сильная, красивая, смеющаяся, теперь она шепчет н дрожнт в своей постелн... Анна не дрожнт. Так что это, нгра, истина, велнкая тайна?

– Скажн мне все.

— Нет, не могу, не смею. Поннмаешь, это страшно. Там делают все, что раньше не осмеливалнсь делать, то, о чем мечталн, и то, чего делать не хотят. Там летают, погружаясь в сон, но не до конца, теряют сознанне, умнрают, но не до конца... А потом вдруг пробуждаются, кругом кровь, кругом струится кровь, но уже нельзя уйтн.

— И что же? — спрашивает Анна.— Ты снова отправншься туда?

— Надеюсь, надеюсь.

Она замолчала. Что могут две женщнны, связанные, бедные, загнанные жнвотные, в ночном однночестве, без денег, не знающне ремесла, не нмеющне мужа — куда деваться? И Анна с сожаленнем вспомннает об отце, о тележке, о медлнтельной езде по равнинной дороге.. Вот увезтн бы Крнстнану, чтобы она, как когда-то Анна,

лежала на дне тряской повозки, возить ее от деревни к деревне, как светлую, золотую королеву, как роскошное плененное животное, но что это она? Холод, голод, плохой прием — это ни в какое сравнение не идет с прекрасным домом, с резными балконами, с белеными стенами, с большим очагом; в лесу ветер, волки... Анна думает, что Кристиана, которая не испугалась дьявола, испугалась бы волков. А может быть, Кристиана выдумывает дьявола? Может быть, она его выдумывает для нас двоих, для того, чтобы шептаться ночью, для того, чтобы общий страх бросил их в объятия друг друга, не похоже ли это на то, как, напиваясь, вел себя отец, Кристиана желает дьявола, призывает его? Может быть, это сладкая месть «маленькой святой», погибшей теперь навсегда?

Мгновение радости, быстро погруженное в ничто, столь коротко. Может быть, таким способом она продлевает миг?

— Расскажи...

— Пиры устраивают то у одного, то у другого, в сарае, иногда на открытом воздухе, в лесу, иногда и на чердаке, в подвале. Все едят до отвала, там полно паштетов, вина, я не знаю, откуда это все берется, по-моему, от самого дьявола, и ты все время испытываешь жажду и голод, как никогда, ты ешь, пьешь, но все больше и больше хочешь есть и пить, тебе кажется, что все это продлится вечность, что ты никогда не насытишься, а потом...

— Что потом, Кристиана?

— ...Дьявол удовлетворяет свои желания...

— Только ли дьявол, Кристиана?

Резкий, ироничный голос: на пороге комнаты показывается Лоран.

Наступает тишина. И длится она долгими днями. Лоран ироничен, Кристиана от сумасшедшей привязанности переходит к враждебности, лучше всего было бы бежать отсюда, вернуться в монастырь. Но прийти туда с пусты-

мн руками, признать себя побежденной, снова ждать Бог знает чего, какого-то событня, чуда... Нельзя встретить дважды Марн де ля Круа, нельзя встретить дважды Крнстнану де ля Шерай... Мари отказалась открыть свою тайну, но Крнстнана открыла свою... И напрасно хочет взять ее назад. Анна, скромная, молчалнвая, полученного не отдаст. Напрасно Крнстиана плохо с ней обращается, делает вид, что пренебрегает ею, избегает ее. Анна уперлась. Она обязательно узнает. Чего хочет она на самом деле, чего желает она так страстно? Доказательства. Хотя бы однн раз. Хоть один раз проникнуть туда, преодолеть барьер, порог, а потом убежать. Но не раньше. Лоран н Кристиана, этн взрослые, хотелн бы ее не допустить, но она не позволит; влеченне более сильное, чем страх, подталкнвает ее, делает ее смелой, даже наглой.

— Ты все хуже н хуже работаешь, я даже не знаю, зачем тебя держу.

— Зато я знаю.

Ее тнхнй голос крепнет, она больше не краснеет. Она в яростн, ей хочется укуснть эту женщнну, которая ею пренебрегает после того, как плакала у нее на груди. (Может быть, она это делает, чтобы спастн Анну? Но Анна не желает, чтобы ее спасали.) Нет, невозможио подчнннться, вернуться к ничтожностн, к тоске мнимого существовання. Спокойная улнца, покоснвшиеся, замшелые дома, прекрасный балкон, болтовня клнентуры, солнечный луч на горшке с резедой... Надо проникнуть в суть вещей. Ведь что-то кроется за этими фасадамн, за этнмн спокойнымн лнцами, за этнмн обычными словами. Нужно, чтобы что-то случнлось, говорит себе Анна. Она провоцнрует.

— Какая противная старуха эта матушка Ошон! Наверное, колдунья.

Она атакует. Не нскушает лн она их? Вот если бы она ушла... И она вызывает в себе прекрасные, кровавые грезы: Лоран колесован, Кристиана сожжена. Но это

только грезы. Иногда к ним примешиваются воспомина-иия о Мари, иежиые и горькие.

— В моиастыре была одиа святая, Мари де ля Круа. Демоиы отступали перед ней.

Одиажды вечером Лораи ие выдержал.

— Дурочка, что ты зиаешь о демоиах?

— А вы?

— Хочешь узиать?

Оии одии в зале с иизким потолком. Он приближается, оиа ие отступает. Ее охватывает острое отвращение, почти тошнота. Какой-то род абсурдиой смелости, берущей иачало в детстве (страииое удовольствие побеждать отвращение: пить чериила, жевать бумагу, заставлять себя дрожать, прикасаясь к живой, скользкой коже или иарочио скрипя пером), заставляет ее стоять иеподвижно, с побледиевшим лицом. Ои кладет ей руку на плечо, и оиа ощущает его дыхаиие.

— Ты рискнешь сегодия вечером присоедииться к иам?

Оиа роияет сквозь зубы:

— Да.

Оиа рискиет, чтобы ее приняли, иеважио как, и тем хуже, если семья, в которую оиа входит,— дьявольская (потому что имеиио с таким чувством она входит в семью). Лоран удивляется, что для него иепривычио,— соблазиитель жеищин: говорят, ои их соблазияет, точио дьявол,— ловко отмеряет добро и зло, ставит женщии в безвыходиое положеиие, чтобы оии в слезах соглашались на все; его изумила эта холодиая девочка, которую он даже ие брал труда приласкать.

— Ты увереиа? — спрашивает ои.

— Да.

Ои убирает руку с худого плеча. Ои иачииает ее уважать, и тут тускиеет образ Кристиаиы с ее жалостливыми угрызениями совести, с ее прекрасиыми безумиыми глазами.

— Ладио,— говорнт он.— Нынче вечером.

Ночь перед сражением. Все не нравится Анне, все ее шокирует; оиа ожесточается, становится безжалостной. Сбросить одежды вечером перед Кристианой — для нее пытка. Порыв, метнувший их в объятня друг друга, был короткий и устрашающий. Немой. Ее худое тело немилосердно дрожит. Снадобье холодное, запах у него неприятный, запах лекарства. Вот она натерта руками Кристианы, которая в свою очередь раздевается и молча покрывает себя этой неприятной мазью. Взгляд Лорана — как холодиая вода. Вдруг Кристиана стонет, прикладывая обе руки к горлу.

— Скажи мне, по крайней мере, что это в последний раз...

— Ты отлично зиаешь, что каждый раз — последний.

Вот они все трое вместе, в этой холодной, пустой комнате, в этом страхе. Горшок с зельем на очаге распространяет горький аромат. У Кристианы дрожат ноги. У Аииы иачииает кружиться голова, ее подташнивает. Кто подносит глиняную чашку к ее губам? Она вдруг чувствует себя легкой, будто подиимается в высоту, и Кристиана смеется дребезжащим, слабым смехом.

— Ты сейчас увидишь, увидншь, сейчас полетишь...

Это правда. Ноги едва касаются лестницы, которая почему-то не скрипит. Игра, великая, страшная игра, хочется смеяться, плакать, очень страшио, но все это доставляет удовольствие, наслаждение, потому что ты не одиа, потому что тебя берут за руку, потому что ты наслаждаешься чужим страхом, заключается сообщество, совершается причастие.

Вот оии вышли за порог, теплая ночь, они побегут в лес собирать цветы, а может быть, и грибы, они будут бежать, пока сердце не запрыгает в груди, ощущая радость поддельной невинности, с вновь обретеиной легкостью, и вдруг они оказываются в многолюдном обществе, в полуразрушенном сарае, ветхом пристани-

ще, где даже днем страшно, но под покровом ночи, в теплой компании тут хорошо, из леса сюда сходятся призраки. Некоторые пьют и едят, но Анна не ощущает ни голода, ни жажды, которые столь красочно описала Кристиана. Она жадно вглядывается в лица, в цветные пятна, красные щеки, блестящие глаза; наконец вот они, близко, открытые, беззащитные, и стоит ей протянуть руку, как она прикоснется к их тайне. У нее тоже есть своя тайна, жалкая детская тайна, кто знает, сможет ли она освободиться от нее, забыть безграничный стыд, забыть, что она никем не любима?

Огромный стол, где в беспорядке разбросано съестное, вино, пиво в количестве, которое поражает в этой стране, разоренной бесчисленными смутами эпох, голодом, эпидемиями. Еда растерзана, яйца раздавлены, стаканы с вином перевернуты, никто не обращает на это внимания, с какой стати? Ничто утром не должно противостоять этому пренебрежению страхам. Какая-то расточительность царит на сборище, которое с ужасом наблюдает Анна. Ибо тут собрались все дети нищеты, от самых утонченных до самых жалких, самых омерзительных. Нищенка по локти погружает руки в блюдо с мясом, терзает его, обсасывает кости. Старинное уважение к еде, одно из самых древних, отброшено, побеждено. Привычное отвращение к бедным, больным преодолено, потому что уродство и бедность выставляют здесь себя напоказ, торжествуют, и Кристиана, с открытым корсажем, готова принадлежать любому, кто захочет ее взять, ее золотое сияние брошено к ногам любого, вся ее красота вот-вот превратится в ничто, и это ей желанно. Она нарядилась в роскошное платье только для того, чтобы оно было разорвано, возможно, она желала, чтобы так же было разорвано и ее роскошное тело, чего так и не случилось. Маленький худой человечек в отдаленном конце сарая выкрикивает непристойности, но никто его не слушает, потому что все здесь одна видимость, лишенная содержа-

ния; горожанка, которая тяжело дышит в темном углу от прикосновения липких рук, на следующий день ни за что не впустит в дом пьяного поденщика, который сейчас овладевает ею. Только Анна одинока. Лоран в черной маске.

Напрасно кружилась у нее голова и тело становилось легким. Она все равно не может смешаться с толпой, войти в круг, в это дикое братство. Вот бегает мужчина на четвереньках, вот облитое вином наполовину бесчувственное тело, объятия, в которых мало человеческого, танцы, песни под ее взглядом приобретают облик сновидческой невинности. Она еще так близка к детству и его лицедейству, когда мучают животных, когда подглядывают за наготой, когда делают движения, не понимая их смысла, когда разгадывают смысл самых сокровенных тайн и над ними смеются, их страшатся, и она, помимо своей воли, ясно видит, основываясь на своем детском опыте, тщету и несбыточность притворства. Ее вдруг охватывает великая жалость к самой себе и прочим, она предчувствует, что за этим последует горькое падение, ей известно, что такое же бывает после безумного порыва самоотреченной молитвы, когда выпускают на волю до того сдерживаемые и укрощенные страсти. Драгоценная слеза катится по некрасивому лицу Анны. Слеза жалости. Тогда подходит Лоран.

— Боишься?

— Нет.

— Не хочешь выпить?

— Нет.

— Значит, боишься.

— Нет, нет, говорю вам.— С неизъяснимым презрением она добавляет: — Я не нуждаюсь в вине.

— Что ж, пойдем.

Анна идет за Лораном, сквозь толпу, смех, восклицания. И тут перед ней предстает человек весь в черном, он тоже в маске, неприметный, все говорят ему «сеньор».

Аииа тоже говорит «сеиьор». Ведь это же нгра, ие более. Дьявол? Очень легко так замаскироваться.

— Падите ниц!

Оии повииуются.

— Сбросьте одежды!

Они повииуются. Плохо освещениый сарай полои белых животиых, это так похоже на кошмар, от которого оиа не может освободиться. Кристнаиа распускает свои длииные волосы, чудесио отливающие золотом. Взор ее безумеи. Оиа с криком бросается иа землю. Другие тоже. Музыкаиты играют быстрее. Ах, как фальшивит скрнпка! Стоят только Лораи, черный человек и Аина. Оиа бы хотела, оиа очеиь бы хотела так же броситься иа землю, затрепетать, потерять голову, слиться с этой массой и иазавтра сказать себе: «Ничего не помню».

— Ты головы ие теряешь,— замечает Лоран.— Это хорошо.

— Разве?

— Вот эта! — указывает черный человек.

Ои подталкивает ее к столу, ио ие грубо. Оиа повииуется, сжав зубы, всеми силами стараясь не закричать, она видит лица вокруг, разноцветиые маски, веселые, жестокие, в то время как с жестокой точиостью, с какой-то холодиой иежиостью черный человек кладет ее иа стол н совокупляется с иею, и до самого конца оиа, оледеиевшая от отвращения, говорит себе: «Я ие боюсь, не боюсь...»

Кровь ее окрасила стол. Освободившись, она стоит, прямая, иапряжеииая, одиако соглашается выпить стакаи виис, который ее согревает. И вдруг Кристиаиа бросается к ией, обиимает ее, прижимается к ией.

— О, моя дорогая, ты заключила договор, ты это сделала!

Она разрешает себя обнимать, прижнмать, иаконец, охвачеииая этим бредом, иакоиец, освобождениая, нако-

иец, погибшая... Оиа ие помиит, как вериулась. Оиа иикогда ие узиает, кто этот человек, который взял ее, как иа скотиом дворе. Оиа спрашивает Кристиаиу, та дрожит и молчит. Аииа иичего ие узиает до следующего раза, если он будет, этот раз. Кристиаиа шепчет:

— О, больше иикогда!

Но каждый вечер Лораи приходит с иовым грузом: тут платья, драгоцеииости, шкатулка, маитилья.

— Что, это вс́е от...

— Ну, эти жаловаться ие стаиут,— отвечает Лораи.

Ои улыбается Аиие. Ои часто улыбается Аиие после этого шабаша.

— Ну что, хорошо было иа шабаше?

Оиа сама спрашивает себя. Сиова видит позы, лица. Сиова слышит безумиые слова Кристиаиы.

— Ты заключила договор...

В далеком детстве Аииа как-то смешала свою кровь с кровью другой девочки. И что осталось? Однако Кристиаиа считает: произошло иечто, иечто ужасиое, таииствеииое, и это «иечто» связало их. И Лораи ей улыбается. Больше иикто ей ие приказывает, иичего ие заставляют делать. Оиа сама, по своей воле, спускается из своей комиаты в помещение за лавкой. Оиа присутствует при продаже, при покупке всякой всячииы, тут ие только ворованиое. Травы, сиадобья, духи, которым Кристиаиа приписывает чудодействениую силу. Что, это так просто? И, зиачит, с той поры, как оиа «подписала» договор, и у иее есть эта власть? По крайией мере, теперь оиа на все смотрит ииаче. Узкие улицы, балкоиы, спокойиые семейиые прогулки, окиа, освещеииые по вечерам,— больше оиа ие чувствует себя исключеииой из всего этого, отброшеииой. Она вторглась к этим людям, к этим взрослым силой и хитростью. Оиа всех их видела такими, какие оии есть, подвластиыми желаиию зла, желаиию чего-то, превосходящего их силы, их уиосит, и оиа теперь зиает,

что им известно отвращенне, которое было знакомо ей с детства,— отвращенне к обыденностн, к тусклому, плоскому существованню маленького города. Она бы хотела узнать побывавшнх на шабаше, различнть, но, может, дело в снадобье? Она не находнт на улнце нн одного из тех лнц, которые, ей казалось, отпечатаны навсегда в ее памяти. Может быть, вот эта? Вот этот? Ведь не во сне же это все было? Ей кажется, все, кого она встречала,— по крайней мере, ей этого хотелось,— былн на шабаше. Возможно... И она думает только о будущем шабаше...

Она не узнает лнц, но узнает взгляды, смущенные собственной смелостью, горящне, настойчнвые: старуха; юноша с длнннымн ресннцамн, который шепчет:

— Вы уверены? Это точно? Трн раза за утро, после пронзнесення слов?

Крнстнана очень серьезно подтверждает.

— Снадобье,— говорнт она Анне,— от самого́ черного сеньора.

— Но ты уверена, уверена, что...

— Молчн! Безумная! Ты хочешь, чтоб нас сожглн? — И совсем тнхо: — И он же доверил Лорану тайну... как открывать все дверн... И Лоран нн разу не попался. Ну ты знаешь, он приноснл драгоценностн, золото... Когда-нибудь бросим все, поедем во Францию и будем жнть там, если Он не последует за нами...

— Разве Он не везде? — спрашнвает Анна.

Крнстнана бледнеет.

— Не знаю.

Жалкая трусиха! Анна в душе ругает ее, но одновременно жалеет. Как это Крнстнана может быть столь уверенной, отчего она бледнеет, дрожнт?

«А я? Разве я не сделала все, что было нужно?»

Она даже испытывает какую-то ревность.

— Если ты вернешь в этот договор,— говорнт она жестоко,— ты должна знать, что от этого не уйтн просто

так. Понадобилось бы чудо. Ну, например, ты поступишь в монастырь, а там тебе отрежут волосы, тебя будут бить, запрут в келье без экои до коица твонх дней. И ты больше не увндишь неба.

— Нет! — стонет Кристиана.

— Кажется, в Виссембурге в заключенни содержалась одна колдунья, которая прнзывала дьявола, она призывала его иочью н днем, выла, как собака, оиа так умнрала трн года, хотя ей ничего, нли почти ничего, не давалн есть. А в Эпннн сожглн женщнну, которая предсказывала, какого пола родится ребеиок, ее ие задушнлн, н она пять часов вопнла иа костре. И дьявол ие помог ей. А вот...

— Молчн, молчн же! Неужели ты не боишься?

— Нет,— отвечает девочка.

Испугается она потом, когда обретет увереииость. Но теперь... Она встает по ночам, когда все спят, спускается с лампой в руке в лавку, рассматрнвает флаконы н травы. Неужели это обладает снлой, эта мертвечнна, этн засушенные травы, этот серый пепел, эта мертвая жаба со сморщенной кожей, вся эта грязная, глупая кухня? Еслн все это обладает какой-то властью, то властью отправнть нх всех в тюрьму, на костер, властью заставнть побледиеть н потерять сознание Крнстиаиу, властью заставнть Лорана измеинться в лнце, прнзнаться, открыть свон тайны, отдать золото... Весь город ходнт к ннм, в нх предместье, выдавать свон секреты: что толкает нх? Желание получнть иаследство, страх забеременеть, жажда любвн. Все онн — нензвестные друзья, средн ннх рождается мгновенная фамнльярность, теплая сопрнчастность, вот это, по крайней мере, власть. Ключ. Теперь, когда Анна выходит на улицу, иа иее смотрят ниаче. Причастна лн она тайне? Прохожие теряются в догадках. Анна выпрямляется, она горда, она больше ие тень, которая скользнт незамеченной. Теперь только она обрела плоть и кровь, она заплатнла.

Но какую цену заплатила она? Дитя дорог, днтя лесов, Аина не очеиь-то высоко оценивала пятиышко кровн, судорогу утки, которую режут, маленькую царапиину, почтн безболезненную. Она видела столько истощениых лиц, ужасных ран, нищнх, более жестоких, чем звери, пьяниц, издыхающнх с голоду, что жалость к другим была ей совершеиио незнакома, раз уж оиа не жалела себя самое. Иногда точно молния ее пронзала жгучая иежность от материнскнх рук Крнстианы в предвкушеннн мучнтельных судорог шабаша, но потом это чувство отбрасывалось насмешлнвым детскнм умом. Это всего-навсего спектакль. Неужели оиа стала больше женщиной от этой незначительной царапииы, чем от ударов, полученных в прежнне времеиа, от холода и голода, крестьянской грубости, жалостлнвого любопытства дам, посещающих монастырь? Инстинкт подсказывал ей насмешлнвое отношенне к случившемуся: «И это ваш знаменитый договор?» Она насмешннчала, но все-таки у нее была слабая надежда, что этот вызов, быть может... Косой взгляд старой женщины, восторженная улыбка юноши (он там был? я его уже видела?), страх Кристианы, осмотрительность Лорана — все это мешает ей абсолютно преиебрегать тем, что она считала не более чем притворством.

Но кто знает, может, в этом и есть секрет? Эта пустота, холод, бессознательность действий? А если ннчего никогда не происходнт, что же делать? И оиа вспоминает все время устрашающий, священный образ Марн де ля Круа, ее окостеневшее, обескровлеиное тело, ее душу, готовую улететь. А тут Крнстиана, безумные глаза, распущенные волосы, тоже чудесно опустошенная на мгновенне,— какая разница? И почему не я? И почему после этого — ннчего? Мари. Как она ее умоляла, как она ее мучнла потом, как она мучает Кристиану, чтобы вытянуть у нее откровение, крик... Разве не говорят, что мучают Господа Бога н ангелов, когда отправляются на

шабаш? Говорят еще, что неподалеку от Льежа святая моиахиия видела, как рыдает статуя Пресвятой Девы по причиие греховности мира. Говорят еще, что одержимые видят демоиов, всех сразу, видят их лица, различают по именам, а святой Михаил или святой Иосиф изгоияют их, храбро и иастойчиво.

Оиа молилась. Слова падалн одио за другим, сухие, как рассыпаииые четки; их иельзя собрать, и оии больше ии к чему. «Если бы я прислушивалась к иим тогда, когда оии для меия что-то зиачили...» Что уж тут жалеть — все равно что жалеть прошлогодиий сиег. В этот вечер Лоран прииес ей золотую цепь с рубииовым сердечком.

— Откуда, Лораи?

— Издалека, из Рюбиза. Мы прииесли десять шуб, кружева, пряиости... Можио прямо лавку открывать, красавица ты моя...

Аина никогда не была красавицей, но хорошела день ото дия. Глаза Лораиа стаиовились меиее холодиыми, когда ои говорил о богатой добыче. И ои уже не хозяии, ои просто молодой человек тридцати лет, стройиый, красивый на какой-то дикий манер, смеясь, ои сверкает белымн зубами, хитрый и иемного жестокий, как школяр.

— Оии спали, они крепко спалн, красавица! Каионик, его старая тетка, две служаики и мальчишка-коиюх... Но оин выпили хорошую порцию эликсира дьявола!

Слова эти прозвучалн как трубиый звук; Кристиана бледиеет, Аииа смеется. Аниа смеется вместе с Лораиом, они смотрят друг на друга, теперь оии равны. Лораи, главарь шайки, храбрый вор, первая скрнпка — а он-то верит в дьвола? Или шабаш для иего лишь предлог, чтобы привлекать богатую «клиеитуру», будущнх жертв его грабежей,— добровольиых даиииков, которые придут за сиадобьями к Кристиаие и еще больше отдадутся иа их милость? Такнм образом, нгра стаиовнтся все более

и более волиующей. Аина хотела бы прииять в ией участне. Оиа иа стороие палачей, как это всегда бывает с детьми.

— Лоран, когда пойдем на шабаш?

Ои отвечает ие таясь в присутствии Крнстиаиы:

— Ты хочешь?

— А почему иет?

— Пойдешь.

В голосе его угроза, ио Аине все равио. Ей кажется, что она взяла правильиый тои в отиошеииях с иим, иастороженный, недоверчивый, но тем ие меиее, тои сообщиицы. Оиа еще ие зиает, что для Лораиа высшее благо — одиночество, и оиа ие сумеет его разрушить. И иа этот раз оиа весела, натирается мазью, помогает дрожащей Крнстнаие (ах, эта вечиая дрожь жеищииы!), пьет горькую настойку, чувствует, как трепещущая легкость охватывает ее всю... На этот раз оии иаправляются ие в лес, они кружат по кошмариым переулкам, кажется, будто онн все ведут к центру, которого иевозможио достигиуть. Переулкн похожи одии иа другой, кривые, безлюдные, переходящие одии в другой, бесконечные, такое ощущение, что воровство сегодня ие предвидится. Анна ндет через снлу, тело ее иаливается свиицом, она, такая худенькая, тащит огромную иошу, шаги нх отдаются гулко, точио под сводамн подземелья, оиа ие смогла удержаться от стоиов. Лораи оборачивается, ои смеется.

— Смотри-ка, Кристиаиа, иеужелн оиа жалуется?

Кристиана шатается, глаза устремлеиы вперед, прекрасиое лицо звереет. Путь продолжается, иоги Аииы иалнваются усталостью, а Лораи и Кристиаиа удаляются, погружаются в теплые сумерки, оиа хочет бежать, ио ие может, и вдруг иаступает полная тишиина, она заблудилась, заблудилась! Вериуться? Но улицы кружат, кружат, и оиа одиа в этом переплетеиии, в этом лабиринте, и ей уже кажется, что оиа иикогда ие выйдет отсюда, как иельзя

выйти из самой себя. Вернуться? Ждать? Она всеми силами цепляется за каплю разума, которая у нее осталась, и упрямо идет и идет. А может быть, она опять идет по длинной дороге своего детства рядом с тележкой, под дождем, а отец снова принялся за бутылку, это игра, смысл которой — покинуть ее и войти в свое воображаемое королевство. «Папа, не пей!» Ужас ее настоящий или наигранный? Что она для него: может быть, ненавидимая мать или мать торжествующая, которая всегда права, хозяйка зримого мира, побежденная бешеной скачкой через лес? Анна была сообщницей, но никогда не была удовлетворена. Она была нужна, но ее отталкивали в момент крайнего опьянения, королевской спазмы, поражающей пьяницу в кульминационный миг посреди смеха и шума постоялого двора. «Уведи меня, папа!» Анна одна. Снова одна. И одиночество — не единственное ее несчастье, события смешиваются, поглощают одно другое, путаются в сознании. Мари, Кристиана, отец — опять ее покинули, опять от нее отреклись. Она останавливается перед этой пропастью. Она отказывается бороться, она побеждена. Она падает на камин мостовой, быть может, она грезит. Еще раз покинута.

Лоран торжествовал. Как она могла подумать, что станет его сообщницей? А может быть, он и есть дьявол? Он уходит, даже не насладившись своим торжеством, покидая «женщин», отправляется в один из своих дальних походов, забрав с собой цыгана и толстого Жака с его обманчивым добродушием.

— Он предпочитает тебя,— говорит Анна Кристиане чуть ли не с ненавистью.

Кристиана с редкой для нее серьезностью смотрит на Анну.

— Тебе бы радоваться,— отвечает.

Но Анна любой ценой хочет, чтоб предпочли ее. Она хочет идти все дальше и дальше, войти в их мир. Она должна их победить на их же собственной территории.

Приходит женщина, требует Кристиану, плачет. Кристиана наверху, в постели, она не может проснуться, как каждое утро после шабаша.

— Можете говорить со мной,— отвечает Анна.— Я могу вам помочь. Расскажите, в чем дело.

Женщина колеблется, хочет уйти. Потом решается. Ее муж... колдовство... скорее всего, иголка... Знает ли Анна средство против этого? Анна серьезно кивает головой. Сердце ее сильно бьется. Эта униженность, этот грустный секрет, брошенный к ее ногам... Женщина медленно роняет слова; Анна торопит ее, сурово, жадно допрашивает Как это случилось? Она проникает силой в этот взрослый мир, в котором ей отказано. Стыд женщины, страх Кристианы — новое сокровище. Кто опишет жестокость ребенка, который никогда не любил? Женщина дрожит, она знает, что ей не полагается быть здесь. Кюре посоветовал покориться, а мать сказала, что это вполне естественно. И вот она здесь, некрасивая дылда, бледная, она униженно смеется, потом перестает смеяться, плачет . Анна ненавидит ее, выворачивает наизнанку.

— Может быть, у него завелась другая? Вы понимаете, если вы не уверены, что дело в колдовстве, помочь нельзя. Что вы пробовали?

Женщина смущается, шепчет: «Совсем маленькая девочка».

И вот девочка спрашивает жадно, безжалостно:
— Скажите мне, вы его любите, любите?

Бедная женщина не знает, что она может знать, она измучена беременностями, стиркой, огородом; глаза ее покраснели от бесконечной штопки по вечерам, при слабом свете, руки огрубели, спина сгорбилась, голова забита мелкими, мелочными расчетами, без которых не проживешь. И в центре всего этого — голод (она, конечно, привыкла не к абсолютному голоду, но к маленьким, ежедневным нехваткам, еды, конечно, хватало), но

это другой голод, и он становился мучительным, она ищет хотя бы малую толику теплоты, вот и все. Короткое, такое короткое воспоминание об очаровании юности: он казался ей очень красивым во время двух или трех сельских праздников, двух или трех объятий у околицы под открытым небом, двух или трех минут нежной тишины. А потом сразу же первый ребенок, второй, третий, тишина и тоска, которая охватывала ее в редкие минуты отдыха.

Ей было двадцать пять лет Она заламывала руки, она говорила:

— Мне было столько лет, сколько вам сейчас, когда я с ним познакомилась.

— Но вы его любили, любили?

— Не знаю...

О, эти женщины! Вот я бы знала, думала Анна. Разве я не знаю, что могла бы любить Мари де ля Круа?

— Я ничего не смогу сделать, если вы не вспомните.

И женщина вспоминает. Слова, несколько раз произнесенные шепотом, ночью, потому что дети спят, потому что свекровь рядом, иногда всего два слова: «Моя красавица!»

— А один раз он сказал: «Какое счастье...»

Раздирающее душу воспоминание. И благодаря Анне женщина поняла, что *жестокий* голод, которого она стесняется,— всего лишь маска стыдливости. Мегера, которая требует уплаты долга, жадная, безжалостная,— всего-навсего молодая девушка, некрасивая и робкая; благодаря Анне она понимает: то, о чем она сожалеет, всего-навсего вздох, голова мужчины на ее плече, нужда, эгоистическая и доверчивая, которую он испытывал к ней... Анна видит, как смягчается лицо просительницы,— первое чудо...

— Я помогу вам,— говорит она.— Но вам придется прийти еще раз. И говорить только со мной. Главное — говорить только со мной.

Женщнна обещает, глаза ее горят. Она знала, что от нее потребуются странные вещн. Все, кто попадал в этот дом, рассказывалн о множестве странных вещей... Анна тороплнво опнсывает колдовство: обойтн ночью могилы, нлн пронзнестн «Ave» наоборот, нлн посыпать кровать пеплом — какая разннца? Она хочет знать, в ней лн самой колдовство нлн в зельях, которые готовит Крнстнана. Илн ннкакого колдовства не существует — кто знает? А еслн оин брошены однн на эту землю, бедные, нагне людн, н у ннх есть только горькое вино, травы, заставляющне кружнться голову, н дрожь гнмнастнческнх двнженнй?

— Делайте так восемь дней подряд, потом приходите. Но ннкому. Особенно *им*. Это все нспортнт.

— Что же, это они?..

— Кто знает?

Это не месть. Анна настолько восхнщена новым опытом, что у нее нет ннкакого желання мстнть. А, впрочем, *они* ннчего н не узнают. Это просто маленькая хнтрость. Интересно, получнтся лн? Я нх ценю. Еслн дело в договоре, то я заключила его так же, как и они. Да еще этот Лоран предпочел безумную, стенающую Крнстнану. Оиа вспомннает, как прншла в этот дом, гнацннты на окне, гранатовый корсаж на волнующей грудн Крнстианы, блики солнца на старой мебелн, когда Крнстиана предстала перед ней как богння. Недоступная, недосягаемая, с сняющнм лнцом. Мнлостнвая. Теперь, когда она ее вндит за конторкой, улыбающуюся, ннкогда не выходящую нз себя нз-за того, что ее клненты торгуются нли ннкак не могут решнться, Анну чуть ие отвращенне охватывает. Лгунья, покажн нм свое настоящее лнцо, пусть онн боятся тебя. Но Кристнаиа будто все позабыла. Прекрасная н добрая, говорят соседн. Оин прощают ей даже связь с Лораном, о которой подозревают. Она осталась вдовой, такая молодая! Его боятся, его ненавидят, не осмелнваясь сказать об этом вслух, нм восхищаются.

Она всегда будет считаться жертвой. Жертвой! Анна снова видит ее, почти лишившейся чувств, с закатившимися глазами, точно душа покинула тело... Это она ведьма, колдунья. Трусливая и лживая, нерешительная, и Лоран предпочитает ее. Дьявол, если дьявол существует, предпочитает ее, а Анна готова с закрытыми глазами идти до конца к неведомым берегам... И несмотря на то что Кристиана умирает от страха, Анна завидует ей, жестоко завидует. Это, наверное, хорошо — так бояться... Бледная женщина с узкими глазами тоже боится, когда снова приходит с наступлением ночной темноты.

— Ну?

— Да, мне кажется, мне показалось, что...

— Ничего еще не сделано. Нужно провести всю ночь на кладбище. Вы должны держать свечу пламенем вниз, и вы скажете...

— Нет, я никогда не осмелюсь,— простонала женщина.— Мертвецы меня заберут!

— Если вы бросите свечу хоть на мгновение, то конечно,— соглашается девочка.— Но если вы будете ее крепко держать, они ничего не смогут вам сделать. И вы скажете громко...

И вдруг она вспомнила монастырскую латынь. Воспоминания о латыни наполнили ее другими воспоминаниями, смутными страхами, дрожью; как это все было давно — она тогда училась писать... Женщина смотрит на нее с подобострастным ужасом. Игра, простая игра, полная недоверия. Слова молитв искажены, и вот их предлагают, как панацею, как лекарство дьявола. Но это всего лишь попевка, ничего не значащие слова, как дети распевают считалки. *Oremus et vobiscum cantabus Deum nostrum.* Всего лишь попевка. Даже лучше: она воспроизводит задом наперед коротенькую молитву, которой ее научила Мари. Неужели женщина сейчас засмеется или рассердится: «Маленькая сплячка!»? Ничего подобного.

— В котором часу нужно это говорить?

— Как только пробьет полночь.

Ну конечно же в полночь, в час шабаша, в полночь, в час дьявола, когда встают мертвецы, звенят цепи, этой женщине полночь покажется вполне подходящей. А Анне подходит этот час? Ведь она дурачит женщину? Коротенькая молитва Мари де ля Круа, использованная для детской игры, чтобы посмеяться над посетительницей,— что это: шутка или святотатство? Молитва краткая, но такая мощная, что уносила Мари в неведомые дали,— прекрасную птицу, неподвижную, точно чучело... Увидим. Обязательно увидим: надо испытать эту короткую молитву. Анна держит ее в руках, как трепещущую голубку. Вот эта молитва и должна показать, кто она: бумажная птичка, летящая на крыльях ветра, или...

— Теперь повторяйте за мной.

Женщина повторяет. Но она произносит слова, будто кирпичи ворочает. Побелевшее лицо лунатички в сумерках сада. Она всему верит, на все готова ради того, чтобы услышать два слова, произнесенных шепотом, ночью, в постели за занавеской. И потом:

— Возьмите.

Золотая монета. Она почти извиняется. Все, что у нее есть; наверное, нелегко было сэкономить эту монету, она, конечно, терпела лишения, они ведь не богаты, надо еще кормить троих детей и свекровь впридачу... Она пускается в объяснения, приводя отвратительные подробности, она унижена, однако за этим унижением скрывается ненависть, она говорит неискренне, как говорят с кредиторами, людьми из замка, прево́, сильными мира сего. Смотрите, Анна стала сильной мира сего! Она немного опьянена, немного боится. Через три дня женщина приходит сияющая:

— Все получилось! Он свободен от чар! Спасибо, спасибо!

А потом, когда Анна встречает эту женщину на улице, та не здоровается и старательно отворачивается к стене.

Анне горько, н все же оиа горда. Оиа представляет себе жеищииу, дрожащую от страха, иа кладбище, с нелепой свечой в руке, в ночной рубашке под иакидкой, увереииую, что сейчас случится что-то иеобычайиое.

— «Ои свободен от чар!»

Вот дура иесчастиая! Да еще и иеблагодариая. Но, одиако, что оиа могла видеть?

— «Ои свободеи от чар»!

Что же все-таки подействовало: иелепая тарабарщииа, мертвецы на кладбище или молитва Мари де ля Круа?

— «Иди, тебя спасла твоя молитва».

Так что вера, которая спасает, разве может исходить от дьявола? Разве достаточио назвать его, нспользуя любые пришедшие в голову слова, сочииить любой церемоииал, чтобы он пришел, чтобы ои помог... В глубиие души Аина старается отыскать какую-то дрожь, какое-то, пусть самое малое, измеиеиие, которое бы предупредило ее о присутствии... Ничего подобиого. И она вызывает в памяти мгиовеиие, в которое на иеблагодарном лице появилось подобие какой-то иежности, как будто пером по нему провели; была ли у Аниы в этот миг мысль, лншенная ироиии, ревиости, мысль сыграть перед этой жеищииой иосительиицу сокровеиий, жестокий детскнй фарс? Может дьявол сделаться ребеиком?

— «Ои свободен от чар»!

Мог ли дьявол иа самом деле виять мольбе этой жеищины? А еслн мог, то какой ценой? Мог дьявол творить добро? Вот кого воспиталн Чериые сестры! А может так быть, что дьявол — это тот чериый человек в маске, может ли счнтаться договором этот краткий позориый миг, соитие, какое оиа иаблюдала у животиых, это иечистое, малозначительиое событие... И это ваши страхи, ваши мечты об обладателе неведомой мощи? Полет, животиое влечение, грубый мир — все это оиа зиала

с детства. Одно с другим не сходится: кто такая, к примеру, Кристиана — безумная плоть без лица или прекрасная хозяйка «Трех тюльпанов»? Когда она играет? А другие: нищие, горожанки, толстые торговцы, эта тайная жизнь, их превращения — как это можно объяснить? Владеет ли она в действительности тайной, не имея возможности поделиться ею с кем-нибудь? Потому что она совершенно не изменилась.

— Лоран, Лоран, неужели нет *ничего другого?*

В холодных глазах Лорана вдруг вспыхивает бесконечная грусть зверя в клетке, сомнение, которое может быть и надеждой.

— Я не знаю, девочка, я ищу.

На мгновение единые, они смотрят на Кристиану, которая сортирует разнообразную добычу, пряча одно и выставляя на продажу другое, она посылает цыгана в подвал, толстого Жака на чердак. Может быть, она знает что-нибудь особенное, она, которую шабаш вычерпывает до дна, удовлетворяет и волнует, она, кто несет в себе воспоминания, как ребенок, с гордостью, отвращением, страхом и желанием.

— Приходится искать все дальше и дальше,— бормочет Лоран почти про себя.— Вот что такое дьявол!

Но Анна не понимает, она не хочет понимать. Она отворачивается от него.

— Все отворачиваются от меня,— думает Лоран.

Они все хотели бы познать дьявола, а сами боятся ледяного сердца. Исключая Кристиану; Кристиану трусливую, лживую, ведь только она по-настоящему заключила договор, только она одна *отдалась* по-настоящему... Он кладет ей руку на плечо. Она вздрагивает. Он предлагает ей то, что ей нравится. Она подчиняется, потому что дьявол везде и во всем, а она жаждет дьявола. Он смотрит, как она превращается в ничто, смешная и возбужденная. Ее нет. Вместо нее — неодушевленное тело, глина; он чувствует себя Богом, но Богом быть горько.

Анна бросает полученную ею монету в мутную реку. Каждый раз. Это своего рода жертва, вызов, игра, все вместе. Сколько раз она уже это сделала? Она чувствует себя богатой, как ребенок, который спрятал шарики под камнем. Золото не исчезает в потоке событий. Ее богатство в ее насмешках, в вызове, который она бросает тем, кто хочет ее купить, она свободна от расчетливости, которую видит вокруг себя, она презирает скаредных и нищих женщин, которые приходят к ней и шепчут, пристыженные и искушаемые, она свободна, как все те, кто лжет и произносит слова, не придавая им смысла. Ее забавляет все, особенно то, что она стала доброй. Она разрушает чары Кристианы, она работала бы даром, если бы золото, которое уходит в реку, текущую за домом, уносящую все грязные воды квартала, не было бы доказательством, обязательной данью. Ведь это входит в правила игры, колдунья должна получать золото. Женщины, которые к ней приходят, были бы очень разочарованы, если бы она не брала денег. Кто знает, действует ли ее сила, но она действует. Сила, направленная на благо. Женщины, которые считают себя заколдованными, женщины, от которых уходят мужья, женщины, у которых дела приходят в упадок, болеет скотина, свертывается молоко,— вот те, кто приходят, чтобы освободиться от дьявола при помощи дьявола, то есть Анны. Наблюдая за Кристианой, перелистывая книги, спрятанные за кроватью у стены, обогащаясь таким образом, Анна составила такие заклинания: «Дьявол, желаешь ли ты, чтобы я освободила эту женщину от злой судьбы и отравы, которые ты на нее наслал?» И судьбы менялись. «Спасибо, спасибо». Потом золото, потом страх, потом от нее отворачиваются. Анна не думает, что она и вправду колдунья. Но почему она играет колдунью? Чтобы что-то спровоцировать. В игре всегда рискуют. Желают риска. Никто не играет один. Должен произойти щелчок, и кто-то должен ответить. Ответ не всегда удовлетворительный. Его недостаточ-

ио, он иеопределеииый. Все приходит в бескоиечиое движеиие, мир наполияется химерами. Потому что ты излечила или заколдовала и ты же сомиеваешься в излечеиии илн в колдовстве. Потому что ты была на шабаше н сомиеваешься в шабаше. И потому тебе иеобходимо все время идти иа шабаш.

Ты толкаешь дверь, дверь ночн, за которой люди обиажеиы, за которой нет бедиости, иеприятиостей, ио что делать в этом малеиьком королевстве, если лншиться возможиости выйти оттуда? Иногда ей хочется остаться там навсегда. Мазь, настойка, которую Кристиаиа делает своими прекрасиымн полиыми руками, помогает проиикиуть туда, ио также помогает выйти оттуда. И каждый раз можио сказать: «Спала ли я, была ли я там, была лн она там?» Разве невозможно заставнть миогнх видеть одии н тот же сои? А можно ли отправиться иа шабаш днем, без мази, без сиадобья, без головокружеиия н узиать все раз и навсегда *из первых рук?* И если один-едииствеииый раз она сможет увериться в этом, тогда «я больше ие пойду туда, иикогда-иикогда». Но кто даст эту увереиность? Оиа даже ие увереиа, что узнáет лица, виденные на шабаше. Вот этот суровый человек, эта прекрасиая девушка, этот нищий... Как узиать иаверияка н без рнска? Едииствеииые, кого оиа может спросить,— это те, кого излечила. Ну, иапример, она могла бы спроснть у женщины, у которой сыи вериулся с войны, у другой, у которой племяииик выздоровел от ужасиой болезин, у той, к которой вериулся любовинк, н у той, которую покииул муж, у той, у которой перестали доиться коровы, у той, которая хотела ребенка. Но все убегают, нзбегают ее; в этом переиаселеиииом предместье оиа так же одинока, как была в детстве, в тележке, переезжавшей от деревни к деревне. Хоть бы одиу, хоть бы один раз заставнть все сказать, во всем нсповедаться... Аина в душе превращается в нинквизитора. Она подстерегает, допрашивает, мучает. «Это правда? Это точио?» Оиа ло-

мает нм костн, она нх колесует, она... Она сумела вылечить коров, вернуть любовннка, дать ребенка без помощн кухонной латыни и молнтвы, прочнтаииой задом наперед, все этн ухнщрення ведь только для того, чтобы напустнть туман? Правда лн, что она прнзывает дьявола? Когда она берет за руку какую-ннбудь толстую крестьянку с красным лнцом н с полиой серьезиостью заставляет ее три раза обернуться вокруг себя во дворе, бормоча всякне глупостн, разве оиа ие смеется в душе, когда виднт, как подчнняется ей иадутая кукла? И тут вдруг ее охватывает бешенство: «Целуй землю, целуй навоз!» Та подчнняется. Шутовская комедня. Но эта шутовская комедня иаделяет девочку властью, веичает ее, прнговарнвает ее. «Бегай на четвереньках! Лай!» Женщина повннуется. Горькое, ужасающее удовольствне. И вдруг Аина поннмает, как это выглядит со стороны. Перед несчастной девочкой, которая прнказывает, в маленьком дворе, окружеином белеиой нзгородью, такой чистой н уверенной девочкой, толстая женщина бегает на четвереньках средн кур н ест грязную землю, скотскнй бред, комичный и страшиый. И Анна пробуждается. «Довольно, довольно!» Начниается головокружение. Нет, она вовсе этого ие хотела! Оиа становнтся сумасшедшей, шабаш все ставит вверх ногами во дворе, около дома, *в жизни*. Больше нет преград, все смешалось, нгра вдруг стаиовится ужасной... И в трансе, в коивульсиях она бросается на землю. На шум прнбегает Крнстнана.

— Прнходнте иочью,— говорнт она жеищнне, которая поднимается н стонт с ндиотскнм выраженнем лица в нспачканной юбке. Эта женщниа больше ие прндет. Оиа слишком нспугалась. Девочка бесноватая, это точно. Она вндела дьявола.

Шабаш — это ночь, сои. Женщины, которые приходят к Аине, сами нграют комедню. Потнхоньку, как маленькие девочкн. Оиа хотела довести игру до коица. И увнде-

ла человеческое существо, превращенное в животное, впавшее в бред от радости, что оно превращено в животное. Метаморфоза произошла на ее глазах и по ее воле. Она теперь не понимает, почему заставила эту женщину броситься к своим ногам в порыве безумия. Кто подтолкнул ее сделать это? Или она сама этого захотела? Говорит ли она то, что хочет сама? Она, наконец, рискнула погрузиться в ночь, в поэзию. Эта мужняя жена испугалась, не вернулась. А если она заговорит? Конечно, очень легко от всего отказаться. Но сплетня бежит быстро. И Лоран в первый раз бранит Анну.

— Ты с ума сошла, несчастная? Средь бела дня?

— Именно,— отвечает она.— Средь бела дня...

И тогда Лоран произносит странные слова:

— Надо уважать день, нельзя путать одно с другим.

Кристиана возражает:

— Все спуталось. Все будет путаться до скончания времен.

Только что Анну высмеяли. Но она видела — пусть она кому-то и кажется смешной,— она-то видела женщину, превращенную в животное средь бела дня... И это *она* превратила эту женщину в животное! Ей не до смеха. И вот здесь, *средь бела дня*, вот он, шабаш. День — это всего только ширма, хрупкая, прозрачная мембрана, которая содержит в себе оцепенелых, но медленно надвигающихся, осязаемых монстров.

— Ты боишься?

На привычный вопрос в этот вечер она ответит, немного колеблясь:

— Не знаю.

— Ну тебе повезло,— говорит Лоран.— Теперь-то уж ты точно отправишься на шабаш.

— И вы тоже?

— О! Я!

Она настаивает.

— Неужели вы никогда, никогда не боялись?

— А ты знаешь легенду о человеке, который не умел дрожать?

В этот вечер иа шабаше в жертву приноснтся козел. Кровь течет по длиииому столу в сарае, куда Аина никогда не сможет найти дорогу.

— А днем и иет дороги,— поясияет Кристиана.

Кровь, судороги животиого, хрипы, когда режут горло... Что может быть привычиее в деревне, чем смерть? Эту жертву превратят в пепел, иикто ее есть ие будет. Ничего особеиного, всего только умирающее жнвотное. Одно нз многих сотеи животиых, которые ежедневио падают под ножом, с пустыми глазамн, вытянутымн ногами. Но Аииа вцепилась в руку Кристианы. Этот козел, который предиазиачается не иа мясо,— это только смерть. И если бы в жертву прииесли человека, ребенка, так же окочеиели бы его члеиы, остекленелн глаза, это ужасное преступление, и оио бы произошло так же, как жертвоприношеиие, которое тут считалось в порядке вещей. Ее иасмешливое «ничего особеиного» приводит ее в ужас, у иее кружнтся голова, потому что тогда все возможио, потому что граиица зла, омерзительная и пошлая, как эта кровь, иикогда не достигается. И среди безумиого смеха этой толпы, наполовину обнаженной, погружающей руки в кровь, омывающей в ней святые дары, которые потом топчут, Аина — ничто, накоиец она превратилась в иичто, она сейчас исчезнет совсем, обрушится в пропасть, точио как Крнстнаиа, иакoнец-то она следует за Кристианой, оиа падает, оиа теперь *знает*. В эту иочь оиа была иа шабаше, *целиком* погрузилась в него.

На утро после этого шабаша, а может быть, и через два дия... Аина не знала, оиа была сломлеиа, ие способна мыслить, по доиосу одиой крестьяики Кристнаиа де ля Шерай н Лораи Шамои, ее родствеиник, соучастник н, как говорят, любовиик, были взяты под стражу. Аиа бродит иесколько часов по пустому дому, не думая о

бегстве, о том, чтобы спрятать книгу, фнгурки нз воска, снадобья, ие думая о том, что прндет н ее черед. Рассказывали потом, что тем, кто прншел за ией (с предосторожностямн, потому что это все-таки *дитя*), она сказала: «Благодарю вас». Потому ее и сочлн сумасшедшей.

Шестиадцать лет, а такая худенькая, маленькая, ей больше четыриадцати ие дашь. Полная жалости тюремщица говорнла, что это дитя. И до самого конца все будут повторять, что это дитя. Но общензвестно, что бывают дети-колдуиы. Иногда еще с колыбели родители посвящают их дьяволу. Таинственной церемонией они зачеркивают крещенне, н таким образом ребенок с шести месяцев уже посвящен.

— Ну разве это возможно? — восклицала тюремщица с пышной грудью, большим сердцем и бездетиая. Муж ее кивал.

— Точно, есть детн-колдуны. Судьн говорят. Священникн говорят. Кумушки говорят. И книги говорят. Что тут поделаешь? И отец малышки (оба онн: н тюремщнк, н его жена говорнлн *«малышка»*, у иих было доброе сердце) был жалкнй человек, ездил нз деревнн в деревню, как цыган (это плохо, потому что почти все цыгане — колдуны), он пнл, богохульствовал, таскал за собой малышку (и до самого конца, до самого ужасного конца и этн люди, и множество других станут говорнть *«малышка»*, со слезамн в голосе, никогда ее так не любили, точно теперь-то она вдруг нашла огромную, новую семью, которая и прнведет ее на костер), он водил ее в таверны *по ночам*.

Ночь! В то время это много значило. Ночь прннадлежала волкам, ночь принадлежала ворам, каждому казалось, что страшиые воровские рожи мелькают за неплотно закрытым ставиямн окном, иочью свечи только дымнлн и не освещали, иочью слышалнсь скрипы, стоны, вой, ночь — это ветер, лес, полное одннoчество, ночью —

дурные сны, страшные сны, ночь принадлежит дьяволу. Можно запереться, но сразу чувствуешь себя в тюрьме, а ночь снаружи катит свои огромные волны. Ты засыпаешь, и тут же тебя уносит куда-то, знакомые предметы меняют свои очертания, и сон поглощает тебя, почти уничтожает. И если «это дитя»— дитя ночи (пусть даже и не виноватое в этом, разве же она виновата, что ее посвятили дьяволу с колыбели?), людьми, которые жалели и любили ее, она была заранее обречена на смерть. Ну как же можно, чтобы именно ее, такую маленькую и нежную, призвал и возжелал дьявол?

— А может быть, она ничего не могла поделать,— говорил священник.— Я слышал, что одна колдунья из Кельна, которую звали Аполлония, жаловалась, что она никак не могла прекратить совершать преступления и злодейства, это у нее было, как дыхание, и она умоляла палача освободить ее от несчастий.

— И ее сожгли?

— Сожгли с превеликим благочестием в 1596 году. Еще и тридцати лет не прошло. Вот так!

Все вздыхали. Ждали. Анну очень хорошо кормили. Прибежали Черные сестры. В слезах.

Ах, *малышка*!

Все говорили *«малышка»*, все, все. Ей так долго отказывали в праве на детство, и вот вдруг ей его возвращают, да еще с невиданной щедростью. И слезы лились ручьем. А теплое, обволакивающее сочувствие окружало ее, точно пуховые подушки. И в предместье о ней говорили больше, чем о Кристиане и Лоране. Дело ее, впрочем, рассматривалось особо. Они были в разных тюрьмах. Но в одном городе Льеже, где их должны были судить. Именно дитя интересовало всех, рвало душу всем, давало показания от имени всех. Дитя, которое будет сожжено ради всех, непременно, хотя никто не осмеливался произнести это вслух. И горожане любили Анну еще больше именно за это, они, правда, любили ее.

И толкали на смелый шаг. И сами от этого стаиовнлись смелее. Ее сожгут, ио потом, в велнкой милости своей, Христос возьмет ее в рай. И, таким образом, зло будет сожжено, и все вслед за ней (как это им показывают фрески в церквах), да, имеино так, все, бесчислеииой толпой, бескоиечиой чередой, все оин вознесутся к иебу. Взрослые молились за дитя. Их чувство было иеподдельиым, так любят зло, которое несут в себе, и они всей душой желали, чтоб девочка была сожжеиа, оии знали, что зло должно быть сожжено, распылено, и вместе с тем все были убеждеиы, что она попадет в рай, потому что «это дитя», и все: воры, прелюбодеи, пьяницы, дуриые моиахиии, иеудовлетвореииые дамы-благодетельницы, грубияиы, которые били своих лошадей и жен,— остаиавливались вдруг, чтобы перекреститься и вздохиуть; скряги, которые жили в страхе, с едииствеиным заветным местом в доме, как с заветным уголком души,— все осознавали, что это дитя — онн сами. Потому что были времеиа, когда еще любили себя, что и позволяло иногда любить других.

Таким образом, Анна была любима, бедный, болезненный зверек, однокий в своем кошмаре, в своих воспоминаииях, отторгиутых от души, в своем уединенин она все же была любима, как инкогда. А потом ее бросили. Или, точиее, ее отпустили. Процесс в Льеже продолжался. Кристиаиа, обезумевшая от ужаса в своем простодушии или же примиреииая, как колдунья из Кельна, посаженная в тюрьму, допрашиваемая, ведомая крепкой рукой к неизбежному и желаииому приговору (собствеино говоря, прндется всего лишь умереть, подумаешь, дело какое!), избежала допроса с пристрастнем, прнзиаваясь во всем, чего от нее требовали, что ей подсказывали, утопая в слезах, даря всем, как рассказывал тюремный священиик, зрелище «столь чудесного раскаяния», что все сердца раскрылись для нее, как в предместье для Анны.

Лоран подвергался всем видам пыток и ни в чем не признался, кроме воровства, которым гордился. Но оба (Кристиана и Лоран) множество раз чистосердечно повторяли, что *«малышка»* просто дурочка и вообще сумасшедшая. Ну, что ж, судьям это очень нравилось. Сумасшедшая и дурочка, малышка была спасена, то есть изгнана.

Изгнана, приговорена к изгнанию, весьма легко отделалась. Ей приказали покинуть Льеж, ну что ж в этом такого? И вернуться в родную деревню Варэ-ля-Шоссе. Вернуться к отцу, к одиночеству, к ничтожеству. Безумная, дурочка, наполовину сирота, бедная и лишенная корней, она ведь никогда по-настоящему не жила в своей деревне, и вот она превратилась в ничто. Больше от нее не требовали ни признания, ни раскаяния. Больше ей не угрожали — больше ее не любили. Она стала меньше, чем животное. Она мучилась от голода. Одна, в разрушенном родном доме, давно уже отец вынес оттуда всю мебель, давно уже односельчане вынесли оттуда все, что можно вынести. Анна бродяжничала. Это никого не удивляло и не беспокоило. Она ведь была безумная. Она ведь была дурочка. Всеобщее отсутствие интереса окружало ее, как пустота дома, как холод. У безумной нет души. Она была отторгнута христианством, христианство — это было все. Если бы она даже ходила голая, если бы выкрикивала богохульства, все было бы принято, все бы сочли естественным: она была дурочкой, она была сумасшедшей. Ее отгоняли, как муху. Ее пинали, как собаку, между делом. У нее была отнята всякая власть, даже над самой собой. И временами она спрашивала себя: «Может быть, я на самом деле безумная?» Она говорила сама с собой, она строила гримасы, глядя в полированную поверхность кружки или кувшина, стараясь поймать выражение своего лица. Кончилась игра, потому что пришел момент истины. Игра существует только в связи с реальностью, которая ее

иа это провоцирует. Нет реальиости, иет риска, иет и вызова. Жизиь отията.

Вот и зиак, вот и доказательство: пришел человек и взял ее. Но ие так, как берут жеищииу. А как берут животиое, козу, потому что оиа еще может пригодиться. Ои гоиялся за ией в пустом доме. Это показывает, что оиа поиимала ситуацию, а ситуация заключалась в том, что ее больше ие считали за человека, когда оиа увидела, что к ией приближается мужчиа, почти старик, широкоплечий, молчаливый, оиа иемиого зиала его раиьше, и даже ие попыталась сказать или спросить что-иибудь: оиа убежала, ударилась о косяк и стала иоситься, как обезумевшая мышь. А ои подумал: «Оиа еще сильиая, это хорошо». Ои поймал ее без труда, как козлеика, и связал, как козлеика, да так и уиес связаииой. Его звали Гийом, ои был стар, одииок, скуп, ио ие зол. Ему иужиа была служаика, и ои подумал, что Аииа ему иичего ие будет стоить. Деревия одобрила этот поступок это была хорошая добыча. Некоторые даже завидовали.

— Если только ои сумеет извлечь из иее пользу...

— Увидите, оиа когда-иибудь подожжет дом. Обыкиовеииое дело.

Ночью хозяии привязывал ее в стойле веревкой. Чтобы ие украли. Что оиа убежит, ои ие боялся. Куда ей идти? Оиа изгиаиа отовсюду

Иногда — редко, потому что ои был старик,— ои опрокидывал ее в стойле и брал без угрызеиий совести, без всяких мыслей. Таким образом ои получал удовлетвореиие от животиого. Одиако ои всегда старался ие сделать ей больио. Ои и животиым иикогда ие делал больио.

Кристиаиа и Лораи были сожжеиы при большом стечеиии иароду. Лораиа везли иа казиь в тележке, потому что у иего были перебиты иоги. Кристиаиа рыдала, откидываясь иазад, без стесиеиия показывая белую грудь,

золотые волосы, примерное раскаяние, она целовала распятие, цепляясь за сутану священника, кричала: «Иисус, Иисус!» Представление стоило денег. Присутствующие были довольны. Плакали от всего сердца. Торговля шла отлично: продавались и образки, и печенье, и вино, это был великий карнавал добрых чувств, судьи, похотливые старцы, выстроившиеся в ряд, подбадривали Кристиану

— Не бойся, это не так уж страшно.

Впрочем, приговор гласил, что она будет вначале удушена, а потом сожжена. И это будет так быстро сделано! Если бы Лоран признался, он бы без труда удостоился такой же милости. Они же не дикари! Судьи смотрели на него, как на неблагодарного. Всего несколько криков, неопределенных признаний под пыткой, тут же взятых назад. Вовсе не так ведется образцовое судопроизводство. Судьи были им недовольны, и это нормально. Даже маленькие дети на плечах у отцов отворачивались от него. Кристиана же была идолом, любимым ребенком, звездой. Как же она была прекрасна! Вынужденный отдых в тюрьме, нервное напряжение последнего момента, который был еще и выходом на сцену,— все это молодило ее, делало движения величественными, а лицо еще красивее и привлекательнее, и ее покорность вместе с нервным подъемом служили ей украшением.

«Она выиграла еще раз»,— подумал Лоран.

Кристиана предала себя Богу, как она предавала себя дьяволу: с открытой душой, охваченная восторгом перед этим скопищем людей, не сопротивляясь, она предалась смерти. Все время в каждой из сцен она одерживала триумф. Она очень легко умрет!

А сердце Лорана оледенело. Члены одеревенели, несмотря на муки. Страдание не проникало в него глубоко, не затронуло суровых глубин его души. Однако он почти надеялся. Но перед людьми, которые с таким старанием мучили его, он не испытывал ни боязни,

ии раскаяиня, ни ужаса. Ои даже самого себя ие жалел. И когда он кричал, ои ин иа что ие рассчнтывал, ннчего ие ждал. Как палачи могли его взволиовать, еслн ои сам не был взволиован? Ему полагалось сыграть прекрасную, патетнческую роль, его просто умолялн согласнться иа нее. Ему иужио было только проявить добрую волю, сделать маленькое усилие, у иего былн на это снлы. Как бы это было красиво: дьявольские любовники, раскаявшнеся, любящие друг друга, прощенные, их ждало соеднииеие на иебесах, они подиялнсь бы туда в апофеозе, немного нзуродоваииые, но за любовь надо платить, не так лн? И долго бы говорилн о тех восторгах, которые они нспытали, в миогочисленных альковах, прн слабом свете, иаслаждаясь; конечно, это ие цена мучений, ио от них ждалн, чтобы они прииялн эту цену, чтобы оин согласнлнсь иа нее, чтобы прнзнались во всем и иемного поделнлнсь с другими. Одиим — иевнданиое иаслаждение, другим — удовольствие наблюдать их конец, прекрасиые, декоративиые языки пламеии, если не обращать виимания иа запах. Необходимо, чтобы все имело свой конец, н поскольку конец неизбежен, почему бы ему не быть прекрасным? Достаточно было бы совсем иемиогого: прнзиаиня, взгляда, пожатия руки... Но Лоран иикогда ие был любовником Кристнаиы. Он владел ею, ио это совсем другое дело. Дьявол, черный человек, был его орудием, а ие хозяином, как считали эти дураки. Чериый человек, важно говорнлн судьи, н оии представляли запах страдаиня, дыма, рога, приапические подвнгн, чудеса. Чериый человек! Это всегда были разиые людн: цыган, иищнй, разиосчик всякой еруиды, хватало серебряиой моиеты н прнказаиия молчать, этн людншкн мечталн набить пузо, получить женщнну, а некоторым даже иравнлось играть эту таинственную роль, ие поиимая сути прonсходящего. И Лораи иикогда ие был любовнником Кристиаиы, и черный человек был всего лишь пьяиым нищнм, илн любопытным горожаиииом,

или солдатом, истосковавшимся по любви, и все это привело к костру, к телу, разорванному болью, к празднеству толпы, к сомнительному триумфу Кристианы, в то время как у него в сердце лед...

Говорят, что семя дьявола холодное. Говорят, что в теле колдунов есть нечувствительное место, через которое улетает душа. Говорят, что колдуны не могут плакать. Но разве кто-нибудь говорил, что колдуны не могут верить в дьявола? Но разве кто-нибудь говорил, что после мига холодного безумия они понимают, что все это отвратительное притворство, и в этом состоит их пытка?

Жиль де Рэ перерезал горло десяткам детей, чтобы получить от этого удовольствие и чтобы принести жертву дьяволу. Но дьявол не предстал перед ним. Точно удовольствие — это то, что может понравиться дьяволу, даже самое омерзительное, самое ужасное! Ведь удовольствие — это явление жизни. Никогда Лоран не знал удовольствия. Он идет навстречу смерти свободным от всяких сделок, даже с дьяволом. Потому что дьявола он им отдал. Все, кто прибежали смотреть казнь и отворачивались от него, все, кого он обворовал, и те, кому он помогал воровать, все, кто блудодействовал у него на глазах, и те, кто отдавались, Кристиана с ее трансами и маленькая Анна с ее детскими фокусами и внезапным страхом,— все они познали дьявола, насладились дьяволом, прикоснулись к дьяволу, все, кроме него, все, кроме Лорана, вора с лицом столь красивым и гордым, и вот он идет навстречу смерти, не произнеся ни слова раскаяния. Его даже никто не ругал и не оскорблял, до самого последнего момента он хранил ледяное спокойствие.

Так как у него были переломаны ноги, в костер ему поставили стул. Судьи стыдливо отворачивались, чтобы не видеть его изувеченного тела. А на Кристиану смотреть было очень приятно. Священник еще раз попытался

уговорить Лорана покаяться. Пусть он произнесет хоть одно трогательное слово, и его тут же удушат. Им очень хотелось удушить его. Неужели он думает, что им нравится быть жестокими? Он знал это, он знал своего отца, человека с доброй душой, который готов был угодить всем и каждому. Но Лоран отказался. Он хотел продемонстрировать им казнь во всей ее полноте: с криками, дымом, запахом, ужасами. В последний раз он властвовал над всей этой толпой: он заставит их, этих добрых людей, пройти весь путь до конца, пусть они тоже ощутят на устах вкус ада, который вызывает у них такое любопытство. Его смерть отравит их души. И когда дым начал подниматься и душить его, он еще видел эти лица, жадные, любопытные, встревоженные, измученные наслаждением и стыдом, и сердце его начало тихо плавиться, и, возможно, один момент он испытывал сожаление, прежде чем превратиться в мешок стенающей плоти и умереть.

Что касается Кристианы, как и обещано, все было сделано очень быстро. Ее бросили в костер совершенно не обезображенной. И многие потом утверждали, что видели, как ее душа голубкой покинула тело и вознеслась к небесам. Другие видели, как в языках пламени распускались розы. На том месте, где стоял ее дом, часто будут происходить чудеса, а пепел от ее костра, тайно собранный или проданный за золото, станет притиранием для маленьких детей, страдающих от лихорадки, средством их спасения. Кристиану будут долго оплакивать.

В деревне Варэ-ля-Шоссе Гийом, который никогда не разговаривал, все-таки сказал своей служанке (дурочке и немного сумасшедшей, которую он прибрал к рукам на развалинах ее дома):

— Ты легко отделалась, моя девочка.

Так она узнала, что Кристианы и Лорана больше нет. А были ли они когда-нибудь? Существовал ли дом с гиацинтами? А монастырь, а экстазы Мари?

С того момента, как ее освободили — прогнали, бросили в эту деревню, провозгласив сумасшедшей,— у нее отняли личность, сделали ее невидимой, отметили болезнью любой ее жест, любое слово, и она теперь сомневалась во всем. Может быть, все это ей только приснилось? Может быть, это были нечистые, химерические сны юности? Все это: поездки в тележке, ночи на постоялых дворах, чудесные превращения отца — все туманное, смутное, что произошло в ее жизни. Может быть, все это было лишь долгим разглядыванием узоров ковра вечером перед сном, при дрожащем свете свечи, всего лишь видением, когда пришедший наконец сон оживляет вытканные на ковре фигуры, и они пересекают обрамляющий его бордюр из листьев... Мари де ля Круа была далеко, она исчезла, как героиня полузабытой легенды, Кристиана и Лоран умерли, отпечатавшись навсегда в нравоучительных историях, передаваемых из уст в уста, они остались в памяти, окруженные цветами из бумаги, языками пламени из красных чернил, но лишенные собственного облика. Она продолжала вести бессмысленную, ничем не прикрытую скотскую жизнь в доме, затерянном среди полей, этот дом, в силу своей незначительности, не был для нее ни убежищем, ни жилищем в определенном месте, в определенной стране, но *всего лишь* местом обитания, средоточием кошмара, еще более пошлого, чем жизнь.

Она разговаривала сама с собой. Она пыталась молиться: «Верните мне существование, верните мне душу, вы ведь здесь для этого, вы, бесчисленные святые, ангелы, нам об этом уши прожужжали, вы, святые девы, ведь вас же великое множество, есть среди вас те, кто излечивает болезни живота, те, кто посылает дождь, кто выдает замуж девиц, кто преграждает путь саранче...» Молилась она истово, зажмурив глаза, слепая к мгновенной нежности природы, нежности, мелькавшей иногда на миг в чертах старика. И когда она открывала глаза,

кругом были бесконечные, безжалостные поля, и старик молчал. И тогда, перепахивая огород, она призвала дьявола.

— Ведь я же заключила договор!

Он ей был кое-что должен. Она снова стала его дразнить. Она пела ему обрывки молитв, она призывала на деревню бедствия, в которые почти не верила, она провоцировала, бросала вызов врагу, и понемногу ей стало казаться, что в ней что-то пробуждается, что она снова возвращается к жизни, что в ней что-то зарождается, как ребенок, который формируется в чреве настоящих женщин, полном воды, лениво шевелится в этой лимфе, глаза его закрыты, мыслей нет, однако он живет.

Осенью был плохой урожай. Было много дождей. На деревню навалилась лихорадка. Дети умирали, все были голодны, всем было холодно, все боялись войны. Зима приближалась неумолимо, тяжелыми солдатскими шагами. День становился все короче. Пятнадцатилетняя девочка утонула в яме с водой. Двое стариков умерли без покаяния — священник вернулся с полпути из-за непогоды. Рождество светилось как маленький светильник в конце тоннеля, до него оставалась целая вечность черного мороза. Снова пошли слухи о волках. И одна женщина вспомнила, что, когда Анна была маленькой, она всегда говорила:

— Я не боюсь волков.

И тогда снова заговорили об Анне.

Сумасшедшая, дурочка. Но с ума сошло само время: с повальными болезнями, которые приближались неумолимо, ночью, когда низкие дома были погружены в сон; взбесившееся время: с волками, с войнами, которые маячили вдалеке, за горизонтом, с непроснувшимися утром детьми (накануне они были немного бледны, отказывались от еды, и все, и — о, ужасное воспоминание — им давали подзатыльник, и они шли спать к сырой стене). Дожди не кончались. И снова заговорили об Анне.

Сумасшедшая дурочка, ну и что? Кристиану сожгли напрасно, рассказывали, что на ее могиле происходят чудеса. И если что-то может мертвая, то почему же не может живая? А, может быть, бедствия, навалившиеся на деревню... О, они ничего не утверждали. В этой деревне вера была не особенно крепка. Кюре сожительствовал с двумя служанками, но был добрый. Сеньор *отсутствовал*. Их оставили в покое, они были предоставлены самим себе.

Одна женщина принесла Анне несколько яиц, пирог. Старик очень удивился. Очень давно он уже ничему не удивлялся. Холера отняла у него жену и сына, война — двух других сыновей, он привык жить в пустоте и одиночестве. И вот к нему приходят и говорят, что девочка, которую он взял в дом, которую он не называл даже по имени, оказалась кем-то, персоной. Родилось сомнение, недоверие. И вот она вновь перенесена на границу мечты; с ней затеяли игру. Женщина с пирогом прошептала: «Сделайте *что-нибудь!*» За этой просьбой стояла вся деревня; вся деревня, измученная нищетой и страхом, хотела поставить у себя драму, *мистерию*. Поскольку кюре не был в состоянии сыграть благочестивую пьесу, он был слишком ленив, чтобы организовать даже какую-нибудь процессию, какую-нибудь жертвенную церемонию или церемонию покаяния, которая бы ярко вспыхнула среди зимы, громко прозвучала среди тишины, нужны были свечи, музыка, изображения святых, но этого не было, то крестьяне обратились к зиме, ночи, молчанию, как к заброшенным божкам, они стали их призывать, правда, немного насмешливо, немного дрожа от страха, потому что мало ли что... Конечно, все это пустяки, но все может случиться, так как им необходим был праздник, церемония, что-то, что оживило бы пустую ночь ноября. С того дня, как женщины стали приносить Анне яйца и пироги, они сами стали меньше голодать. Канва была готова, а пьеса писалась в течение десятков

лет, а точнее, в течение века, даже больше. (Ибо графство Намюр с 1500 по 1650 год должно было заплатить тяжелую дань колдовству.) Ловушка была расставлена, роль предложена, вполне законно, потому что все знали исход. Анну вдохновила властная воля толпы. Ведь с того дня, как она вернулась в Варэ-ля-Шоссе, никто от нее ничего не требовал. Она сделала всего шаг, всего один шаг по этой наклонной плоскости, это ведь было такое искушение — снова существовать: она приняла подарок. И с этого мгновенья она окончательно приговорена. На следующее же утро дождь в деревне прекратился. И деревня погрузилась в полный бред. Значит, Анна колдунья. И старик переменился к ней, теперь он ее *видел и замечал.* А ведь какой ужас: жить, никем не замеченной! Она снова обрела имя. Вся деревня не сводила с нее глаз. И когда тебя уже вытолкнули на подмостки, под десятки взглядов, полных внимания, угрожающего и жадного восхищения, ты снова живешь, пусть несколько мгновений, ты играешь с отчаянным надрывом. Ты говоришь, и любое слово до последней степени насыщает эту изголодавшуюся публику. И это засасывает тебя все глубже и глубже, это внимание — тяжелый камень на шее, который увлекает тебя в самую глубину водоворота, тебя равно обуревает тоска и радость, ты понимаешь, что погибла, и погибла навсегда. Она заговорила. Она стала произносить детские слова, она бормотала их, дрожа от страха, от желания верить в свою власть, она жестоко забавлялась, она продолжала быть ребенком и осталась ребенком до конца.

— Дьявол, изыди, верни здоровье этому ребенку!

Ну разве это не считалка, не глупая детская песенка, которую поют девочки, играя в «классы»? Никогда она не знала заговоров, которые Кристиана втайне читала по большой книге, вся проникнувшись тайной. Никогда она точно не знала секретов составления лекарств, она мешала травы наудачу, но все же что-то происходило.

Деревня проснулась, точно голодный зверь. Дети выздоравливали, люди меньше боялись волков, они ходили друг к другу, шептались. Они выжидали. Они приходили к Гийому, магический круг одиночества был разорван. Чтобы дойти до его дома, нужно было миновать небольшой лес; какими только качествами ни наделяли они этот столь знакомый лес! Все пришло в движение.

Они говорили:

— Она никогда не была сумасшедшей. Они ошиблись. Она обладает могуществом. Присутствие здесь человека, обладающего могуществом, меняет всю жизнь. Нужно спешить воспользоваться этим. Это никогда не длится долго.

И крестьянки, что бежали по лесу с корзинками, а в корзинках — цыпленок, пара простынь, сережки,— знали уже, что донесут на нее. А знала ли Анна? Предчувствовала. А чего еще она могла ждать? Одна девушка убедила любовника жениться на ней, и это благодаря колдовству, шедшему из дома Гийома. Одной бабушке на смертном одре привиделось, что она знает, где спрятан клад, в указанном месте действительно нашли несколько экю. Может быть, бабушка сама их там и закопала? Чудеса цвели до самого конца года. Декабрь застал всех в напряженном ожидании рождественского чуда. Они откладывали со дня на день, ведь это же *добрая* волшебница. Они защищали ее, подбадривали в смутном единодушии, теплоту которого она ощущала. Они заранее просили прощения, они никак не могли поступить по-иному, все это было в порядке вещей, потому что она со своим могуществом представляла иную власть, которую они понемногу стали упускать из виду.

24 декабря ее снова арестовали. На этот раз как добрую колдунью. Ее назвали по имени.

— Анна де Шантрэн, рожденная в Варэ, возраст семнадцать лет и три месяца, за твои грехи я приговариваю тебя к сожжению.

К ней обращались на «ты». В тюрьму ей продолжали прииосить корзины с едой. Ей подарили платье, чтобы взойти иа костер. Она иемного бредила, совсем тихо. Это был ее звездиый час. Оиа подиялась на костер как на сцену, как иа трои. Оиа помахала рукой иа прощаиие, как это делают властелиины или маленькие дети. Ее тотчас же задушили. Языки пламеии охватили ее, как объятия. Четыре часа спустя была отслужена полночиая месса.

Элизабет, или Безумная любовь

«Малышка глупа»,— в бессннльном гневе навнсая огромной грозной тенью, говорнл отец. Казалось, он ненавндел ее, как н другнх женщнн, сновавшнх вокруг него. Разве не еднственное, что было в его властн,— это наводнть страх в доме, как н все кругом, прннадлежавшем жене? Бедность капнтана Ранфена вынудила его женнться на Клод де Маньер, болезненной женщнне старше него; правда, женнлся он охотно, ведь он прнноснл в качестве приданого отлнчное здоровье, превосходный нрав, бряцанне оружня (откровенно говоря, негромкое), победоносную мужественность. И все это он готов был прннестн в дар прн условнн, если жена будет его обожать до смерти. Разве он хотел слншком многого? Прнданое Клод де Маньер заключалось в деньгах, гордом осознаннн своего несколько более благородного пронсхождення, беспокойном н страстном характере, проннцательностн, стремленнн повелевать, в котором находнлн выраженне ее чадолюбнвые мечты, без конца обманываемые несостоявшнмнся бракамн. Она бы полюбнла н больного мужа, капрнзного ребенка, чувствнтельного повесу; судьба подброснла ей спеснвую посредственность, уже подпорченную жнзненнымн неудачамн н алкоголем, неспособную одержнвать победы, кроме как в спальне. Чувство неполноценностн, которое, как он предполагал, было у всемн пренебрегаемой Клод, настроило его на любовь к ней. Побуднтельные прнчнны многнх браков по расчету глубже, чем кажется на первый взгляд. Требовался лншь пустяк, чтобы этот сплав удал-

ся. Капитану нужны были заранее побежденные тело и душа; многие поблекшие лица, неудавшиеся жизни влекут мужчин своей волнующей притягательностью. То ли из похвальной гордости, то ли из высокомерия, но старая дева, какой была Клод (видом и запахом напоминавшая высушенную розу), отказалась участвовать в этой игре. Благодаря своей проницательности она понимала: у нее тоже есть что отдать, и не в пример более ценное. Сознавая, что ее заставляют принимать, да еще с постоянными излияниями восторга, подарок столь низкого качества, Клод пришла в негодование. Ее нервозность возросла, набожность, скорее воображаемая, чем идущая от сердца, усилилась; она украшала себя ею, как драгоценностью, и опиралась на эту добродетель, чтобы свысока наблюдать за пороками капитана, давая одним своим взглядом понять, что почитает его за солдафона.

Следует сказать, что Ранфену ничего не стоило ограничить себя этой ролью, которая была ему как раз впору. Он пил, ругался, жил на деньги жены, не делая ни малейшего усилия выделиться в чем бы то ни было, и в конце концов убедил себя — простые объяснения всегда приносят некоторое успокоение,— будто и женился, чтобы вести подобную жизнь, хотя это было не совсем так. Однако какое наступает облегчение, когда потехи ради можно сказать об этом вечере в кабаре.

По натуре Клод была фригидной женщиной с заторможенными чувствами. Она говорила себе, что не подвержена этим слабостям, а замуж вышла, только чтобы стать матерью. Притворно добродетельные, глупые, разочаровавшиеся в жизни дамы ее круга разделяли подобные взгляды; ходячие истины, назойливые, как собутыльники, укрепляли их в этом мнении. Лишь должным образом разобравшись в причинах приглушенной ненависти, с некоторых пор царившей в отношениях между супругами, можно было разрушить столь замечательное в своей обыденности представление. Однако остатки хорошего

воспитания на долгое время помешали супругам до конца осмыслить свои чувства и, возможно, примириться друг с другом,— в такой вот разреженной атмосфере родилась и выросла Элизабет. Дочкой, и единственной, восполнила для Клод природа долгие годы неудовлетворенности. Клод потеряла последнее здоровье, и душевное равновесие к ней так и не возвратилось. В доме стало полно женщин. Уродливые и болезненные служанки, взятые из сиротского дома, как говорится из милости, или уцелевшие после какого-нибудь несчастного случая в семье, страдали от того же недуга, который снедал хозяйку,— от мысли, что жизнь их в чем-то обделила. У служанок был свой предмет для поклонения, которому они с наслаждением кадили,— они боготворили свое несчастье, преувеличивали свои невзгоды, с радостью выставляли их напоказ. Уродливые, они подчеркивали свое уродство, немощные, хвастались своими немощами и, словно иголками в мягкий воск, тыкали в окружающих своими самоистязаниями, своими молитвами. За плотно закрытыми дверями этого дома много молились; дом напоминал улей, наполненный непрекращающимся грозным жужжанием пчел, которые больше стачивали жало, чем приносили мед. Капитану досталась роль людоеда, палача, бича божьего — кто-то должен был выполнять и такую. Агнцем же была Элизабет.

Агнцем, с самого рождения обожаемым, почитаемым, обреченным на заклание. Перед абсолютным злом ей приходилось воплощать собою невинность, а также слабость, болезнь. Разве ей сотни, тысячи раз не твердили: «Бедное дитя! Ее мать чуть не умерла, разрешаясь от бремени»? Конечно, ребенок не виноват, виновата жизнь, угнездившаяся в нем. И Элизабет жалели за то, что, несмотря на свою невинность, она несла в себе страшную силу — жизнь. Мало того что она при рождении чуть не свела мать в могилу, она и потом словно стремилась ее доконать, каждый день заставляя волноваться. Клод

цеплялась за здоровье Элизабет, за ее душу — это не бог весть какое добро, ничего не стоящее, никудышное сокровище,— ведь что значила хрупкая жизнь ребенка в Нанси в 1592 г.? «Хотя бы изловчилась родить мне мальчика»,— посмеивается капитан. Как только язык поворачивается! Клод от таких слов содрогается, служанки возмущенно гудят. В наглухо закрытом, сильно натопленном помещении пахнет воском. Элизабет, словно в материнском чреве, заточена в нем до четырех-пятилетнего возраста.

Бог ведает, что с ней может случиться на улице! Там ее поджидает масса всяких болезней, искушения, распутство, опасности самого разного рода. Девчушка, которая чуть не погубила свою мать, чувствует себя обязанной быть самим совершенством, ангелом, святой. Жизнь надо искупить. Повсюду грех и болезнь, они походят друг на друга и таят в себе угрозу: пропасть куда ни глянь. С самого раннего детства Элизабет узнает о существовании этих пропастей — снаружи и внутри себя. Единственное прибежище — мать. «Единственное мое утешение, единственная любовь». Ни для кого не секрет, что мадам де Ранфен обожает дочь. Она так печется о ее здоровье, что распорядилась закрыть окна ее комнаты дорогими коврами, так была устранена угроза сквозняков, а на улицу выглядывать что толку? На улице грех. Мать печется и о ее душе и потому не позволяет дочери разговаривать с другими детьми. Мало ли что. Как знать, какое зло может скрываться в слове, взгляде? В свои пять лет Элизабет живет, как на острове.

На острове свой Калибан, и Калибан владетельный. Высокого роста, с грубым голосом, крепким здоровьем — причиной диких выходок, жизнерадостностью, обращающейся хамством, тайным стыдом, скрытым за бахвальством, и тайным страхом, скрытым за фанфаронством,— капитан царствует, но не управляет. Живя в атмосфере безропотного презрения, плутая в тумане благочестивых

хитросплетений, оскорбительной покорности, он кричит, бушует, как человек, который, потерявшись в открытом поле, желает хотя бы удостовериться, что пока не умер. А как иначе ему жить, не нагнетая в доме страха? Однако Клод своим безупречным поведением выбила у него из рук оружие. Она ни разу не попрекнула мужа. Когда он проматывает уйму денег в карты, его домашние туже затягивают ремень, а Клод и слова не говорит и, как ему сдается, даже испытывает удовлетворение; с таким же удовлетворением она дала бы ему разорить семью (классическая для того времени ситуация — негодяй разоряет семью; Клод видела себя Гризелидой — на пьедестале), если только он сам, устрашенный ее молчанием и своим одиночеством, не пойдет на попятную. Когда он напивается, кругом все молчат, служанки спешат к нему, чистят одежду, стаскивают сапоги. Как-то раз он в подпитии требует, чтобы явилась супруга, и только он успел высказать свое требование, как Клод уже тут как тут, встала с постели и в наспех натянутом халате, перед почтительным хором своих приверженцев (одной кривой бабы, одной незаконнорожденной девушки и тринадцатилетней девочки из сиротского дома, которая харкала кровью в платок и потому несколько дней спустя была отослана обратно) и перед бледной испуганной Элизабет, которая хорошо дополняла картину, с готовностью и ловко опускается на колени, не боясь запачкать одежды, словно говоря: «Вот как следует поступать, вот прекрасный пример образцового поведения». И поднявшись с колен, она улыбнулась. Это так нетрудно стянуть сапоги с пьяного мужчины, сущая ерунда. Просто до смешного. Он не смог вынести этой улыбки и толкнул жену ногой, прямо в грудь. Клод упала назад, чуть ли не к ногам Элизабет. Головой грохнулась о пол. Ничего серьезного. Она тут же встала. Девочка даже не пикнула, в какой-то степени приученная матерью владеть собой. «Когда к вам обращаются другие дети, молчите. Когда ваш отец повышает голос,

молчите. Молчаиие — оружие ангелов». Элизабет молчит, ио из ее ноздрей текут две тоикие струйки крови.

«Итак, встаем,— говорит Клод (такая худощавая, хрупкая, иесокрушимая),— иам пора уходить. Элизабет, поцелуйте отца».

Оиа не из тех, кто иастраивает детей против родителя. Элизабет, бледиая как мел, в своей льняиой ночной рубашке, молча подходит к отцу как призрак убиениого младеица. Струйки крови доползли до горла. Оиа притрагивается губами к руке побеждеиного колосса, слегка пачкая ее кровью. У нее иет сил сдвииуться с места. Хорошее назидаиие для служанок.

— Малышка глупа,— будет продолжать вещать капитаи де Раифеи перед безмолвио стоящим ребенком, готовым отважио пожертвовать собою, подобно Исааку, о котором повествует священиая история. Безучастная, оиа устремила свой взор иа тот виутрениий образ, который ей виушили, навязали. Оиа в любую миfiуту чувствовала себя способиой подвергиуть риску свою жизиь, свое спасеиие.

«А сегодия ты ни разу ие солгала? Ты в этом увереиа? Не испытала гиева или возмущения? Всецело ли ты предала себя молитве? Не взгляиула ли иа себя в зеркало? Соблюла ли скромиость, когда одевалась?»

Какую смуту виосили эти вопросы в душу шестилетиего ребеика! Оиа ие зиала, что отвечать. Иногда Элизабет позволяла себе явиую бесхитростиую ложь, потому что тут по крайней мере было ясио, какие будут последствия: раскаяиие, поток слез, которыми Клод упивалась, как родниковой водой. Оии бросались друг другу в объятья, словио укрываясь от посторонних.

Кругом были враги, и первый враг — тело. Отец с его иепомериым аппетитом, попойками, которыми он бросал вызов окружающим, с его иожищами, ручищами демонстрировал это достаточно наглядио. Тело, о котором иадлежало, одиако, иемиого заботиться, как о вредном живот-

иом, которое приходнтся кормнть из опасения, как бы оио ие сожрало вас. Элизабет боялась своего тела. Кто знает, ие предаст ли оно ее? Одеваясь, умываясь, она щурила глаза, чтобы не заметнть ничего такого, что шло вразрез со скромностью нравов. Ловушкн были скрыты во всем теле, ио где нменно? Иногда ее доимало любопытство, внушенное дьяволом. Когда она мыла иогн, то закрывала глаза, зажмурнвала их нзо всей силы; отказываясь от помощи служаики, оиа порой перевертывала таз; платье у нее было застегиуто не иа ту пуговицу, передник сидел косо. «Тем лучше, тем лучше, это доказывает, что вы ие заиимаетесь самолюбованием». Одиажды, помогая ей надеть иижиюю юбку, служаика сказала, что Элизабет, когда вырастет, будет хорошеиькой, даже красавицей, с ее правильными чертами лица, с ее сложеиием, точеиой фигуркой — и это в таком-то возрасте. Элизабет покрасиела как рак. В тот же вечер оиа, плача, призиалась во всем матери. Служанку рассчнталн. Несколько часов Клод чувствовала себя счастливой: ее ангел показал себя достойиым своей матери. Потом, одиако, ее одолели сомиеиия:

— Но тебе ее похвалы, иаверно, доставили удовольствие? Испытала ли ты дьявольский соблазн?

Возбуждеиие матери, ее горячиость, поцелуи, скорый гнев — все повергало Элизабет в трепет, и оиа сама себе казалась виноватой.

— Нет, мама, кляиусь!

— А кто мие поручится, что ты не лжешь? Что ты уже не развратилась, ие оскверинла себя? Твой иесчастиый отец... Так что давайте признавайтесь, призиавайтесь...

Она сжимает девочку, трясет. Стонт только проявить слабость — и все пропало. Как иенавидит Клод свое собствениое тело, которое пусть иногда (о так редко,— капитан ни о чем ие догадался), пусть один-два раза, ио все же постыдио предавало ее!

— Правду, говори правду!

К кому она обращается, к ребенку или к своему телу, которое, изголодавшись от долгих ожиданий (Клод не может этого забыть), пару раз пришло в возбуждение в темном алькове.

— Правду, говори правду!

Сведенное судорогой лицо матери, ее изменившийся голос пугают ребенка.

— Мама, вы делаете мне больно, отпустите, отпустите же...

Внезапно мать отпускает ее.

— Так же крепко держит грех, так же крепко...

И она уходит под бременем своих мук. Элизабет долго еще всхлипывает, сама не зная почему.

Как-то раз один маленький мальчик захотел ее поцеловать, она укусила его за щеку.

Элизабет должна была почувствовать облегчение, поступив в школу к сестрам-монахиням, но этот семилетний ребенок слишком замкнулся в себе, слишком застыл в оборонительной позе, чтобы без стеснения разделять забавы детей своего возраста. Вскоре ее уже зовут дикаркой на радость Клод де Маньер. Над каждым прожитым днем они размышляют вместе.

— Ты уверена, что не подвергалась искушению? Ни на единое мгновение?

Мать со всею пылкостью преследовала не только грех, но и любое движение дочерней души, самое малое ее колыхание.

— Ты хорошо поработала, но ведь это потому, что желала похвал?

На следующей неделе безучастная Элизабет уже во всем последняя, и капитан получает возможность продемонстрировать свою язвительность:

— Малышка глупа. Если раньше она была на хорошем счету, то это сказывалось мое влияние.

Девочка и не пытается оправдаться. После минутного

нзумлення Клод нспытывает смесь восхнщеиия н беспокойства. Не вооружнла лн она свою дочь так хорошо только протнв ее самой? Когда онн остаются вдвоем, Клод нщет во взгляде Элнзабет желанне сннскать одобренне, прнзыв к сообщнннчеству, но не иаходит.

— Ваше поведенне мне кажется иеестественным,— строго говорит она.

У семнлетией Элизабет по щеке течет слезннка.

— Дорогая!

Сердце у Клод разрывается, н она смеияет гнев иа мнлость.

— Ты ведь сделала это для меня, правда, мое сокровище?

— Для вас н для Бога,— отвечает девочка.

— Это одно н то же,— счастлнво вздыхает Клод.

Пора, когда любовь к матерн н любовь к Богу вступят в протнворечне, действнтельио еще не наступнла, Элизабет восхнщается матерью, восхнщается той яростью, с какой она побеждает себя, страстной ненавнстью к счастью, заменяющей ей добродетель, н старается во всем ей подражать. Этн старання в столь нежном возрасте не обходятся без внутрениего протеста. Элнзабет проходнт суровую закалку, прнобретая такую стойкость, что впоследствни в самых тяжелых обстоятельствах ей ннкогда не нзменнт самообладание. Чувствительность ребенка, уже находясь под гиетом молодой волн, обретает убежнще в мечтах.

Прнтягательный н отталкивающнй образ жестокого отца, способиого ее убнть, со временем усложняется, представляется в ииом свете.

— Вы должиы любнть отца,— говорнт Клод, являя собой прнмер уважительиостн и покориости. Малейшее упущенне в этом отиошеиии иаказывается со всей строгостью, будь вииовата Элизабет или кто-иибудь нз служанок. Однако тут скрывается предостережение, и тревожный взгляд Клод следнт за каждым движеиием Элнзабет:

не вздумает ли вдруг отец проявить к ней хоть какой-нибудь интерес. На словах предосудительным считается не выказывать отцу любви, но тайно, в глубине души Клод полагает достойным порицания поддаваться очарованию его громкого голоса, огромных сапог и того духа, какой мужское присутствие всегда привносит в домашний уклад. Элизабет стыдно, когда она поддается этому очарованию. Она знает, что этим предает мать и добро. Конфликт обретает плоть в кошмаре: Элизабет видит огромные чудовищные существа, которые хотят ее задушить. Может, в фантасмагориях в извращенном виде предстает перед ней материнская любовь? В бессознательном раздвоении она зовет такие существа бесами. Ни Клод де Маньер, ни сестры-монахини не удивляются тому, что семилетний ребенок одержим «бесами». Напротив, они видят в этом показатель блестящей будущности. Тайный стыд выливается в гордость, образуя взрывоопасную смесь. Отец заявляет:

— Мало того, что девочка слабоумная, мать, по-моему, сделала из нее сумасшедшую.

В своем сомнении он дойдет до того, что примется колотить дочь. Элизабет никогда не плачет. Это девчушка редкой красоты, с живым, проницательным умом, с характером, с каждым днем все более и более мужественным. Однако Клод де Маньер не ошибается: в ребенке созрело сопротивление, о котором он сам не догадывается; мать замечает это и, страдая, готовится его подавить. Подозревая, что девочка станет кичиться своей красотой, и прежде всего восхитительными волосами, она заставляет Элизабет их остричь. Если учитель музыки хвалит исключительные способности Элизабет, ее обаяние, голос, мать умело возбуждает в ребенке совестливость, граничащую с ужасом.

— Похвалы ничего не значат, если в них не черпаешь наслаждения. Я слишком хорошо знаю свою Элизабет.

Элизабет колеблется, краснеет, возмущается и после внутренней борьбы говорит:

— Я хотела бы, мама, прекратить занятия музыкой.

Клод спешит пойти навстречу желанию Элизабет, одобрить побудившие его причины.

— Какое счастье, мое золотце, видеть, что ты, такая молодая, защищена от мирской суетности, и это с твоей красотой, с твоими способностями.

Клод хочет, чтобы, принадлежа ей, дочь оставалась красавицей. Глухое ожесточение девочки, чувствующей, что ею помыкают, лишний раз подавляется гордостью. Следует еще одно перемирие. В свои десять лет Элизабет и правда образцовый ребенок. Она красива, хорошо воспитана, умна, благочестива. Именно так о ней говорят, и именно так она думает о себе, ее образ уже скован жильной породой, и Элизабет старается из него не выходить, но время от времени ее окаменевшее сердце все же гложет тревога. Ох, если бы прекратились эти вопросы: «Ты говоришь правду? Это действительно так?» Характер ребенка становится все более неровным, Элизабет иногда раздражается, не понимая, что все эти бесконечные вопросы сводятся к одному: «Ты любишь меня? Очень любишь?»

Клод слишком себя ненавидит, чтобы просто приписывать себе право на дочернюю любовь; однако, становясь на место Бога, присваивая себе его полномочия, она может косвенным образом на нее претендовать. Элизабет начинает мечтать об одиночестве, о том, чтобы отправиться босиком в поле с одной горбушкой хлеба в клетчатом платке, уединиться на горе, молясь там за всех, питаясь акридами, между тем как у подножия толпа почитала бы ее в благоговейном молчании. В молчании и в отдалении; эта детская мечта (почти такой же мечте предавалась святая Тереза, когда ребенком убежала с братом из дома) выражает робкое желание, потребность, в которой Элизабет не осмеливалась себе признаться:

она хотела иметь право на одиночество, прежде всего внутреннее. Быть отшельницей. Элизабет упивается этой мечтой, как и другими, менее невинными грезами. Она представляет себе грот, принадлежащий ей одной, скромный чугунок, где она будет варить желуди, травы,— то, что в ее катехизисе именуется «кореньями». «Они питались лишь травой и кореньями»,— прочтет она при свете свечи в толстой книге, сидя с рассыпанными по плечам волосами, подобно Марии Магдалине на картине в отцовском кабинете. Может, ее придут мучить кривляющиеся бесы, но она безучастно станет перебирать четки, пока бесы не исчезнут. Клод застает ее с туманным взором, отсутствующую — благочестивая книга с красивыми картинками лежит у ее ног.

— Элизабет!

Гневный окрик, но в нем и любовь. Элизабет вскакивает, краснеет.

— Что вы делаете? О чем думаете? Я требую, слышите, требую...

— Я думала о Боге, о том, чтобы стать отшельницей на горе.

— Лжете!

Она говорит правду, однако у нее ужасное предчувствие, что она все-таки невольно лжет, что-то лжет в ней, но что, как? Элизабет смущается, у нее кружится голова, и она лишь жалко повторяет:

— Я клянусь, мама, клянусь... отшельницей на горе.

— Лжете, лжете! Я заметила, как вы покраснели, почему вы покраснели?

— Не знаю, мама, клянусь, я думала о горе́, о пещерах, о святой Терезе.

Но благодаря инстинкту, выкованному страданием, унижениями, благодаря нюху хорька мать безошибочно учуяла в дочери скрытое упрямство, некий прочный стержень внутри, за который та цепляется.

— Почему вы покраснели?

— Не знаю.
— Почему?
— Я не знаю.

Она действительно не знает. Почему она вскочила, уронила книгу? Почему для ее чтения она выбрала укромный уголок в кладовой для белья? Почему резко выпрямилась с багрянцем на щеках, потревоженная, да, потревоженная, это правда, когда предавалась восхитительным мечтаниям? Почему? Именно тогда, припертая к стене, не в состоянии, не желая больше задавать себе никаких вопросов, она вдруг выкрикнула слова возмущения, какие редко срываются с ее губ:

— Вы не имеете права!

Не имеете права! А обладала ли когда-нибудь правами она, Клод де Маньер, ничем не примечательная девица, которой в течение десяти лет твердили, что она не выйдет замуж, а потом, когда она вышла за первого встречного бахвала, говорили, что ей остается лишь благодарить Бога? Выставленная напоказ как не представляющий ценности товар (на который отвлекаются только для вида, прежде чем войти внутрь магазина), десяток раз отвергнутая, взятая, наконец, покупателем, который не мог разжиться чем-нибудь получше и хочет, кроме того, чтобы превозносили его благородство, Клод должна была еще терпеть оскорбительные советы родителей, желавших ее убедить в преимуществах ее замужества.

— Ты по-прежнему распоряжаешься своим имуществом. У тебя всегда на руках этот козырь.

Козырь! То ли из-за чрезмерной тонкости чувств, то ли из-за чрезмерной гордыни Клод щедро все отдала, не требуя ничего взамен, и сегодня положение супругов было подорвано, о чем она не догадывалась. Де Ранфен был почти тронут щедростью жены. Однако, тупоголовый и необузданный по природе, хотя сам по себе и не злой, он решил отработать свой пай, прилежно удостаивая своим присутствием ложе супруги, пока та

ие дала поиять, что н здесь счнтает должнником скорее его, чем себя. Де Раифеи ие был способеи на призиательиость. Очеиь быстро ои стал видеть в ней лишь холодиую жеищииу, ущербиую мать, не смогшую подарнть ему сына, докучливую богомолку, наследницу, которая по смерти ковариых роднтелей не приуесла ему того, на что ои рассчитывал. Его одурачнлн и не скрывают этого. Права! Пусть бы она только посмела их потребовать — одиако, по правде говоря, Клод все это время претеидовала лишь на одио право, право быть совершеиной. Может, она этим злоупотребляла. Кроме того, она иевольио преподала силу своего совершеиства дочерн, которая впервые, ставя между собой и матерью невиднмый барьер кротости, берет ее руку н целует:

— Но в чем вы, мама, меия упрекаете?

В состояиии ли Клод ответнть? Разбирается ли она сама толком в причииах болезиеиной и ревиивой нежиости, которую вызывает у иее ее «едииственное сокровище»?

— Вы еще дерзите! Я пожалуюсь вашему отцу, я...

Она уже не сдержнвается, н хладиокровне девочки еще больше выводит ее из себя.

— О мама,— только и произносит Элизабет.

— Вы судите своего отца!

Элизабет улыбается.

Клод в отчаянии пожаловалась супругу, ведь надо же было ей кому-нибудь пожаловаться. Любовь к ией дочери уже не абсолютиа! Некоторые свои мысли Элизабет скрывает от матери! Но что же ей тогда остается? Растерявшейся Клод кажется почти естествеииым обратиться за помощью к мужу, в котором оиа разуверилась; он должеи зиать, что оиа «имеет право» требовать от дочерн все что угодио. И колосс, которого она впервые прнзвала иа помощь, почтн польщенный этим ее прнзнанием в собствеином бессилни, встает на стороиу жеиы и громовым голосом делает Элизабет виушеиие — удивительиый союз, который будоражнт всех в доме, заставляет

шушукаться служанок и дрожать от возмущения взбунтовавшегося ребенка. С этого дня она будет медленно, не показывая вида, отходить от матери, и лишь Клод безошибочным чутьем нелюбимого человека догадается об этом, другие же по-прежнему будут ей говорить: «Как вы счастливы, что у вас такая дочь»,— а она будет соглашаться и улыбаться в ответ. Как бы мало Клод ни потеряла, ей кажется, что она потеряла все. И эта новая несправедливость постепенно растравляет последнее чувствительное место в ее сердце.

Элизабет теперь совсем одинока. Одинока рядом со своим двойником, тем образом, который тщательно формировался матерью, лишившейся дочерней любви.

— Не слишком ли порой строга с вами ваша мать? — вырывается как-то у одной из монахинь.

— Нельзя быть слишком строгой к греху.

— О дорогое дитя, вы настоящая маленькая монашенка!

Все восхищаются Элизабет, временами, правда, это восхищение вызывает двойственное чувство: разве не очевидна бывает иногда неуместность своенравной суровости Клод? Но гнев и возмущение — чувства греховные, и ребенок старается их избегать; пусть ее хвалят, похвалы не заполняют томительной пустоты в сердце Элизабет. «Дикарка! Дикарка!» Она ею осталась — гордая в своей скорби, желающая всеми силами покончить со своей отчужденностью и стыдящаяся этого своего желания.

В то время как другие играют с юлой или в классики, Элизабет смирно сидит в монастырском саду с книгой в руках. Смех, резкие, чуть более громкие, чем обычно, крики ласточек кажутся «дикарке» насмешкой над нею. Громко смеясь и глядя на нее, проходят в обнимку две подружки. «Они говорят обо мне». «Третья! Третья!» — кричит издалека сестра Памфила, потому что прогуливаться меньше, чем втроем, запрещено. Надо избегать привязанности, не так ли?

— Хотите быть третьей, Элизабет? — насмешливо спрашивает одна из девочек.

— Вы прекрасно знаете, что нет.

И при этом она сгорает от желания присоединиться к какой-нибудь компании и чтобы ее не прогнали.

— Пойдем играть, Элизабет.

— Спасибо, но мне больше хочется поразмышлять.

«Элизабет,— говорят сестры,— очень погружена в себя». Может, ее место в затворническом монастыре? Иногда, уйдя в себя посреди толпы, малышка думает, что ей удаются смирение и самоотречение, и тогда в ее сердце нисходит сказочный покой. Особенно ей нравится созерцать святое семейство: кроткая, ясная присно-дева Мария, ее безоблачное материнство, почтенный старец святой Иосиф, скорее дедушка, чем отец голого беззащитного мальчонки, которого потом распнут. Покой, однако, длится недолго. От умиротворяющего видения сознание Элизабет невольно переносится к видению Голгофы. Гвозди, раны, злобствование толпы, удар копья... ей кажется, что копье пронзает ее бок. Значит, покой, радость обманывали ее, ведь все должно было кончиться злым надругательством распятия, отрицанием любви, ее крахом, которые приковывают, зачаровывают ее. Любовь — страдание, любовь — рана. «Достаточно ли я страдаю?» — спрашивает себя Элизабет. Больше всего она, безусловно, страдает от необходимости самоуничижения. Самоуничижения, которое становится невыносимым при некоторых искушениях. Самое большое искушение для Элизабет исходит от Анны.

Десятилетняя Анна из довольно бедной семьи. Это неловкое, худое, нескладное маленькое существо в залатанном халате; сестры обучают ее из милосердия, которым они так славятся. Но Анну это, по-видимому, не угнетает. Она небогата и свыклась с этим, некрасива и мирится со своей некрасивостью; она терпит грубое обхождение, выражает благодарность, которую от нее ждут,

учится, как может, и радуется чужой красоте и чужому уму, которыми обделеиа сама. Анна по-иастоящему смиреииа. Элизабет сделалась в какой-то степеии ее подругой — по доброте душевиой и дисциплинироваииости (есть ли кто непривлекательиее Аииы?) и почти из презреиия, ведь не могли же ее заподозрить в том, что она получает удовольствие от общения с этой уродливой девочкой с вечио изумлеиным взором, шаркающей походкой — девочкой, которой все гиушаются. Иногда Элизабет проводила вместе с Аииой все перемены, объясияя ей урок; сестры глядели иа иих издали с ласковым одобреиием. Никто ие кричал: «Третья!», так как оин былн увереиы, что Элизабет выполияет долг милосердия и третий тут помешает.

— Вы все поияли, Аниа?

— Да, все. Вы так хорошо объясияете. Как мие повезло, что у меия такая подруга. Впрочем,— говорила Аииа,— мие всегда везет.

— Неужели?

— Коиечио. Моиахиии взяли меия исключительио из милости, вы ведь зиаете, моя семья... и одиа дама нз Ремирмона, старая жеищииа, обещала наиять меня как чтицу, как только я закоичу учебу,— тогда я смогу помогать матери и моя жизиь будет обеспечеиа. Едииственно только, чтобы оиа ие нашла меия большой уродниой.

— Почему?

— Она сказала,— призиается Аииа с легким смешком,— что это дело решеииое при условии, что я иемного похорошею, и поэтому...

— Вы вовсе не уродливы,— смутившнсь, говорит Элизабет.

Но Аииа уродлива, у иее землистое лицо, словио вылииявшие глаза, спереди ие хватает зуба и одио плечо выше другого.

— Вот вы красивая, а я нет,— иежио говорит Аина.

Ее глаза лучатся счастьем, оттого что у иее такая

красивая, такая добрая подруга. Элизабет заливается румянцем.

— Не говорите так.

— Быть красивой — что же тут дурного? Богородица была красивой. Мне бы тоже хотелось быть такой красивой, как вы.

— Замолчите!

— Вы сердитесь?

Ее блеклые глаза наполняются слезами.

— Уйдите!

И Анна уходит. Небольшая детская ссора, каких случается немало. Однако для Элизабет это маленькая драма. Почувствовав, что ей приятны привязанность Анны, ее восхищение, Элизабет покраснела от стыда. Стыд вкупе с гордостью делают ее злой. Но бедная безответная Анна возвращается и будет упрямо возвращаться вновь, как побитая собака, которая не спускает вопрошающего взора с хозяина, не понимая, отчего тот гневается.

— Но что я такое сказала, Забет? Почему вы рассердились?

Элизабет готова разрыдаться, она не осознает причин своего волнения и ненавидит подругу (при всей своей простоватости Анна все же была ее подругой, и даже в столь юном возрасте Элизабет обладала, может, достаточным чутьем, чтобы догадаться о подспудном превосходстве своей простоватой товарки), дабы не возненавидеть себя.

И опять на переменах Элизабет сидит в одиночестве на старой стене, которая с одной стороны нависает над тропинкой, ведущей в Ремирмон, а с другой окаймляет расположенный на пригорке монастырский двор. Чтобы свалиться вниз, достаточно слегка перевеситься через стену. Элизабет лелеет мысль о такой смерти. Разбившись, умерла бы она в состоянии благодати? Но для этого надо было бы упасть случайно. Со сладостью представляет себе Элизабет горе матери, угрызения совести у отца.

Как и многие дети, Элизабет никогда не подозревала, что несчастна. Она никогда не узнает н о своей любви к Анне и уж, конечно, о своем к ней уважении. Когда, в сотый раз услышав кроткое тихое «почему?», она закричала (на исповеди она покается, но как бы отстраненно, чтобы не бередить раны, ведь любовь — это рана, кровь, крест): «Потому что ты мне надоела!», на широкоскулом уродливом лице Анны (таком уродливом, что дама, которая должна была «обеспечить будущее Анны», глядя на это лицо, в отчаянии скажет: «Нет, это решительно невозможно!») вместе с выражением смирения проступило нарождавшееся, подобно заре, чуть ли не жалостливое понимание. Анна удалилась в высшей степени деликатно и с улыбкой, как бы прося извинения за полученную рану. Все смешалось в сердце Элизабет. Она почувствовала, что сейчас закричит «Анна!» и, может, со слезами заключит подругу в объятья; и тогда Элизабет бросилась вниз, на тропинку. В монастыре это стало событием года. Когда Элизабет подняли (она была вся в ушибах, но ничего серьезного), она сказала:

— Меня толкнул дьявол.

Загадочная фраза. В широком смысле слова это, несомненно, было правдой, так как действующая в ней сила, которую Элизабет отвергает, ненавидит и которая чуть было ее не одолела, чужда десятилетней девочке. Они приходят извне, эти противоречивые силы, толкающие и удерживающие, это умиление, возмущение, все то, что приводит к первой духовной драме. Элизабет затруднилась бы ответить, какая из этих сил добрая. Стыдливая боязнь любви уже исказила ее естественные устремления, и самым чистосердечным образом она почувствовала бы себя виноватой, доведись ей полюбить Анну, этого незначительного человечка, на все отзывавшегося одинаково, подобно хрусталю. Виноватой из-за того, что полюбила, из-за того, что была готова полюбить. Элизабет безрассудно бросилась в пустоту, *будто ее толкнули.*

Она так и сказала и повторила потом: «Меня как будто толкнули». Десятилетний ребенок с длинными развевающимися волосами (мать их обрежет), в длинной юбке карабкается на стену и прыгает, несмотря на страх, греховность такого поступка и опасность оказаться в смешном положении, прыгает под действием неодолимой тяги, чувствуя своего рода инстинктивную необходимость сохранить себя, которая заставляет ее бежать от любви; Элизабет прыгает, *будто ее толкнули,* потому что на мгновение ее сердце в волнении забилось из-за грустной нежной улыбки. Дьявол. В первый раз она поминает дьявола, но разве это неестественно? Разве все свое детство в страхе не слышит она под стук дверей и звуки громкого мужского голоса постоянный шепот: «Он одержимый! Он сам дьявол!» И тот же шепот, когда она совершает малейший проступок или только хочет его совершить: «Ты уверена, что не слушаешь дьявола, что это не он подсказал тебе желание собою любоваться?»

Всякое внимание к самой себе внушает дьвол. Бесконечное дознание выискивает, преследует и чуть ли не порождает зло в ее душе. Иногда у Элизабет возникает ощущение, что она виновата уже в том, что существует, и не ставит ли ей Клод, по сути дела, в упрек якобы принадлежащую ей жизнь, которую она желает присвоить себе.

— Меня толкнул дьявол.

— Вы его увидели, дитя мое?

— Я его почувствовала.

После секундного замешательства наверху, на стене, когда, возможно, кто-то из сестер уже замечает ее и спешит удержать, от возмущения, отчаяния (прыгнуть — значит спастись от себя самой, спастись от матери, от ее удушающей любви) Элизабет прыгает вниз. Так ли беспочвенно думать, что в решающий момент взявший верх героизм навыворот маленькой неистовой девочки заимствует силу в невидимом, что он берет начало не в душе десятилетнего ребенка, а вовне, в сокровищнице

отчаяния, откуда самый слабый, обратясь за помощью, может черпать внутреннюю энергию. Если любовь никогда не утрачивается, и, даже лишившись любви, можно вновь ее призвать и черпать в ней свою силу, почему то же самое не может быть справедливо для отчаяния или гнева? И если десятилетняя Элизабет инстинктивно отыскала дорогу к этим тайным кладовым, вспомнила о ней, бросаясь с высоты трех-четырех метров, которые, сами собой представляя опасность весьма умеренную, в высшей степени олицетворяли собою смертельный грех, почему нельзя с полным на то правом сказать, что ее толкнул дьявол? Когда пораненная, оглушенная, у подножия стены (на жаре, в пыли, в окружении людей, восклицавших, будто они всегда говорили, что стена слишком опасна для детей и со стороны монастыря ее следовало бы обнести оградой) она начинает объяснять случившееся себе и другим, и ее поражает страх — ведь надо забыть этот краткий миг выбора, детского вызова,— ужас перед грехом, которого она не желала, сознательно не желала (это было бы просто невозможно) совершать, что еще она может сказать сквозь слезы — Элизабет, которая никогда не плачет,— к чему обратиться, дабы оправдать и вычеркнуть происшествие из памяти, кроме как к ссылке на толкнувшего ее дьявола, тем более что это вполне могло быть правдой?

У нее больше нет друзей. Анна, девочка «решительно невозможная», возвратилась в лоно семьи. Элизабет будет расти в одиночестве со стойким воспоминанием о стене, о дьяволе, со светлой мечтой о хижине отшельника, со страшными видениями о кресте. Душа ожесточилась, замкнулась, отрицая мгновение, служащее центром, стержнем и придающее даже епитимье, которую она на себя налагает, даже молитвам характер неповиновения. В эту воображаемую жизнь явственно входят юношеское самоуничижение и материнские причирки. Элизабет превратила Клод, как та своего мужа, в орудие покаяния.

в вещь, во власяницу, в плеть для самобичевания. Элизабет даже сумела, подобно матери, окружившей себя служанками — сиротами, кривыми, хромыми,— найти восторженных почитателей, составлявших хор плакальщиц и толковательниц. Это были сестры-монахини, люди очень целомудренные, но немного любопытные, как это бывает в маленьком провинциальном городке, когда дело касается такого без сомнения одаренного, исключительного существа, как Элизабет.

Таким образом, круг замкнулся, заключив в себе трех человек, каждый из которых был палачом для другого, причем женщины соперничали друг с другом в добровольном смирении, преуспевая в аскетизме со стиснутыми зубами. Когда Элизабет целовала руку, лишившую ее чересчур красивых волос, кто знает, не было ли это для Клод тягостнее, чем для Элизабет принесение своих волос в жертву (добровольную — Клод умела принудить дочь к добровольным поступкам)? Более нервная и не обладавшая такой внутренней силой, как дочь, она непроизвольно отдергивала руку, краснея, как от признания (уже несколько лет она не знала, что такое нежный дочерний поцелуй). Клод страдала, и ее гордость стенала еще громче, когда она замечала, что страдает точно так же, как ее супруг. Характер у Клод изменился, и ее кротость начала давать сбои. Раз или два она отнеслась к дочери несправедливо, страстно надеясь, что Элизабет взбунтуется и она получит возможность ее простить. Однако Элизабет не взбунтовалась, она наслаждалась своими страданиями, жаждала несправедливости, и мать в ее глазах оставалась лишь средством для самообуздания. Столкнувшись с такой неизбежностью, Клод превращалась в сварливую придирчивую мать, подобно тому как ее муж превратился в солдафона. И конечно же совсем как капитан, который уже носил в себе перед тем тягу к попойкам, грубости нравов, эпикурейству, составлявшую его натуру, Клод с ее непреклонной кротостью

отдалась стремленню к властн, которое главенствовало в ней над стремлением к совершенству. Таким образом, она скорее раскрывалась, чем менялась. Однако все становилось по-другому, когда внезапная утрата любвн, словно в жильной породе, замыкает человека, впредь обреченного на одиночество. Пока свобода любви обеспечивала бесконечное число возможностей, доставало одного взгляда, одной улыбки, теперь же ничего уже не убеждало. Ничто не поколеблет снлы человека, который вас отвергает. Клод поняла, какая беда на нее навалнлась, когда дочери стукнуло тринадцать лет.

Смутно, не признаваясь самой себе, она осознала также, какое несчастье она навлекла на живущего рядом с ней человека, который ругался, пил, громыхал, как комеднант; ее милостью ему ннчего не осталось, как жнть этой пустой шумной жизнью. Инстннкт, который она прежде всеми силами подавляла в себе, возрождался вновь, но давая уродливый плод (подобно незаконному ребенку у затянутой в корсет бедной служанки), и она начала в душе подлаживаться к мужу, позволяя себе еле заметный жест прнмнрения, такой, что он, да и она моглн сделать вид, будто не замечают его, вплоть до момента, когда по легкому сотрясению, возможно, даже непрнятному, как прикосновение холодной ногн на супружеском ложе, они оба увндят, что стали сообщннками в неправедном деле.

Сблнжение было равнодушным, каждый потворствовал пороку другого, не разделяя и не поннмая его,— двусмысленное потворство наощупь, которое должно было скрепиться кровью Элизабет, чтобы они на какое-то время могли продолжить свое бесцельное существование. Единственное, что сплотит их (и будет связывать их потом) в некий нечистый союз,— это принесенне Элизабет в жертву.

В трннадцать лет Элнзабет решает, что будет монахней. Гордый взыскательный характер, неутоленная неж-

ность, страх и стремление его преодолеть, воображение и, вероятно, призвание — все хорошее и все плохое в ней подталкивает Элизабет к этому шагу. Но было ли у нее призвание? Да знает ли кто-нибудь, что такое призвание и из каких нечистых элементов оно состоит, прежде чем таинственным образом превратится в единую золотую песчинку?

«Философский камень — Христос металлов»,— говорил Парацельс за век до нашей истории. И это превращение то тут, то там по-прежнему случается, приводя к неожиданным или привычным маленьким чудесам, несмотря на то что возникает ироническое отношение к алхимикам — этим поэтам,— когда блуждаешь в непроходимых зарослях их трудов, имеющих, однако, такие естественные и такие глубокие корни. То время было богатым на события и непростым. Все шло в дело: крылья голубя, желчь убитых в пятницу жаб, летучая ртуть, нашатырь, серный спирт,— но что выражала эта удивительная смесь поэзии, природы, химии и духовности, это причудливое сочетание разнородных элементов, напоминавшее плохо собранную головоломку, если не мощное стремление к единству, тягу, подобную дующему в паруса ветру, к наконец достигнутой высшей гармонии, преображению мира в мельчайшей из его частиц, когда метаморфоза песчинки имеет такой же смысл, чуть ли не такое же значение, как и это внезапное превращение разрозненных сил, соединяющихся в человеке в единое целое — в призвание.

Зачастую призвание в тринадцати-, четырнадцати-, пятнадцатилетнем возрасте вызывает улыбку, и конечно же эти хрупкие, словно созданные из серебряной паутины, постройки, схожие с узорами из инея, которые стирает солнечный луч, нередко всего лишь мираж, отпечаток мгновения, когда мысль *схватывается*, чтобы вскоре растаять под действием каких-либо желаний и нужд. Но если мгновение не оформляется окончательно, подобно

нзящиой архитектуре Пнранезн, а только облагоражива-ет в созиании то, что однажды, питаемое страдаинямн н радостямн, сможет обрести жнзнь н очертання,— раз-ве это прнчина, чтобы отрнцать глубокое значение такого *предчувствия?* Прнзваиие Элнзабет в какой-то степенн предполагает бегство, ио это бегство к свету. Давно уже псалмы сталн ей утешеинем, жнтия святых — мнром, в ко-тором жнло ее воображеиие, одинночество — грезой о сча-стье! «Настоящая маленькая монашенка!» — без конца твердилн Элизабет, и разве ие было у нее всех осно-ваннй думать, что ей ие станут чинить препоны? Одна-ко она думает об этом с тяжелым сердцем. Разве в глазах матери ие будет грехом, если Элнзабет начнет утверждать свою волю? Элизабет предвндит материнское сопротивлеиие. Предвидит она н хор монашек, поднаторев-шнх в том, что касается инстинктнвиых иачал душн, кото-рая воспитывается долгие годы в раскаленной добела атмосфере часовен, церковных закутков, келнй, в атмосфе-ре, способиой, казалось, вызвать ожог.

«Не слишком ли строга бывает порой ваша мать?»
«Нельзя быть слишком строгой к греху».

Искусные в «perinde ac cadaver» * монашкн одобряют ее слова. Но труп — ие жнвое тело, а повнновение — ие дар любвн. Святая Тереза приказывала одиой нз по-слушинц сажать в саду овощи кориями вверх, н послуш-ница повиновалась. Что может быть легче механнческого телесиого послушаиия, послушания трупа? По существу, речь шла всего лишь об упражнеини. Ни святая Тереза, ин послушиица ие иадеялись убедить себя в том, что именно так следует сажать салат. Не без некоторого лукавства моиахнни радуются, обнаружив в Элнзабет склоиность к духовиому едииоборству. Оин знают мадам

* Уподобление себя трупу (досл. «такой же, как труп» *(лат.)* — беспрекословиое повиновеиие вышестоящим, предписываемое И. Лойо-лой члеиам ордеиа иезуитов.

де Ранфен, и для них немалое удовольствие (жестокое и невинное — настоящее удовольствие для монахинь) наблюдать, как благочестивая женщина попадает в расставленную ей же ловушку, подобно Балю *, угодившему в учрежденную им самим камеру пыток. Все это, впрочем, должно послужить к вящей господней славе, так как Элизабет станет монахиней, а мадам де Ранфен освободится от чересчур однобокой привязанности к своему ребенку. Однако монахиням известно не все. Они слишком полагаются на твердость девочки, с колыбели расколотой надвое и не доверявшей самой себе. Последовавшие события поколеблят в Элизабет не веру, не дух, а тот остаток доверия к природе, изначальному животворному теплу, непосредственным воплощением которого является для человека мать. Клод де Маньер отреагировала однозначно, ничтоже сумняшеся,— казалось, она только и ждала этой минуты.

А может, она и вправду ее ждала? Сколько женщин проводят долгую томительную жизнь в ожидании мгновения, когда, пораженные в самое сердце страданием, они вдруг загорятся хотя бы один раз, чтобы умереть или достичь своего. Разница так невелика! Огонь есть огонь, горит ли мученица или колдунья. Душа, поглощенная любовью, исчезнувшая в Господе, тебе уже не принадлежит. Клод, пожелав погубить себя, с неистовством, с наслаждением от себя отреклась. Она унизила Элизабет и подняла ее на смех. Что мог знать о своем призвании ребенок, которому еще нет четырнадцати? У всех девочек ее возраста в голове одно из двух: либо замужество, либо монастырь. Это бурлит кровь, жизненные соки. Прежде столь преувеличенно стыдливая, мадам де Ранфен заговорила вдруг языком сводни. Она прибегнула к самому презренному способу подчинить себе человека —

* Балю (1421—1491) — французский прелат, министр Людовика XI, посадившего Балю в тюрьму после того, как тот его предал.

к лести: Элизабет слишком красивая, слишком одаренная, чтобы похоронить себя в монастыре. Она прекрасно выйдет замуж за молодого человека благородного происхождения или за очень богатого. Она будет купаться в роскоши, познает новые наслаждения (из этих слов ясно, что Клод стремилась скорее причинить боль, чем убедить, ведь она говорила о красоте и наслаждениях ребенку, воспитанному в убеждении, что глядеться в зеркало — уже грех). Клод не останавливалась перед тем, чтобы пустить в ход самые грязные сплетни. Монастыри, мол, не что иное, как притоны для публичных девок, распутниц и оголодавших крестьянок, довольных тем, что могут прокормить себя чтением «Отче наш».

«В Дрездене осушили болото за монастырем и обнаружили там целые кучи из костей новорожденных младенцев, в Бергхайме один монах обесчестил всех девушек, посвятивших себя Богу, в Лувье одержимые бесами монашки расхаживали голыми и умоляли присутствующих оказать им «определенные услуги».

Так мать систематически наносила урон сберегавшимся, тайным в глубине душ детским впечатлениям. А почему, собственно, Клод должна была щадить свою дочь? Ведь она и себя не щадила. Ее задумчивая юность, схожая с высушенной розой, маленькие скупые горести, уложенные в строгом порядке, подобно белью в шкафу, долгое холодное смирение, кисло-сладкое удовлетворение человека, выполняющего свой долг,— все было брошено в пылающий костер. Почет, завоеванный Клод в своей лишенной любви жизни, был предан огню, как солома, и от него не осталось даже пепла. Клод сетовала на бесстыдство монахинь, развратность и корыстолюбие духовенства, бесплодность веры, маленькие гнойники верующей души, сетовала вдохновенно, словно умелая плакальщица. Говорила она нараспев, с большим подъемом. Эта сорокатрехлетняя женщина в те несколько месяцев была временами по-настоящему красива.

Элизабет присутствовала иа этом блистательном спектакле, где зло проявляло себя во всем велнколепии, и не могла не быть им очарована. Однажды вечером, ища молитвенник, она вместо иего наткнулась на светскую книгу и на миг с недоумением на нее воззрилась. Клод в исступлении преследовала Бога, как прежде преследовала дьявола, стремилась со всех сторон обложить душу ребенка и любой ценой ею завладеть. Она лишила дочь вечерней мессы, проповедей, исповеди, как когда-то лишала лакомств и развлечений. Она обязала ее надевать новые платья, делать визиты, выискивая малейшую возможность привить Элизабет чувственность, гордыню, расточительность со сноровкой, бог весть когда приобретенной за эти пятнадцать лет безмолвия и уединения: словно под приподнятым тяжелым камнем обнаружился клубок змей. Элизабет, однако, как иикто, обладала твердостью духа. Ее сердце было почти разбито, невинность посрамлена, искушения не давали ей покоя, но веры и силы воли она не лишилась. По лучшему в ней прошла трещина, и этого монахини ие предусмотрелн.

Основиое Элизабет удалось сохранить с помощью надежнейшего из оружий — послушания. Если ее принуждали надеть новое платье или сделать прическу, она соглашалась на это, как иа власяницу. Самым пустым разговорам она предавалась, как прежде умерщвлению плоти. Монахини знали об этом — пересуды в маленьком городке всегда сотканы из недомолвок и таинственных намеков, но их очень быстро можно научиться разгадывать — и следили за перипетиями схватки, исход которой считали неминуемым, не подозревая, что одна половина души Элизабет борется с другой. Монахини, и в частностн опытная настоятельница монастыря, которая оценивала человека в одно мгновение, словно определяла на вес дыню, сумели распознать твердость Элнзабет, ее силу воли в столь раннем возрасте, ее ум. Хотя постепеиное разорение де Ранфенов давало моиахиням мало надежд

на матернальную выгоду, онн горячо желалн привлечь, удержать у себя эту прекрасную, юную н странную девушку, как они желали бы украсить свой алтарь самым краснвым букетом, самым тончайшнм кружевом. Они расхвалнвалн (онн тоже) высокую, стройную фнгуру, нежную кожу, глаза цвета морской волны, мелоднчный голос Элнзабет, чтобы лучше освятнть ее для жертвы, словно дароносицу, усыпанную рубинамн. Если бы существо столь пленнтельное последовало своему монашескому призванию, это повыснло бы нх престнж.

Есть у затворниц такая слабость — желание обзавестись краснвой птнчкой в клетке. Одна надеялась получнть радость от бесхнтростной н мудрой беседы, другая мечтала аккомпанировать Элизабет на фисгармонин, когда та будет петь псалмы, третья надеялась на мучнтельное наслажденне, с какнм она обрежет этн пышные волосы (что уже раз сделала мадам де Ранфен). Лучшне рассчнтывалн на соперничество, которое не могло не возникнуть прн появленни столь молодой н столь далеко продвинувшейся на путн к покаянию послушницы. Настоятельнница мечтала — это мечта всех настоящнх настоятельннц — выпестовать свою святую н кончить свою жнзнь у ее ног, с радостью наблюдая за результатом своих трудов.

Все этн стойкне, усатые женщнны, ласковые и ворчливые, которые восходят на небеса твердым шагом, сгнбаясь под тяжестью свонх заслуг, с готовностью трудясь до седьмого пота, но не зная взлетов, мечтают увндеть когда-ннбудь, как поднимается в воздух святая, вся гладкая, хрупкая, с белымн ступнямн, к которым не прнкасалнсь тернни. Порывнстое двнженне, вздох — н вот уже святая уносится на вершину горы, к которой другие торят свой путь шаг за шагом, обрушивая камнн и глядя на чудесное, незаслуженное восхожденне. Иногда настоятельнница думает, что самых велнкнх святых, во всяком случае тех, кого она предпочнтает другнм, создает отсутствне заслуг, когда человек не заботнтся об нх прнобре-

тении. Ребенок играет в мяч с Иисусом, падает и умирает в Господе. Прекрасная девушка, которая никогда не узнает, что она прекрасна. Старуха, воспитавшая двенадцать детей в совершенном смирении и кротости, которая, потеряв их, поет хвалу Господу и считает себя погибшей из-за того, что засыпает, перебирая четки. Суровый хмурый человек, который ни с кем не разговаривает, делает не задумываясь свое дело и вдруг еле заметно улыбается, читая «Ave Maria». Настоящая благодать без всяких потуг аскетизма, через который надо пройти монашествующим; никто лучше нашей настоятельницы не направляет свой отряд по строго определенной полосе препятствий (мессы, размышления над божественными таинствами, умерщвление плоти; и все это самым безукоризненным образом), но с каким почтением она умолкает и останавливается, чтобы преклонить колена перед затерянным в траве бледным полевым цветком благодати. Ей показалось, что она различила действие этой благодати в рассеянном взоре Элизабет, погруженной в грезы о монашеском затворничестве.

Однако грезы о нем носят двойственный характер и порождают подспудное чувство вины, которое, налагая свой отпечаток, придает им живые краски: зеленый цвет — траве, ярко-красный — плодам, теплый коричневый цвет — пещере, ее убежищу. Хочет ли Элизабет быть там наедине с Богом и проводить дни в одиночестве, но обращенном вовне, открытом и в высшей степени свободном, или же она хочет просто уединиться, замкнуться в себе, в своем маленьком и тяжелом, как булыжник, «я», которое сжимают в руке, иногда до самой смерти? Элизабет различает в себе эту двойственность побуждений, и она ее тревожит. Элизабет недостаточно простодушная, недостаточно святая, чтобы вместе с грехами доверительно восходить к Богу. Ей придется отправиться более длинным путем. Настоятельница пока не уяснила себе этого. Извечная двойственность, раскол

приведут Элизабет на грань безумия, но трещину ее сознание дало уже в давние дни детства, когда из-за боязни греха она мыла себе ноги с закрытыми глазами. Причина раскола, утраты единства — дьявол.

«Она ли это? Или она одержима бесами?» — глядя на мать, спрашивает себя Элизабет. Клод бушует, кричит, стонет, бранится, а когда выбивается из сил и выдумка ее истощается, плачет: «Ты меня больше не любишь!» Элизабет чувствует себя виноватой. Она знает, что не все отдала матери, обезумевшей от своей никчемной жизни. Неужели надо было пожертвовать и тем укромным уголком души, который оставляют себе, чтобы хоть на мгновение *(мысль о монастыре)* вздохнуть полной грудью? Не об этом ли убежище, не об этом ли единственном грехе — отсутствии любви,— который сводит на нет все наши жертвы, говорит апостол Павел? «И если я говорю языками ангельскими, а любви не имею, то я лишь кимвал звучащий — и если я даже отдам тело мое на сожжение...» На сожжение! Но она и так каждый день сгорает в своем грехе, который пожирает ее как пламя; ее научили страшиться его лишь затем, чтобы потом она окунулась в него живьем. Мать, вся красная от гнева, язвительно шепчет сплетни, причем самое плохое то, что они иногда оказываются правдой... С детства Элизабет внушили, что кругом зло, но зло смутное, неопределенное, не имеющее образа. Теперь же зло обретает плоть и краски. Материнское лицо с каждым днем все больше искажается, морщится, раздувается. «В моих ли силах остановить метаморфозу?» Элизабет держит себя все более кротко, все более покорно, но только если дело не касается главного: ее призвания. «Если даже отдам тело мое на сожжение...» Клод постепенно все глубже и глубже погружается в свое безумие.

Союз Клод с мужем укрепляется. С супружеского ложа теперь доносится ночной шепот, оно становится ареной медленного сближения, коварных уступок.

«Вы знаете мою жизнь, мое благочестие, поэтому я призываю вас в судьи».

Она призывает его в судьи. Великан торжествует, его опьяняет мысль, что жена в нем нуждается.

— Я ошибся, я недооценивал твой здравый смысл, ты тысячу раз права, ее просто нужно выдать замуж. Тем более что это единственный способ поправить наши дела, которые я, возможно, слегка запустил.

Запустил! Лучше бы он их действительно запустил, но земли были заложены, дома проданы, деревья в разоренной роще вырублены, и все это было данью излишествам и нелепой показухе, которой умеют потворствовать нахлебники, способом заполнить пустые провинциальные вечера, сомнительным образом компенсировать неудачную военную карьеру, да и неудачный брак.

— Да, в делах нам не повезло,— она сказала «нам».

— Я хотел, чтобы мы жили соответственно нашему положению, не опускались.

— Это как раз позволит нашей дочери рассчитывать на выгодную партию.

Она его прощает, оправдывает, и это Клод, которая была для него живым упреком! Неужели он до такой степени ошибался на ее счет? Де Ранфен представляет себе, как Клод втихомолку плачет из-за того, что ею пренебрегают.

— Беда, знаешь ли, в том, что ты слишком гордая,— неловко говорит он.— Ты ни на что не жалуешься...

— А на что мне жаловаться?

Он понимает ее слова так: на что мне жаловаться, раз я ношу ваше имя, раз я ваша жена? Он чувствует ее великодушие, но не чувствует презрения. Толстоватая у него кожа, у капитана де Ранфена, и он забавы ради сделал ее себе еще толще. Армия, которую он по безрассудству бросил, была все же его призванием и его семьей. Капитан — один из тех толстяков с горячей кровью, которых считают и которые сами себя считают грубыми

материалистамн, в глубине души, однако, они мечтают сойтись в схватке с абсолютом и переломать ему хребет. За неимеиием такой возможиостн они зачастую довольствуются жалкимн подделками — алкоголем, женщииами, обжорством. Они недовольиы собой н другнми, ио не осозиают этого; одиажды вечером оии отдают Богу свою отяжелевшую душу с глубоким вздохом разочароваииого ребенка, который прииимают за последиюю икоту из-за иесварения желудка.

— Оиа презирает нас.

Клод произнесла едииствеииое слово, способиое пробить защитный панцирь Лненарда де Ранфена,— оно было как булавочный укол, после которого через грубую кожу проступит кровь. Тот, кто презирает самого себя, болезненно переиоснт презрение другого.

— Эта девочка?

— Оиа презнрает иас. Ей скоро стукиет четырнадцать. Оиа держит себя со миой вызывающе, хочет всем показать, что мы для иее иичто. Надо с этим покоичнть. Отцовское влнянне...

Когда он нмел влняине в доме? Тираиом его, положим, считали, ио тираиом совершеиио иедействеиным, которого терпят, как стнхийиое бедствие, обременительное, но лишениое смысла, ннднвндуальности. Для того чтобы обуздать Элизабет, отомстнть ей, Клод подставляет мужа, обращается к нему за помощью.

— Можешь мие довериться. Так ие должио дальше продолжаться! Я не хотел вмешиваться, ио раз ты меия просишь!

Супружеская чета. Впервые, может, они заодио. Клод показала ему свою раиу, прнияла в свой мир. Мыслеиио оиа сказала ему: «отомсти», предоставив ему таким образом роль самца. Ему остается лишь прннять ее, а ей пассивио претерпеть это без слншком большого неудовольствия. Разве в ритуале, имеиуемом любовью, в той или ниой степенн не содержатся взанмные обязательства?

А ведь такие обязательства могут быть внушены сатаной.

Со следующего дня их союз явственно для всех еще более укрепляется, хотя внешне ничего не изменилось. Он по-прежнему гневно возмущается, она молчит. Однако все теперь по-другому. Даже лицо у Клод другое: слегка припухшие губы, порозовевшие щеки, опущенные глаза. Лицо женщины вместо тонких черт старой девы. Элизабет живо ощущает это последнее преображение, видит, как украдкой, словно сообщники, переглядываются объединившиеся против нее мужчина и женщина. В отчаянии она восклицает: «Разве я виновата? Бог хочет, чтобы я целиком принадлежала ему. Доказательство — непреклонность моего сердца, глухота к вашим крикам. Благодарю тебя, Господи, за то, что ты одарил меня этим равнодушием». Но дар ли равнодушие? И доказательство ли отсутствие любви? Зарождается сомнение. Гордыня — излюбленное оружие сатаны... Не гордыня ли это — считать себя избранницей?

Элизабет молится. Святые, как и она, подвергались гонениям, но претерпевать их не означает ли попытку уподобить себя святым, не является ли предосудительной самонадеянностью? Воспитанная на постоянных подозрениях, она не доверяет самым чистым своим порывам, даже своей молитве. Спасаясь от материнских слез в своей комнате, на коленях она примется корить себя за то, что молитвой борется с этими слезами. Пусть материнская любовь неправедная, неистовая, но это все же любовь. Элизабет же в себе любви не чувствует. И что тогда выходит?

«Самой блестящей партией» оказывается пятидесятишестилетний вдовец Дюбуа, больной, но с репутацией человека зажиточного. Элизабет приходит в негодование, возмущается. Отец с матерью объединяются против дочери, причем отец ее бьет. Она стоит и считает удары. «Подстрекаю ли я их чем-нибудь и есть ли тут моя

вина?» Пытка, превосходящая силы пятнадцатилетней девочки, лишенной какой-либо поддержки, находящей радость только в молитве. Однако иногда она запрещает себе даже молиться. С губ Элизабет срывается жалобный крик:

— Мама, что я вам сделала?

— Вы еще спрашиваете, да вы приводите меня в отчаяние, во всем мне отказываете. И думаете только о том, чтобы меня бросить.

— Если я выйду замуж, я тоже вас брошу.

— Дюбуа стар и болен. Ты овдовеешь, станешь богатой и вернешься ко мне.

— Никогда! — не сдерживаясь, выкрикивает Элизабет.

Клод дает волю своему гневу. О, она прекрасно понимала, что Элизабет стремилась только к одному: оставить ее. Она морит Элизабет голодом, одевает в лохмотья и в таком виде таскает по городу на изумление всей округе. «Моя дочь сошла с ума!» Служанок, которые выражают возмущение или просто удивление, выгоняют вон. Чужое удивление или возмущение мало значат для Клод и даже приносят ей своего рода горькое удовлетворение, ощущение свободы, которое она никогда прежде не испытывала. В маленьком кружке верных ей людей шушукаются, колеблются. У нее самой такой вид, будто она хочет сказать: «У меня есть право распоряжаться жизнью дочери, и я им пользуюсь, а почему бы и нет?» Она бросает вызов тому образу, который из нее создали, разрывает цепи, которые сама на себя наложила, она даже Богу бросает вызов в опьянении от внезапно осознанной легкости. Страсть гонит ее все дальше. Она безбоязненно встречает чужие взгляды, ухмылки: хотя некоторые осуждают сопротивление Элизабет, другие — и их несравненно больше — порицают жестокость матери, ее оскорбительные выходки, они вспоминают известные случаи, когда прославленные святые

приходили в монастырь вопреки воле родных; наиболее сострадательные думают, что Клод сошла с ума, так, впрочем, считают и злые языки, которые присовокупляют: «И дочка вся в мать». При этом никто не клеймит позором отца. Да, он бьет дочь, запирает ее, ну так он же в своем репертуаре. Раз и навсегда все согласились, что он дурной супруг, мот, пьяница, тиран. Он почти разочаровал бы всех, отказавшись от этой роли. Никто, однако, не жалел Элизабет. Взбунтовавшаяся дочь получает по заслугам; полубезумная же, она никого не интересует, а как будущая святая, только выигрывает от этих гонений. К сожалению, и в этом случае жители Ремирмона — как монахини и богомолки, так и мещане, светские люди, торговцы — предпочитают мыслить по трафарету. Элизабет не безумная, просто она слегка заплутала в лабиринте, где ее заперли; бунт ее бессознательный, она задыхается от пятнадцатилетнего притеснения; она не святая, но ее влечет искреннее стремление, трогательная тяга к божественной любви.

Ее не жалеют, но и она не жалеет себя. Самый же чистый порыв души, тот, что приведет к отречению, она чувствует вечером того дня, когда Клод, наполовину обезумевшая от ярости и боли, потащила ее по улицам Ремирмона в старом разодранном платье и со следами отцовского рукоприкладства на лице.

— Мама, умоляю вас, не делайте этого! Ради себя самой не делайте. Что о вас люди подумают?

— А мне плевать,— сквозь зубы шипела Клод, таща ее за собой, как осла. Занавески на окнах раздвигались, добрые люди останавливались, восклицали:

— Да что случилось? Что с ней?

— Полюбуйтесь,— кричала разбушевавшаяся Клод.— Полюбуйтесь, как она одевается, чтобы выставить на позор родителей. Она хочет нас бросить, сбежать в монастырь, она сумасшедшая, скверная, неблагодарная!

Люди сбегалнсь, расспрашивалн, сожалелн. Элнзабет больше ие возражала. Оиа закрывала лицо свободиой рукой и молнлась.

И потом вечером оиа ие плачет, но в порыве смиреиня вглядывается в себя, исследует то, что пока зовет своим призваиием, и призиает, что ее желание ие совсем свободио от мятежиых страстей и эгонзма. Она действительио хочет покиiнуть этот дом, эту чудовнщиую супружескую чету. Клод, приучая ее с детства пользоваться кротостью, послушаиием, добродетелью, как своим осиовиым оружием, иавсегда их замарала. Благодаря иесвойствеииой ее возрасту интуиции, которую изощрили иесчастье и одиночество, Элизабет догадывается, что к ее решеиию примешиваются иечистые помыслы; в результате водиый поток возрастает, увеличивает свой напор, ио и загрязияется,— оиа желает, чтобы ей восхищалнсь, одобряли ее поступки, желает утвердить свою волю, утвердить себя, свой образ жизии. А тут еще страх, стремлеиие иайтн пристаиище, утешеиие. Чувство любви у Элизабет так искажено, такой отпечаток наложило иа иего созиаиие своей виiы, что оиа с ужасом думает: «*Доставит ли мне радость* сама любовь к Богу?» И это сомиеиие перетягивает чашу весов.

— Отец, я сделаю, как вы велите.

Оиа все же ие смогла сломить себя перед матерью. Великаи в замешательстве. Сопротивлеиие дочери, служившее ему предлогом, преодолеио. Должеи ли он теперь смягчиться или рассердиться еще больше? Ои растеряи, боится потерять эфемерную власть, лишиться сообщиичества последиих диеи, которое, лучше чем годы бессильиой ярости, покорило и завоевало ему жеиу.

— Хорошо, иди.

Элизабет удаляется. В глубоком отчаянии оиа обрела покой. Когда не остается больше иичего, остается послушаиие. Возможио, оиа заблуждается, но заблуждается искренне. Этот деиь, когда пятиадцатилетияя девочка

жертвует всем: своей рано созревшей гордостью, целомудрием, даже сопротивляющимся рассудком,— наверно, самый чистый в ее жизни, стержень, вокруг которого будет кристаллизоваться ее разум, стержень, который поможет ей противостоять самым суровым жизненным бурям. Даже усомнившись во всем, она не усомнится в этом дне, когда она целиком предала себя в руки Господа. Ведь это ему она сказала: «Я сделаю, как вы велите».

Итак, супружеская чета одержала победу. Может ли теперь она отступить? Через несколько недель Элизабет будет выдана замуж за немощного вдовца, о котором они, по сути дела, ничего не знают. Весьма сомнительный успех! Потому что умиротворенная в своей жертвенности Элизабет — для родителей отрезанный ломоть. Элизабет покидает их — бледная, красивая, умиротворенная под своим белым покрывалом. Элизабет, несчастная, обобранная (она не может не только распоряжаться своей жизнью, но и добровольно ее отдать), *но* умиротворенная, *но* молящаяся (только в этот день, но иногда достаточно одного дня, и этого дня действительно будет довольно для спасения жизни) за то, чтобы оказаться в состоянии выполнять свои новые обязанности, *но* отрешившаяся от всего (этот день — зародыш, мельчайшее зерно, посаженное в землю), вырвалась из их ада.

Мсье и мадам де Ранфен придется очень поддерживать друг друга. Общественное мнение, утоленное жертвой девушки, растроганное ее красотой, молчанием, покорностью, оборачивается против них: «Она так молода, так красива!» Элизабет уже хоронят, а мертвые всегда правы. «А мамаша еще строила из себя святую...» Клод не простят то, что она сделала напрасными долгие годы бесплодного сочувствия. «Бедняжка мадам де Ранфен» стало припевом, без которого впредь придется обходиться. Назидательная история про ангела во плоти, подвластного грубому животному, перечеркивается от начала до конца и заменяется на другую, не менее классическую —

о жестокосердных родителях, которые жертвуют своим ребенком из-за тяги к наживе и богатству. Скромное состояние Дюбуа вырастает до сказочных размеров. Былое совершенство Клод вменяется ей теперь в вину: подумать только, ведь ее считали благочестивой! Все ее уступки диктовались чудовищной любовью к мужу, и, чтобы покрыть его траты, возместить его расточительство, она выдает сегодня дочь замуж за старика. Служанки шепчутся, зубоскалят, разглядывают простыни. Власти в доме уже не чувствуется, и никто не думает попридержать язык. Холодное, пропахшее воском жилище за последние месяцы пропиталось сыростью теплицы, и тропические растения вырастают здесь за одну ночь на страшную высоту. Как могла бы теперь Клод сохранить свой отряд блеклых старых дев и безропотных калек? Даже сирота, без которой трудно было бы представить себе этот дом, смотрит на Клод в упор, а хромая кухарка через несколько недель после женитьбы Элизабет заявила хозяйке с полуулыбкой заговорщицы:

— О меню на ужин я спрошу у мсье.

Так очевидно, так явно обнаруживается, словно прорвавший корсет живот юной беременной женщины (потом она уже ничего не скрывает, да это и слишком сложно, и позор выставляется на всеобщее обозрение, неминуемо принося с собой облегчение), ее сговор с мужем. Предательство открывается внезапно, и ни утешения, ни холодность людей ничего не изменят. Если ей случается поддерживать возвратившегося после попойки, едва стоящего на ногах мужа (от людей, однако, не укрывается, что в харчевне, в таверне он теперь меньше буянит, меньше хмелеет от вина и любители выпить за чужой счет держатся от него подальше), если она не отвечает на его крики, стягивает с него сапоги — это встречает уже не восхищение, а насмешки: должна же она хоть чем-то заплатить. К капитану же в злачных местах относятся со сдержанным восхищением: ведь этого ловкого малого

считали бахвалом, фанфароном, надутым бурдюком. Предание Элизабет в жертву (а ведь мать ее так любила!), состояиие Дюбуа, которое все преувеличивают, придают капитаиу определеиный вес и заставляют отступить от иего со смесью восхищеиия и отвращения. Если ои смог принудить жеиу к такой жертве, довести ее до состояния рабской страсти (так как в свете иовых событий все выглядит по-другому), значит, у иего есть какое-то оружие, о котором никто не подозревал. Злодеем ои пользуется бóльшим уважением. Но де Ранфен и больше одинок, потому-то он и сближается с женой. «От иас уходят служанки!» Одиу из них, сироту, Клод отослала, а другую, после того как дала ей пощечииу (Клод уже ие владеет своими нервами), рассчитала. Пойти в монастырь и попросить других (имеино так оиа ими обзаводилась), оиа ие смеет.

«На меня глазеют на улицах. Монашки, я уверена, рассказывают про меия разиые ужасы, потому что оии надеялись заполучить Элизабет».

— Не убивайтесь. Я сам найду вам служанок.

Ои их иаходит, и они подчиияются ему. Бог его знает, откуда взялись эти девицы! Клод едва решается сделать им замечаиие. Если оиа хочет чего-нибудь от них добиться, ей надо обратиться к мужу, который, пыжась от гордости, восстанавливает в доме порядок. Она никогда его так не ненавидела — и он это знает,— но ненависть свела на нет ее презрение к мужу. Клод потеряла власть, но она сама дала к этому повод. Такое положеиие дел ее почти устраивает. Под осуждающие толки горожаи супруги сближаются, как никогда прежде. Порою им стаиовится жаль друг друга.

Так кончается детство Элизабет. Если только это действительно было детством, а не наваждением, ночным кошмаром, от которого поутру остается лишь несколько страшных причудливых обрывков, сведенное судорогой лицо, слово, употребленное навыворот, жест, возбуждаю-

щий смех, две-три роскошных никчемных картинки, проблески красоты, которые тщетно появляются то тут, то там. Имело ли детство Элизабет хоть какой-нибудь смысл? Или он выражался только в отношении к отвратительной супружеской чете, которая сплотилась за ее счет? Так или иначе детство осталось позади, как и большой мрачный золотистого цвета дом, где оно протекло. Покинув его, Элизабет вычеркнула этот дом из памяти. Никогда больше она сюда не вернется! Позади нее пропасть, впереди — обширные пространства наконец предоставленного ей, ненужного времени. Огромная равнина, которую надо пересечь. Пространство успокаивает. Порою она даже говорит себе радостно: «Мне остается только умереть». Такая мысль — ловушка. Но что нам остается после того, как мы простились с детством, кроме как и вправду умереть?

Конечно, есть тело, которое приходится предавать блуду. Но так ли это тяжело? Когда привык ненавидеть свое тело, привык подчинять его правилам сурового аскетизма, это легче легкого. «Ему и не так доставалось». Телу не предписывают получать наслаждение, радость, даже притворяться. Ему предписаны только покорность, боль, отвращение. «Ему и не так доставалось». Испытания супружеской жизни, о которых вам готовы прожужжать все уши, показались Элизабет совсем простенькими. Она выдерживает их, даже не задумываясь, и все принимает с серьезным кротким видом: тошноту, боли, тяжесть нежеланного плода. Главное не в этом. И не в том, что дважды дети, как бы насильно помещенные в нее, умирают в колыбели. Она хоронит их со спокойным и, как обычно, кротким видом. Это, впрочем, неважно. Третья девочка, Мари-Поль, выживает. Элизабет сидит рядом с колыбелью и напевает, укачивая самое себя. Ей доведется потерять еще одного ребенка, но две следующие девочки вырастут. Одна колыбель, другая... Ее глаза с грустью останавливаются на маленьких

сморщениых личиках; должио быть, она втайие завидует тем, кто скоро засиет навсегда.

Долгий и прямой жизненный путь, по которому она шествует без усилий. В своем простодушии она воображает, что это и есть благодать. Что-то вроде долгой белой смерти. Притупление чувств. Непрекращающееся хождение по воде. Стоит только натренироваться приносить себя в жертву, и тело пойдет само. Со служанками Элизабет добра, но фамильяриости ие допускает. Люди говорят, она слишком много занимается своими девочками. Когда иужно, оиа принимает гостей, беседует с ними, кажется любезной, даже жизнерадостной. А почему бы и нет? Возникнет надобность и оиа окуиется в денежные дела старого больиого мужа, который далеко не так процветал, как иадеялись де Раифеиы. Она блестяще с ними справляется. Это тоже вопрос самодисциплины. Где же тогда ее душа?

Ночью оиа идет в молельию, которую устроила для себя в небольшой комиатке в ротонде,— одной из башенок старого дома, помпезио иаречениого усадьбой. Там она молится, молитвы следуют одна за другой, монотонно, без перерыва. Иногда из спальии, расположенной совсем рядом, доносится жалобный голос старика:

— Вы здесь, Элизабет?

— Здесь, мой друг.

— А, хорошо.

И он сиова засыпает. Старый Дюбуа иетребователен и жеиу не тиранит. Не злой, только глупый и скупой. Элизабет им довольиа: он ие мешает ей молиться, не мешает жить, лишь хочет, чтобы за ним ухаживали, чтобы кто-то был рядом, а это ей иичего ие стоит. Старик горд тем, что такая молодая, красивая, целомудренная женщииа сидит за его столом, спит в его кровати, рожает ему детей: ей иетрудно доставлять ему подобное утешеиие. Дом большой, но удобный и не унылый. Сад, текущий ручей, деревья, крики малышки

Мари-Поль — светлые пятна в ее печальной и спокойной жизни. Время между тем идет. Оно скользит, словно река к морю, особенно когда его не останавливают. Прислонившись лбом к окну молельни, Элизабет молится все ночи подряд, и ее молитва тоже течет словно река. Порой это уже не молитва, а что-то вроде до крайности безмятежной литании («Все кончено... все кончено...»), которую она шепчет, черпая в ней неизвестную ей до сих пор свободу. Кругом темень. Если дело происходит летом, она видит сад и в нем, возможно, несколько светлячков, песчаные дорожки вырисовываются в лунном свете, искрится река; если на дворе зима, то везде снег, заглушающий звуки, зябнущие птицы, безмолвие,— полная уверенность, что никто никогда не нарушит этот пейзаж и ничто уже не случится.

За эти часы она полюбила ночь. Ребенок спит, спит больной муж, спят служанки, но ее сердце, думает Элизабет, свободно от ребенка, от больного мужа, от служанок, ото всего в мире. Отсюда эта привлекательность огромной пустынной ночи, глубокой ночной тишины, глубокого безмолвия сердца. Иногда она в одиночестве прогуливается по дому, не зажигая свечи, когда ночь светла и проникает в окна,— ставни закрывать она не разрешает. Элизабет спускается, поднимается по лестницам, бесшумно отворяет двери, пересекает коридоры, наблюдает за жизнью вещей в то время, как ее собственная жизнь остановилась. В углу светятся часы, висит еле видимый портрет какого-то умершего предка. Она повторяет «умерший... умерший...», и для нее это слово не содержит такого печального смысла, как для других,— оно таит в себе очарование, тайну, прелесть.

— Вы здесь, Элизабет?

— Здесь, мой друг.

Мужу Элизабет говорит, что у нее бессонница.

Разумеется, тут скрываются ловушки. Они совсем рядом, Элизабет чувствует это и без труда их избегает,

словно сомнамбула. Ночь никогда не бывает слишком прекрасной, таким бывает день. Элизабет поддерживала в доме необременительную строгость, нежную печальную атмосферу, которая имела свою прелесть. Сюда не приходили женщины слишком молодые или шумные — только духовные лица, ученые, семейный врач, жена священника, две-три вдовы; такое общество Дюбуа находил иногда немного суровым. Гости отчаянно спорили о книге Франциска Сальского, которую Элизабет перечитала несколько раз. Шарль Пуаро, врач, окрестил ее «мадемуазель Филотеей». В Нанси ее считали женщиной несравненной учености; неприязни к ней никто не питал, что было настоящим чудом. Сквозь защищавшую ее грезу она чувствовала, что ею восхищаются, ее любят, с ней ищут сближения. Она старалась избегать того, что в монастыре называли «личной привязанностью». Одевалась Элизабет строго, и это ей шло. Как-то раз ей сделали комплимент, сказали, что у нее тонкие прекрасные руки. И тогда она опустила свои красивые руки в известь. Врач Пуаро не без любопытства отметил это про себя, недоумевая, то ли Элизабет страдает излишней щепетильностью, то ли она поступает слегка нарочито (в то время любили щеголять своим благочестием).

Дюбуа, немного оправившийся от своих болезней, питал политические амбиции. Элизабет сносила эту его причуду или то, что она таковой полагала: они приняли у себя членов местного суда, советника герцога и гравера Апье. В монастыре ее убедили, что это ловушка, мирское, и она в благоразумии своем остерегалась визита. Она немного злоупотребила суровостью, отказав граверу, пожелавшему сделать ее портрет, и заставив отказать от дома советнику герцога, наговорившему ей любезностей. Но разве возбуждение из-за этих приемов не грозило нарушить приобретенный столь дорогой ценой покой? Несколько раз она дала волю раздражению.

Особенно ее утомлял ребенок. Она называла это утомлением. Ей без конца говорили: «Солнечный лучик ваша Мари-Поль. Настоящая птичка». Но и солнечный луч и пение птицы могут утомлять. Однажды, заслышав смех дочери, она в сердцах сказала:

— Ты так и будешь всегда смеяться, Мари-Поль?

— А почему бы и нет? Разве вы никогда не смеетесь?

— Вспомни, что сказал Господь Анджеле да Фолиньо: «Я полюбил тебя не за веселье».

— А за что тогда?

Ребенку все было смешно, что же тут плохого? Девочка любила цветы, удивлялась пустякам, всем любовалась, охотно пела.

— Поглядите, мама, какое солнце! Поглядите, кто-то пришел! Поглядите, какая забавная у меня сестренка!

Пронзительные крики радости, одобрения. Все это утомительно, даже мучительно. От криков лопались барабанные перепонки, крики проникали в мозг, пробуждали давнюю боль.

— Мне страшно за этого ребенка,— говорила Элизабет врачу,— ее ждут такие огорчения в жизни.

— Я вижу, что вам страшно,— отвечал тот.

Врач был человеком неказистым, неуклюжим, с проницательным взглядом.

Тут она никакой ловушки не чуяла. Ведь она беспокоится *о ребенке*, думала Элизабет. Это так естественно. Малышка не догадывалась, что ей угрожает. Она бросалась навстречу жизни, полная доверия, которое чревато бедами. Девочку не заботила осторожность, необходимая для того, чтобы выжить, выплыть, избежать потрясений и ран. *«Если так суждено, чтобы ей причинили боль, не лучше ли это сделать мне?»* И Элизабет сажала девочку к себе на колени, рассказывала о важности спасения, о сверхъестественном покое, какой достигается лишь через самоотречение. Она описывала дочери прекрасные страдания святых — этот сплав золота с медью,

которые приводили их в рай длниным путем через пнки, шпагн, колесоваине н крест. Элизабет говорила об аде, где душа долго искупает нспытаиное здесь малейшее удовольствие. Увы, думала оиа, здесь, иа земле, радость уже обнаруживает свою горькую сердцевину, подобную зернышку мака под яркими лепестками. Вндимый мнр. Радость. Солице. Столько блестящих картииок, как иа гадальных картах, и все оии скрывают лишь страдания и грязь. Радость, солнце в глазах ребеика ранили Элизабет, как обещание, которое, оиа знала, ие будет выполнено. Элизабет даже обратилась к дочери с загадочным вопросом:

— Мари-Поль, а тебе ие боязно?

— Но вы ведь говорите, мама, что Бог добр.

— Добр, ио страшен.

Элизабет зиала, как страшна любовь, как оиа требует всего человека, все пожирает и хочет, чтобы ей отдали даже саму эту пустоту. Но есть святые с руками, полными цветов. Мари-Поль лишь смеялась в ответ.

— О, мама, я не верю, что он страшный.

Упрямство дочери вдруг поражает Элизабет в сердце и пробуждает ее. Этот ребенок отрицает опасность, отрицает жертву, иеизбежность страдания, отрицает, отрицает... В душе Элизабет виезапио подиимается волна гнева, волна возмущення, иеизвестно когда н как зародившаяся (может, это следствие ночных бдений, долгих ночных часов, внешие бесплодных, когда она считала себя свободиой), и с ее губ срываются непоиятные слова, которые она слышит, ие узнавая н смущаясь, как из-за иеуместиой шутки, несообразного смеха.

— А ты зиаешь, Мари-Поль, что Бог приказал тебя ему пожертвовать?

Это игра, всего лишь игра илн, по крайней мере, иепроизвольиая реакцня — так закрываются рукой от солнца. Подтруиивание, которое должно ослабить слишком большое иапряжеиие спора.

— Меня...

В больших черных глазах волнение.
— Как Исаака?
Исаака она видела у себя в Библии. Нож, занесенный бородатым Авраамом, напоминавшим ее отца, подставленная шея, изумленный взор кудрявого ребенка — все это правда, ведь так нарисовано в книге.
— Как Исаака.
Черты лица у девочки искажены, губы сжаты, глаза в слезах. Какое облегчение видеть, как на мгновение исчезли с ее лица радость и красота! Элизабет забывает, что все это игра.
— Вы уверены, мама?
Еще один миг пусть будет у нее такое лицо! Еще на миг пусть не стихает этот шквал любви, нежности, который обрушился на Элизабет перед скорбным лицом дочери. Наконец-то дочь приблизилась к ней, стала на нее походить, наконец-то их сплавило воедино одно страдание.
— Разумеется.
Еще мгновение. Спустя мгновение Элизабет скажет, что это была всего лишь игра, что она ошиблась, да мало ли что. Девочка всхлипывает. Элизабет в ее возрасте не плакала. Как и Клод де Маньер, робким некрасивым ребенком замурованная в безмолвии, дочь забытых родителей, которые умаляли ее до своего уровня, чтобы сподручнее было ее любить. «У Клод такое хрупкое здоровье. Замуж ей не выйти...» Начинается ли с Мари-Поль третье поколение детей, принесенных в жертву, преданных распятию?
— Это случится сегодня, мама? — бормочет сквозь слезы ребенок.
— Нет, нет, не сегодня,— шепчет Элизабет почти в таком же волнении.
Элизабет не может решиться прекратить игру. Она и сама увлечена, ведь она вновь обретает, открывает, принимает свою дочь. Избавить девочку от тревоги,

которая их сближает? Смеющаяся, нетронутая печалью Мари-Поль почти не принадлежит ей. У Элизабет такое чувство, что в течение трех дней, пока длится испытание, она второй раз дает дочери жизнь. И она словно разлучается с Мари-Поль, отрывает девочку от сердца, когда на третий день говорит:

— Бог услышал мои молитвы. Он заменит вас на маленькую птичку.

Это тоже есть в Библии, и Мари-Поль принимает материнские слова на веру.

— Бедная птичка,— молвит она.

В Библии в жертву принесли невинного агнца. «Бедный агнец»,— сказала бы Мари-Поль. И хотя прекрасный кудрявый Исаак был спасен, забудет ли он когда-нибудь жжение от веревок, которыми был связан, костер, сооруженный отцом, сверкающий нож на фоне неба?

— Значит, я не умру?

— Сейчас нет.

— Как мне повезло, мама!

Повезло! Узнает ли она когда-нибудь правду? Однако эти три дня измотали Элизабет.

— Да, но никогда не забывайте об этом.

Она не забудет. С этих пор во взоре Мари-Поль будет проглядывать уязвимость.

В доме снова установился покой, жизнь вернулась в прежнее русло. Но можно ли теперь доверять покою, уже однажды нарушенному? Вновь обретая права, через трещину прокрадывается грозное детство. Действительно ли прекратился этот дурной сон? Спит Элизабет плохо. К обаянию ночи она, по-видимому, стала равнодушна. Ночь в молельне словно заселяется призраками, раздирается на части. Поскрипывание, шуршание действуют на нервы, безмолвие больше не облегчает душу. За окном хлопанье крыльев, царапанье когтей по дереву, шепот, смешки. Бесы? Элизабет пожимает плечами. Она

уже не одна, со свободой покончено. В сумрачных коридорах чувствуется чужое присутствие, зеркала заточают ее в себе, персонажи картин не сводят с нее своих мертвых глаз. Элизабет больше не властвует над этим ночным царством, она лишилась его в одно мгновение и не по невнимательности, наоборот, она стала теперь чересчур внимательна. Лицо Мари-Поль пересекло зеркало, растопило стекло, нарушило ее одиночество и отравило его. Там, куда проникает любовь, все становится таким же нечистым, как и сама жизнь.

— Мне следовало бы отказаться от всех личных привязанностей,— говорит Элизабет,— сохранив лишь любовь к Богу, теперь же из-за этого я грешу сто раз на дню.

— Из-за чего из-за этого?

— Из-за привязанности. Я думала, что освободилась от нее, всем пожертвовала, но вот она возрождается снова.

Он спрашивает себя, чем же она пожертвовала — юношеской любовью, родителями? «Он» — это Шарль Пуаро, ее врач, с которым Элизабет охотно откровенничала, ободренная его уравновешенностью, немного высокомерной сдержанностью и в какой-то степени, должно быть, его неказистой внешностью. Кроме того, ее беспокоили необъяснимые физические боли, которые перемещались, менялись по характеру. Мигрень, внезапные булимии, после которых совсем не хотелось есть, боли в желудке, головокружения. Сначала Пуаро отнесся к ее словам с пренебрежением выходца из народа, который приписывает это мнительности праздной, скучающей женщины. Потом он увидел, как мучается Элизабет на приемах, которые из тщеславия устраивал ее муж. Она напрягалась, бледнела — того и гляди пошатнется. Однако она продолжала улыбаться, голос по-прежнему звучал ровно, лишь по виску сбегала капля пота.

Пуаро восхищался ею. Благодаря терпению и упорст-

ву Элизабет сумела пополиить те отрывочиые зиаиия, которые почерпиула в моиастыре. Оиа миого читала, была сведуща в богословии, латыии, поэзии и обсуждала эти темы с милой серьезиостью — перед своими зиакомыми Пуаро свидетельствовал, что Элизабет при этом отиюдь ие выглядит иелепо, как обычио случается с учеиыми жеищииами. Ои создал ей репутацию образоваииого добродетельиого человека, а ведь Пуаро считали придирой, даже иемиого жеиоиеиавистииком. Времеиами ои спрашивал себя, кем же иа самом деле была Элизабет, обращавшаяся с иим как с другом. Нет, Пуаро ие сомиевался в ее красоте, образоваииости, добродетельиости, одиако в ией таилось и другое качество, которое ие позволяло (и ие только ему как мужчиие, ио и детям, местиым дамам, служаикам) отдалиться от Элизабет, преиебречь ею. Страииое, почти иеприметиое обаяиие, эта смесь силы и слабости, властиости и изящества, эта жгучая холодиость, иеожидаииые прелестиые улыбки, виезапио освещающие прекрасиое, серьезиое и зачастую скорбиое лицо.

Ее маиеры были безукоризиеииыми — благопристойиыми, сдержаииыми, ее жизиь — образцовой, ии в чем ие противоречащей общеприиятой морали, речи — серьезиыми, строгими и даже иемиого отдавали педаитизмом. И при всем этом вокруг иее создавалась трепетиая атмосфера ожидаиия и восхищеиия. Свящеииик предполагал в ией святую, врач — больиую. Дамы придумывали массу ромаитических историй, чтобы объясиить, как оиа оказалась жеиой такого заиуды. Элизабет была из тех, кто иепроизвольио кристаллизует вокруг себя чужие видеиия и грезы, и отдавала себе в этом отчет. Оиа старалась пройти иезамечеииой, старалась стушеваться и делала это так хорошо, что этого иельзя было ие заметить. Оиа так мало заботилась о своей красоте, что ее красота бросалась всем в глаза. Элизабет зиала это, и ее щеки покрывались краской. Всеобщее виимаиие до-

ставляло ей радость, которую Элизабет искупала постами и самоистязанием, чего не могла скрыть полностью, вновь возбуждая к себе интерес, которого пыталась избежать. Хотела Элизабет того или нет, но она постепенно пробуждалась к жизни; пробуждением для нее служило возвращение в мир символов.

Иногда в порыве отчаяния у нее вырывалось:

— Все-таки я старалась! И мне это даже удалось!

Однажды она сказала Пуаро:

— Представьте себе, когда я была ребенком, я как-то раз упала со стены, огораживавшей монастырь, вниз на дорогу, и, вы не поверите, я вообразила, что меня столкнул дьявол.

Она думала, что он в ответ засмеется. Пуаро был человеком положительным, крупноголовым, с большими руками — такие люди внушают доверие. Их хотят видеть немного глуповатыми, обладающими той душевной простоватостью, которая успокаивает и согревает. Однако Пуаро глупым не был.

— Все не так просто,— ответил он.

Последовал спор, причем Элизабет сознательно не договаривала своих мыслей. Она хотела, чтобы ее успокоили, но старалась себя не выдавать. Некоторое время потом Элизабет на него сердилась. Она желала, чтобы такие вопросы находили простое, чуть ли не заурядное разрешение. Ей удалось их упорядочить, установить им границы, тесные рамки, но вот со всех сторон начинала сползать краска, портя изображение.

— Я со своей банальной, блеклой жизнью...— говорила она.

Он же без всякого намерения польстить возражал:

— То, что вы делаете, не может быть блеклым или банальным.

Вот уже несколько недель он приводил ее в отчаяние. Она вбила себе в голову, что этот человек науки, положительный, даже крутой, избавит ее от мучений.

Пуаро же пичкал ее опиумными таблетками, следил, чтобы она соблюдала диету, но не приносил ей облегчения, в котором она так нуждалась. Элизабет уверила себя в том, что страдает болезнью с красивым греческим или латинским названием, от которой ее избавят несколько ложек микстуры. Этого она от него и ждала и, добиваясь помощи, докучала ему, как ребенок, жаждущий получить конфету.

— Несколько лет мне было так хорошо, я ничего не ждала, ничего не хотела, и вот снова болезнь...

Пуаро смотрел на ее красивое лицо, дивные темные волосы, тонкие и сильные руки и как бы размышлял вслух:

— Вы действительно думаете, что отсутствие желаний — признак хорошего здоровья.

Однажды она даже ударила Пуаро ногой, видя, что не может заставить его думать так, как она. Потом он долго смеялся.

— Теперь вы скоро выздоровеете,— сказал он.— Мне казалось, вы уже источаете святость, но, вижу, мои пилюли действуют.

Она хотела выразить по этому поводу сожаление, но не удержалась и рассмеялась вслед за Пуаро.

Однако ее здоровье оставалось подорванным, притом что несколько лет до этого оно было крепким, незыблемо крепким. Элизабет плохо спала, и ночные бдения перестали действовать на нее успокаивающе. Даже в самую тихую ночь Элизабет мучали тревожные мысли. Восхитительное чувство одиночества, которое словно по волшебству освобождало ее от тех, кто спал рядом, все реже и реже посещало Элизабет. Даже заснувшие, они давали знать о себе. Ей казалось, она ощущает их дыхание и чуть ли не тяжесть их тел. Да, именно они словно придавливали ночь своей тяжестью, мешали Элизабет взлететь, на мгновение испытать почти божественную свободу, знакомую ей прежде. По существу, ночи теперь почти не было.

Всплывали лица: то иищий, то больиой ребеиок, то служаика, брошеииая в положении,— все эти диевиые раны ие переставали кровоточить. И с того дия, как оиа заставила плакать Мари-Поль, ие переставала течь кровь у иее самой — это кровоточило ее, как Элизабет до сих пор полагала, так хорошо зарубцевавшееся детство.

Оиа поияла это после того, как одиажды Пуаро спросил ее:

— Вот вы всегда говорите, что *снова заболели*, ио когда вы болели прежде? За те десять лет, что я у вас бываю...

— Я болела, когда была ребеиком,— быстро выговорила оиа и тут же поияла: вот что подиималось в ией, тяготило, прииосило боль. Болезиь, которую оиа лишь иа время загиала виутрь,— это ее детство.

Три малеиькие дочки бегали по саду, ходили в церковь, росли, учились читать. Дюбуа вопреки своим надеждам в городском суде ие преуспел. Сразу дали о себе зиать его болячки, ои теперь ие вставал с постели, стоиал, брюзжал, заговаривался: ои возился со своей жизиью, как возятся в кровати, и все ему было ие с руки. По правде сказать, ему иечем было в жизии похвастаться и был ои тем зарытым в землю талаитом из Еваигелия, который теперь возвратит лишь слегка заржавлеиным. Ои изощрялся, выискивая у себя грехи, как выискивают вшей (забава старика, забава умирающего), и иаходил лишь разиую мелочь: кое-где слегка иажился, кое-какие деиьжата припрятал,— ои даже иечестиых поступков себе ие позволял.

— Зря я иа вас женился,— говорил ои Элизабет.— Испортил вам жизиь. Вы могли бы уйти в моиастырь, могли бы составить себе блестящую партию. Я перед вами очеиь виноват.

Ему очеиь хотелось быть виноватым. У виноватого еще есть иадежда. Одиако равиодушиая к мужу и пото-

му не способная его понять Элизабет, держа его за руку, со всею иежностью лишала Дюбуа этой иадежды.

— Нет, мой друг, уверяю вас, я была с вами счастлива.

Оиа и не догадывалась, что своей сиисходительностью его докаиывает. С таким же успехом оиа могла бы сказать мужу, что того вовсе ие существовало. Так же поступали священиики, причем все (священиики в их доме никогда ие переводились). Оии ие поиимали, что иесчастиый старик пытался, прежде чем сгииуть иавсегда, выторговать себе хоть четверть часа иастоящей жизии. Превозмогши скупость, ои обиовил скамьи в часовие иезуитов, уступил иемиого земли их соперникам кармелитам, тем самым доказывая как свою привержеииость церкви, так и свою беспристрастиость. По общему миеиию, ои имел право иа тихую коичииу, и ему такое право предоставляли, выравиивая перед иим спуск в могилу, ои же, бедиый, молил о прямо противоположиом, о бугорке, за который ои мог бы иа мгиовеиие зацепиться.

«Иногда я лукавил, даже обмаиывал, чтобы добиться милости у сильиых мира сего, тщетио полагался иа их заступиичество... Я отказал жеие, просившей бархатное маито... Я выгадывал иа жаловаиьи служаикам. Мие случалось браииться, пропускать мессу». Ему смеялись в лицо. Разве это грехи!

— Вы и поиятия ие имеете, что значит грешить,— мягко сказал ему старый кюре, и сказал правду. Эта-то правда и сводила Дюбуа в могилу.

От чего ему было умирать? Ои страдал из-за подагры, ревматизма, иеудовлетвореииых амбиций. Страдал из-за того, что ие зиал пороков, даже скупость ие была у иего сильиой страстью, в лучшем случае простой причудой, которая ему самому вдруг опостылела. Ои страдал от иедостатка воображеиия: растяиувшись иа широкой кровати, окружеиный заботой и виимаиием, ои мог бы

тиранить окружающих, шантажировать их своей болезнью, благодаря чему обрести над домашними власть. Но мало сказать, что это не доставило бы ему удовольствия,— такое даже не приходило ему в голову. Приступы подагры он сносил терпеливо. Одним из его положительных качеств была небоязнь боли, так что даже страдания его не занимали. Что же ему оставалось делать, если не дать себе спокойно умереть, к чему его все кругом подталкивали?

Дюбуа смутно надеялся, что Элизабет его спасет не тем, разумеется, что вернет к жизни, а упреком, воспоминанием, снабдив его багажом, которым он мог занять руки и действительно упокоиться, а не сгнить. Он не сомневался, что это было в ее силах. Какая женщина не таит на мужа обиду, не сохраняет нежное воспоминание, пусть и о кратком мгновении? Какая женщина? Такая, как Элизабет. Подчинившись, отрекшись от своей воли, она сделалась нечувствительной. Никогда ее не посещала мысль поставить в упрек Дюбуа их женитьбу: она не осознавала себя замужней женщиной, да и не была ею на самом деле. Дюбуа был инструментом Божьей воли, простым средством, а не человеком. А раз так, то что же на него сердиться? Она не обращала на него внимания.

Элизабет была так равнодушна к своему телу, что отдавалась мужу, можно сказать, добровольно, наверное, даже с еле заметной, напоминавшей материнскую, жалостью, свойственной некоторым холодным женщинам. Конечно, именно жалость — самое светлое чувство, какое она испытывала к Дюбуа. Жалости, однако, было недостаточно, чтобы вернуть его к жизни. Элизабет держала мужа за руку, подавала снадобье, говорила «не волнуйтесь», он же, наоборот, желал волнений, желал задавать вопросы, мучить себя, испытать боль хотя бы один-единственный раз перед смертью, потому что чувство боли было единственным человеческим чувством, единст-

венным человеческим опытом, пока ему доступным. Нежный профиль Элизабет у его изголовья приводил Дюбуа в отчаяние, он знал, что и после его смерти этот профиль остается прежним, а она, сидящая за шитьем, возможно, в этой же комнате, но уже рядом с пустой кроватью, такой же спокойной, такой же отсутствующей, как и теперь рядом с ним, рядом с его кроватью. «*Я для нее пустое место*». Как всегда он молвил:

— Элизабет?

— Я здесь, мой друг.

— Нет, вас здесь нет, вас здесь нет.

Врачу она говорила:

— Мой бедный Дюбуа всегда был такой сдержанный. Сейчас, наверно, он сильно страдает.

Он страдал, но от чего? Глядя на гладкое, непробиваемо спокойное лицо Элизабет, врач не решался возразить. В ней ощущалась какая-то чистота, вызывавшая уважение, однако он не мог отделаться от мысли, что Дюбуа было бы лучше, сиди у его изголовья вместо этого равнодушного ангела кто-нибудь другой. Врач думал о том, что эта столь добродетельная женщина, по всей видимости, никогда не любила и что без каких-либо угрызений совести она лишает Дюбуа перед смертью всякой надежды. Дюбуа волновался, горячился, осознавая в последние минуты нехватку главного, осознавая пустоту из-за того, что Элизабет невольно наводила на мысль об отдельном мире, куда она имела доступ и куда ему так хотелось за ней последовать. Он сам, врач Шарль Пуаро, иногда испытывал это рядом с Элизабет, во время их бесед, наблюдая за ней, стремясь постичь тайну этой тревоги, этой безмятежности, приступов суровости, неожиданной кротости, всего того, что составляло загадочный сплав, именуемый Элизабет.

Существо, обладающее внутренней жизнью, накладывает свой отпечаток на все, к чему прикасается. Именно в глазах Элизабет Дюбуа прочел, что его не существует.

— Простнте меня, Эли, прежде чем я умру.

— Но мне нечего вам прощать, мой друг, вы всегда были очень добры ко мие,— отвечала она.

В глубине душн она чувствовала раздраженне рядом с мужем, который, будучн прн смерти, пытался родиться вновь, ие снтаясь с ее желаниямн. Элнзабет не хотела, чтобы ои рождался вновь. Оиа не хотела быть этому свндетельницей. По существу, оиа не хотела, чтобы он выжнл. Не заставлял ли он ее сделать еще один шаг по пути, на который она вступнла в день «прииесения МарнПоль в жертву», не заставлял лн распрощаться еще на иекоторое время с покоем, право иа который, как думала Элнзабет, оиа заслужнла?

— Вы н сами не догадываетесь о своей жестокости,— сказал ей Пуаро после одиого из своих посещеинй, когда застал Дюбуа в подавленном состояиин.

— Я во всем полагаюсь на волю Господа,— возразнла оиа.

— Но иеужелн вам ие жаль своего супруга?

— Он умирает безгрешиым. Хорошо бы и я перед смертью могла сказать о себе такое.

Врач чуть было со всей резкостью ие указал ей иа бесчеловечиость подобного суждення, ио увидел в глазах Элизабет такую явную боль, что смолчал. Он вндел, что н оиа мучается, ио ее мучения иного рода, чем у иеразумиого бедняги, терзающегося неожиданными сомиениями. Ои был не прочь прийтн ей иа выручку, одиако, по сути, отиосясь к иему с большнм доверием, Элизабет ие обнажала перед иим свою душу.

— Я ваш друг,— без явиой связи с предыдущим проговорил он.

— Знаю. Я постараюсь, ио...

На миг ее лицо стало беззащитным, иа тот самый, должно быть, когда ее взору открылась нстнна: если бы она согласилась на то, чтобы Дюбуа существовал, она бы его возиенавидела. Но этот миг прошел.

— Я постараюсь выказать больше терпения,— произнесла Элизабет.

Как будто от нее требовалось терпение! Как раз избыток ее старания и прикончил больного.

— Эли, вы меня любите?

— Ну конечно, мой друг.

И однажды на исходе сил он воскликнул:

— Вы, наверно, совсем без мозгов.

Она опустила глаза. Три дня спустя он умер в подавленном состоянии духа, которое окружающие сочли смирением. Элизабет очень горевала. Он так мало ее утруждал, кроме разве последних дней.

Городские дамы радовались за нее. Наконец, говорили они, Элизабет будет «вознаграждена за свою жертву». Под этим подразумевалось, что она унаследует капитал, который полагали более значительным, чем он был на самом деле. Наконец она сможет «пожить в свое удовольствие», то есть, по мнению этих дам, освободившись от вечно больного супруга, Элизабет станет принимать гостей, делать визиты (они объясняли уединенную жизнь Элизабет ее повышенным чувством долга) и, может быть, отыщет себе более подходящего мужа. Разве она уже не «исполнила свой долг»? В свои двадцать четыре года она оказалась одна и, сохранив прежнюю красоту, приобретя определенную материальную независимость и множество друзей, готовых о ней позаботиться (была у нее, правда, и обуза — три маленькие дочки), была вольна распоряжаться собой. Так что не грех было и позавидовать.

К счастью, возникшие денежные трудности отняли у Элизабет месяц-другой. Одной лишь скупостью не всегда разбогатеешь, и скряге деньги необязательно идут в руки; вот и оказалось, что Дюбуа богат не был. Старые друзья, естественно, выразили Элизабет сочувствие, ее то и дело вызывали к юристу и ей предстояло решать имущественные вопросы. Нужно ли ей продать свое поле?

Сдать ли ей два-три домишка в аренду или попробовать продать их с торгов? Она блестяще выпуталась из трудного положения, встречая везде симпатию и восхищение: как же, такая молодая вдова! И вот настал день, когда все оказалось улажено. Вырубки в лесу позволили расплатиться с долгами, две маленькие фермы отданы внаем, несколько лугов близ дома тоже, и полученный небольшой доход представлялся достаточным для женщины, не приученной к роскоши.

— Когда вы сдадите внаем последний клочок луга (Дюбуа всегда этому противился, надеясь на постройку там нового дома), можете считать, что ваши финансовые дела почти вконец поправились,— сказал нотариус.— Тогда вы будете вправе немного подумать и о себе.

Подумать о себе! Ничего себе сразил! Элизабет, сопротивлявшаяся настоятельному присутствию умирающего Дюбуа, должна была теперь сопротивляться его отсутствию. Элизабет была одна и свободна. Она так тщательно, так скрупулезно наладила повседневную жизнь в своем старом доме, что все делалось как бы само собой: стирка, утюжка, чистка медных вещей, фарфоровой посуды, мебели, работа в саду, работа по дому,— Марта справлялась со всем, как хорошо налаженный автомат, имея в подчинении лишь одну помощницу и маленького мальчика, выполнявшего роль садовника. Два раза в неделю к хозяйке дома и ее дочкам приходила портниха. По-прежнему посещали их жилище аббат Варнье и доктор Пуаро. В библиотеке с ее большими медными канделябрами, дубовыми панелями, зелеными гардинами, как и раньше, было тихо и сумрачно. Маленькая уютная молельня, где Элизабет провела столько ночей, была тут же со своими ангелочками, благочестивыми картинками, бумажными цветами в вазах, скамеечкой для молитвы, реликвиями в расписном ящичке со стеклянной крышкой.

Одиако Элнзабет забыла про библиотеку, молельию, забросила кн僅нги, перестала молиться, теперь по всему дому она нскала, где бы прнложнть свою энергню: меняла обон, все заново перегораживала, перекрашнвала кабинет, освобождала антресоли. Девочкн семенилн следом. Друзья Элнзабет радовалнсь, вндя в ее возбужденностн прнзнак возвращення к жнзнн. В такнх случаях старые людн вздыхают: «Жнзиь берет свое». Элнзабет же онн были очарованы, так как на монотонном фоне нх серых будней молодая женщнна явно выделялась как лнчность незаурядная, от которой, несмотря на, казалось бы, незначнтельность ее поступков, можно ждать еще немало иеожнданностей. И было бы вполне естественным, еслн такой неожнданностью оказался бы блестящнй повторный брак. Все зналн нсторню о советннке лотарннгского двора, которому столь решнтельно отказала Элнзабет еще прн Дюбуа: может, теперь он появнтся вновь? Илн гравер Апье? В самом Нансн женнхов хватало, н красота Элнзабет, ее репутацня ученой н добродетельиой женщнны с лнхвой возместнлн бы ее иевелнкий достаток н прндачу в внде трех дочек. Ожндали, такнм образом, назидательной развязкн, вознаграждення добродетелн. Беспоконлнсь только врач н служанка, Шарль Пуаро н Марта (добрая толстуха, круглая н розовощекая, обожавшая Элн): они слншком хорошо зналн Элизабет, чтобы поверннть, будто выбор обоев мог ее занимать, как она пыталась убеднть в этом другнх.

На самом деле ей казалось важным утаить ото всех все более н более возраставшую в ней с каждым днем тревогу. Домашиие дела, в которые она теперь с неожнданной скрупулезностью вннкала, былн для нее как бы отдушнной, протнвоядием. Ей представлялось, что, обремененной работой, занятой, ей удастся скрывать свою подавленность и это предохранит ее от напастей еще на какой-то пернод. Думая, что оиа вынгрывает время,

Элнзабет заблуждалась. Правда, необходнмость сохраннть небольшое состоянне для детей на несколько недель поддержала ее. Теперь возннкала настоятельная потребность (так говорнла Элнзабет) прнвестн в порядок дом, который она запустнла во время болезнн мужа. Она старалась нзнурнть свое тело, занять свой мозг этнмн бесконечно малымн велнчннамн, однако, остановнвшнсь на секунду, она тут же в мгновенне ока чувствовала тревогу, головокруженне, с которымн не удавалось совладать. Снова перед взором Элнзабет вставал умнрающнй, его непостнжнмый гнев, непонятное беспокойство. Она вспомннала об утешеннях аббата Варнне: «Грешнть? Бедняжка! Он н понятня не нмеет, что значнт грешнть». Элнзабет была того же мнення. Ее муж не нмел понятня, а она нмела. С детства. Зло распространялось вокруг нее, незаметное, неуловнмое н все же реальное. Она ощутила его в речах Клод, в гневе Льенара, в самой сердцевнне чудовнщного союза ее роднтелей. Элнзабет хотела это забыть н за годы спячкн забыла (однако внутреннний голос шептал, что ее спячка, возможно, неугодна Богу, что она, возможно, не самое надежное убежнще: разве не чуднлся ей нногда в молельне еле слышный полет демонов?). Она забыла, н разве не доказательство этому, что она отказала умнрающему в его просьбе, должна была отказать, несмотря на свою жалость, желанне утешить, н ее отказ, может, н доконал несчастного супруга (да, несчастного, ведь он не мог унестн в могнлу даже воспомннанне о грехе, даже раскаянне)? «Так даже лучше»,— думала она с дрожью вечером, прежде чем лечь в шнрокую кровать, где он незаметно для себя уснул навекн. «Он поконтся в мире». Так неужелн незнание — необходимое условне для мнра и покоя? И потом, разве она боялась призрака? Марта как-то спроснла хозяйку:

— Вы будете продолжать спать в этой комнате, мадам?

— А почему бы и нет?
— А если ваш муж...
— Вы сошли с ума.

Как может вернуться тот, кого даже никогда не было, тот, кому Элизабет, разбирайся она в себе лучше, даже бы не позволила *быть*? Нет, Элизабет этого не боялась, ведь, по существу, он умер для нее совсем. Боялась она другого. В ней пробуждалось то, что можно было бы назвать искушением (если восходить к истоку, пробудилось оно в тот день, когда в глазах Мари-Поль она увидела отражение своего детства), если бывает искушение в чистом виде, независимое от всякого внешнего желания, от всякой телесной оболочки, или желанием зла, потому что именно зло наложило неизгладимый след на ее внутреннюю жизнь, и, чтобы обрести ее вновь, надо было пройти через зло, вспомнить о зле, оживить его. Как не смогла Элизабет почувствовать биение источника, что зовется материнской любовью, до того как увидела страдания и слезы собственного ребенка, так не в состоянии она была вновь почувствовать в себе порыв к Господу, изначально не искаженный, не оскверненный материнским дознанием и материнской любовью, которая и пробудила ее к настоящей жизни, и навсегда искалечила. Оставалось то, что она на протяжении многих лет именовала покоем, то, чему она предавалась долгое время, полагая это своей обязанностью, но что на практике оказывалось лишь карикатурой на действительное подвижничество души, ведь такое подвижничество предполагает веру, ее же порыв к Богу строился на отчаянии. Она не желала больше этого покоя, она задыхалась и инстинктивно отвергала покой с тех пор, как предлог для него был отброшен. Невинные слова нотариуса: «Теперь вы будете вправе подумать и о себе»,— испугали ее, подобно угрозе. Она была одна и свободна. Одна и свободна. Стоило ей на мгновение прервать свои пустячные занятия, как этот

припев, странный и грозный, вновь звучал в ее голове. Временами Элизабет казалось, что она не в силах удержаться, остаться прежней благоразумной и спокойной женщиной, что она сейчас закричит, забегает, замашет руками, выдаст много такого, что сделает явным... Но что именно она сделает явным? Элизабет не знала. Она лишь требовала у доктора Пуаро все больше опиумных таблеток.

— Вы зря их принимаете, все равно ведь вам не удастся спать все время.

— Но я вовсе не хочу спать все время...

— Чего же тогда вы на самом деле хотите?

Она бы сказала ему. Но что было говорить? Тревога по каплям сочилась в ее душу, в Элизабет постепенно пробуждалось сознание, рождалась боязнь того, что на первый взгляд должно было бы ее успокоить, послужить ей утешением. Появлялась ли тяга к Мари-Поль, и Элизабет останавливалась на полпути, пораженная, словно стрелой, внезапным страхом. Трогали ли ее чьи-нибудь невзгоды, и она тут же содрогалась, отправляла Марту с деньгами, боясь собственной жалости. Мало того, достаточно было Элизабет прочитать однажды вечером что-нибудь волнующее, чтобы тут же застыть на пороге своей души, как перед запретной областью, в которую ей под страхом смерти нельзя было проникать. Под страхом смерти! Ах, если бы Элизабет действительно угрожала смерть, как бы она ринулась ей навстречу!

Элизабет становилась все мнительнее, она делала себе множество нелепых упреков: то она запустила воспитание девочек, то плохо ведет хозяйство, то недостаточно выполняет свои религиозные обязанности. С рассветом она бежала в церковь на службу, уходила до ее окончания, набрасывалась на книги, вдалбливала еще не совсем проснувшимся детям латынь, сердилась и тут же корила себя за это, представляла себе в идиллическом

свете завтрашний день, когда все будет совершаться в свое время, без суеты и проблем.

— Я не узнаю больше свою Филотею...

— А вы уверены, что когда-нибудь меня знали? — спросила она его как-то в минуту усталости.

Врачу пришлось признаться, что нет, он не уверен, ведь как раз этот всегда ощутимый трепет, таившийся под ее внешним благоразумием, и удерживал его рядом с Элизабет, привязывал к ней, так что Пуаро посвящал ей больше времени, чем кому-либо другому из своих пациентов.

— А вы?

— Что я?

— Вы-то уверены, что знаете себя?

Элизабет рассердилась.

— Что вы хотите сказать?

— Только одно: вы никогда не были счастливы, хотя и пытаетесь это от себя скрыть.

— Подумаешь!

— Сознайтесь, однако, что это правда.

— Разумеется, правда, но я никогда не скрывала, что у меня было другое призвание. Однако теперь мой долг — посвятить себя дочерям. И все же я мечтаю о монастыре, в котором согласились бы принять меня вместе с ними.

— Нашли бы вы там покой?

— Не знаю, да и создана ли я для покоя?

Эти вздохи, такие искренние, такие растерянные, вырываются у нее лишь при Шарле. Пуаро понимает это и часто об этом размышляет, он хотел бы когда-нибудь разгадать причину странной грусти Элизабет, которой восхищается, к которой испытывает что-то вроде нежности и к которой привязывается еще больше оттого, что не может исцелить. Не ошибается ли она, говоря о своем призвании? Кто знает? Во всяком случае, Элизабет — женщина своеобразная, и она странно бы смотрелась

на фоне сестер-монахинь, которых Пуаро часто видит в больнице,— смешливых, словоохотливых, любопытных, подобно сорокам, но от этого не менее благочестивых и славных, да и как бы он обходился без них? Откровенно говоря, эти проворные и отнюдь не избалованные сестрички были до поры до времени единственными женщинами, чье общество, маленькие знаки внимания доставляли ему хоть сколько-нибудь радости. Шикарные пациенты утомляют Пуаро, тем более что, несмотря на определенную известность, он хорошо понимает, что все помнят о его скромном происхождении и что затмил он своего соперника, старого доктора Ришара, лишь благодаря усердию и постоянному потворству старым ханжам-ревматикам, которым отказывается потакать Ришар. Эта роль болонки ему меньше всего подходит, но, чтобы преуспеть, ему пришлось к ней приноровиться; однако в глубине души он лелеет глухую злобу на городскую элиту, заставившую потворствовать ей человека крутого, влюбленного в свою работу. Его вымученную, подчеркнутую вежливость объясняют природной неотесанностью («Но он так предан»,— добавляют богатые вдовушки), на самом деле причина тут в том, что он насильно себя к ней принуждает.

— Если бы вы знали, чего мне это стоит! — доверительно говорит он Элизабет, с которой всегда чувствовал себя непринужденно.

— Но вы думайте о своей цели, о добре, которое делаете.

Да, конечно. Расширение и восстановление больницы, страждущие, которые теперь находятся под тщательнейшим наблюдением, семья, которой он помогает, не любя... Все это идет в расчет, но Пуаро трудно сохранять равновесие между тем, чего он в своих глазах стоит, и той ролью, которую он играет. Его обостренная гордыня внешне никак не проявляется, и сам он считает, что у него самый что ни на есть ровный характер.

— Что вам делать в монастыре? Разве нельзя и в миру действенно вершить добро, ведя хозяйство, воспитывая детей. Вы снова выйдете замуж...

У нее вырывается чуть ли не детский смешок.

— Да, тут мне тревожиться не приходится. Представьте себе, дружище Шарль, за один вчерашний день мне сделали два предложения. Мадам Бюффе, да, старуха Бюффе, пришла замолвить слово за сына, а наш недюжинный председатель суда — за самого себя. Что вы об этом думаете? Как покажусь я вам в объятиях кого-нибудь из столь значительных особ? — На нее иногда находила внезапная веселость, которую со стороны можно было принять за кокетство.— Разумеется, я не задумываясь отказала. А мадам де Пьегр предложила мне в женихи блистательного незнакомца, наделенного всеми замечательными качествами, но я не захотела даже узнать его имя. Мне без конца твердят, какая я счастливая, что овдовела,— очень уж это немилосердно по отношению к бедняжке Дюбуа — и в то же время получается, что каждый замышляет прервать мою счастливую пору.

Шарлю немного не по себе от столь интимных откровений. Он ясно видит тревогу, сквозящую в ее напускном ребячестве, и спрашивает себя, откуда эта тревога.

— Хорошо еще, друг мой, что вы мне ничем таким не угрожаете. Вы не станете давать мне подобные советы, ведь вы сами всегда говорили, что я не создана для замужества.

— Замужество замужеству рознь,— закидывает удочку Пуаро.— Отказать, даже не поинтересовавшись, кто просит вашей руки...

— Но кого желали бы вы видеть этим человеком? — смеется Элизабет.— Или вы верите в сказки про фей? Я знаю так мало людей. Какой-нибудь обремененный детьми вдовец, желающий присовокупить их к моей маленькой команде, пожираемый честолюбием простолю-

дин, который рассчитывает на мою хилую знатность, чтобы забраться чуть повыше, богатый буржуа, ищущий для своего дома хозяйку, уже поднаторевшую в делах... Не слишком заманчиво, согласитесь. Пусть эти незнакомцы таковыми и остаются. У меня много недостатков, но любопытством я не страдаю.

Элизабет пожимает плечами, щеки красные, как будто у нее жар.

— Наверно, вы не правы. Разве так уж невозможно представить себе влюбленного в вас приличного человека?

Ее лицо мрачнеет (такие внезапные перемены свойственны Элизабет); секунду назад столь жизнерадостная, почти как ребенок, она вдруг непонятно отчего бледнеет, напрягается. Хотя Пуаро привык к крайней переменчивости Элизабет, она всегда его поражает, волнует. Он никак не может связать воедино ее состояние духа, которое может измениться из-за пустяка, и столь непреклонный характер, раз и навсегда установленный образ действий, постоянную доброту Элизабет, которыми все восхищались.

— Но послушайте, что я сказал такого страшного? Разве это так удивительно, если вас любят?

— Да,— срывается с ее побелевших губ,— да.

Он раздосадован и заинтригован. Четыре или пять лет постоянно находясь рядом с нею, он так и не проник в тайники ее души, в ее суть, но именно непонятное в Элизабет больше всего привлекает Пуаро. Над другой женщиной Пуаро лишь посмеялся бы, при всей своей презрительной терпимости к женщинам вообще. Но Элизабет он уважает.

— Эли, объясните мне...

— Что тут объяснять? Я себя знаю, а вы меня нет.

Она упрямо склоняет голову. Со стороны можно было бы счесть, что она капризничает, но Элизабет слишком добродушна и горда, чтобы прикидываться.

— Еслн бы вы зналн... Ах, вам невдомек, какая для меня мука, когда меня хвалят, любят...

Она подняла свон печальные, полные слез глаза.

— Даже еслн я?

Он тут же поннмает, что высказал вещь глубоко лнчную, неуместную. Довернтельная дружба, которую проявляла по отиошенню к нему Элизабет, ннкогда не переходнла в фамильярность, он же позволнл себе бесцеремоиность, этакую куртуазность. Пуаро прнкуснл язык, заметив удивленне в глазах молодой женщины, почувствовав еле заметную напряжеиность в ее руке, которую она, однако, не убнрает конечно же нз делнкатностн. И как все робкне душн, сознающие, что совершнли неловкость, он ее повторяет:

— Даже еслн я, Элнзабет?

Какая нелепость! Это почтн прнзнанне в любвн. Поймав Пуаро на слове, она поставила бы его в затруднительное положенне. Рассерднтся лн на него Элизабет? Лишнтся лн он по своей оплошностн мнлой подругн, расстанется лн с прнвычкой, без которой ему будет трудио обойтнсь?

Она делает над собой вндимое уснлие и, самым естественным двнженнем высвобождая свою руку, проводнт ею себе по лнцу.

— Даже еслн вы, друг мой. Я ценю вашу дружбу, зиаю, до какой степенн оиа отлнчается от всего этого...— и единым жестом она отметает воздыхателей, брак, повседневный ход вещей.— Знаю, что вас нельзя было бы заподозрнть... н все же...

В последнне дни Элнзабет чувствует себя такой растерянной, доведениой чуть лн не до состояния беспомощиостн. Ей надо кому-нибудь поведать о снедающем ее иеобъясннмом страхе, об ощущеннн, возннкшем у нее после смертн мужа, будто она находнтся на краю пропасти, об опасностн, такой страшной, что она не решается взглянуть ей в лицо. Элнзабет надо переложить

на кого-нибудь свое бремя, и разве он не друг, не врач, вдвойне расположенный, вдвойне приуготовленный, чтобы ей помочь и ее утешить? На мгновение ею овладела безумная надежда, что в его власти освободить ее от всей этой жути. Первый раз в жизни (в жизни прожитой и в жизни будущей) Элизабет размышляет, не довериться ли ей, не положиться ли на другого человека. С эмоциональной точки зрения эта минута сродни ночи, предшествовавшей свадьбе, когда Элизабет со всем смирением доверилась Богу. Душа, которую боязнь любви замкнула в себе, два раза раскрылась и предала себя другому. Эти два случая будут много значить для Элизабет. Может, их будет недостаточно для спасения Элизабет (хотя кто знает?), но они по крайней мере предотвратят ее падение. Конечно, преувеличением было бы утверждать, что она станет об этом думать, воскрешать в памяти, но эти два эпизода будут постоянно там пребывать, только и всего. Они будут там, и этого довольно. В мгновение ока перед ней промелькнет простая истинная вера, смиренная обыденная любовь. Откажись она от них, высмей, отрекись даже впоследствии, это уже ничего не изменит. Достаточно одного мига, одного взгляда. Такое не забывается.

Если хорошенько разобраться в случившемся — а как же не разобраться, если оно свидетельствует и будет свидетельствовать о скрытых силах Элизабет, о существовании в ней, несмотря ни на что, духа любви, который ничто не могло истребить (запечатанный источник из Песни песней Соломона),— то выходит, что Элизабет первая полюбила Шарля Пуаро, своего врача. Почему она не отдалила его от себя с самого начала, как поступала со всеми другими мужчинами, кроме разве что стариков и духовных лиц? Он был не настолько уродлив, чтобы уродство послужило неприступной преградой, не был он и настолько неловок, чтобы Элизабет долго оставалась в неведении относительно его достоинств. Захоти

Пуаро на самом деле внушить ей доверие, привлечь к себе, сознавая, кто она и чего боится, ему не пришлось бы действовать иначе. Уважение Пуаро польстило Элизабет. Ей было интересно с ним разговаривать именно потому, что другим женщинам его речи казались суровыми и неприятными. Крутость его обхождения успокоила Элизабет еще до того, как она с гордостью заметила, что для нее единственной он делает исключение. Робость Пуаро тронула ее. Она была одновременно и слишком смиренна и слишком самолюбива, чтобы сносить плохие отзывы о нравящемся ей человеке. Элизабет простодушно говорила себе, что она одна его понимает. Знал ли он об этом? Ни в коей мере. Чувствовал ли? Да, как смутно чувствуют блаженство, не вдаваясь в подробности, не вникая в причины из страха, что оно рассеется. Из того, что он непроизвольно поступал так, как если бы домогался ее любви, можно было заключить, что и он тоже любил. Правда, сам Пуаро со всею пылкостью открестился бы от такого утверждения. Даже в эту минуту, когда его слова были нежнее обычного, в сердце Пуаро нежности не было. Толкнуло же его на этот шаг нечто похожее на гнев из-за предположения, будто Элизабет могло обидеть случайно сорвавшееся, легкомысленное слово, допущенная им *оплошность*. Так он именовал внезапное проявление реальности, которую сам для себя пока не уяснил.

— И все же...— сказала Элизабет.

Она размышляла вслух и говорила с ним как бы в задумчивости. Говорила, что боится даже этой умеренной разумной привязанности. Говорила, что боится детей, служанки, всего того, что волнует сердце, боится чего-то такого в себе, что способно все погубить, так как любовь в ней с самого юного возраста осквернена, опорочена. Говорила, что боится себя и если она до сих пор не ушла в монастырь, то только потому, что боится Бога. Говорила, что зло существует, оно тут, рядом с ней;

Элнзабет н хотела, н не хотела, чтобы Пуаро ее понял. Она устремлялась к нему, умоляла о помощн, любила; не сдержнваясь больше, с уднвнтельным облегченнем она вновь схватнла его руку, онн былн одни, он освободнт ее... Пуаро слушал н не поннмал.

Им ннкогда не суждено было найтн общнй язык, а нх чувствам — совпасть, н все решнл этот миг. Пуаро нужно было вымолвнть лншь слово, чтобы на самом деле освободнть Элнзабет, н он бы вымолвнл, еслн бы любнл ее больше нлн не любил вовсе. Однако так получнлось, что только в эту мннуту он начал осознавать, лншь частично призиавать, смутно предвнделть действнтельное положенне вещей; он только вступал в тот иеблагодарный пернод любвн, когда порыв инстинкта уже угас, а духовное предвосхнщенне еще не роднлось. Пуаро не почувствовал двнжения ее рукн, не увндел тревоги, а слова, сказанные Элнзабет нз стыдлнвости, нз растерянностн («Вас нельзя было бы заподозрить...»), воспринял, как обнду.

В конце концов он мужчнна. Врач не священник, хотя Элнзабет н намеревалась инзвести его до этой роли. Друг? Пусть друг, но только потому, что он сам этого хотел. Он не занлмал нн такого высокого, нн такого ннзкого положения, чтобы ему не было позволеио строить кое-какие расчеты. Почему Пуаро, как н другнм, ие быть чувствнтельиым к ее прелестям, к ее женской статн? Почему бы ему не возжелать ее рукн? Илн она находнла Пуаро такнм уродом, таким неисправнмым простолюдном, что считала его выше (нлже) всякнх подозреннй? Ои забывал о своем уважеиии к Элизабет, ставя ее иа одну доску с другнми жеищинамн, готовымн его оттолкнуть (слишком гордый, чтобы рнскнуть, Пуаро без всякой вндимой причнны оправдывал себя подобиым предположеинем). Даже доверне, которое Элизабет к нему пнтала, он почитал теперь за оскорблеиие. Только ему Элнзабет позволяла держать ее руку в своей, значнт, счи-

тала его ниже других. Даже то, что Элизабет принимает его без свидетелей, несмотря на заботу о своей репутации и целомудрие, из-за которого один только взгляд, банальный комплимент приводит ее в смятение... Другой увидел бы в этом лестное для себя отличие,— женскую хитрость. Однако Пуаро обретал веру в Элизабет лишь для того, чтобы предстать в неблагоприятном свете в своих же глазах, ведь на хитрость Элизабет была неспособна. Следовательно, либо она его любила, либо презирала. В первый момент Пуаро решил, что презирала, и произнес с щемящим сердцем:

— Уберите руку. Если сюда войдут...

Элизабет посмотрела на него кротким взором, в котором сквозило удивление.

— Марта... дети...

— Но все привыкли...

— Когда был жив ваш муж, это было одно, но теперь...

С жестокой радостью он видел, как в ее печальном взгляде забрезжило понимание.

— Я не хотел бы вас компрометировать.

— Кому пришло бы в голову...— слабо возразила она.

— Кому? Да любому! Или я хуже других? Разве я чудовище, старик, лакей? Или вы монахиня? Вы молоды, прекрасны, свободны. Будет вполне естественно, если люди подумают...

— Нет,— простонала Элизабет.

— И кто вам сказал, что я сам...

Он еле успел подскочить. Ей стало дурно.

Шарль потрясен, его самолюбие в высшей степени удовлетворено. Он, смирившийся с тем, что никогда не полюбит и никто не полюбит его, покорил такое гордое, чистое сердце. Никаких угрызений совести из-за нанесенной раны: разве не таково неизбежное начало любви? Только крайнее удивление, изумление. И как он раньше

не догадался? Гордыня помешала ему разобраться в своих чувствах, смирение — в чувствах Элизабет. Теперь же гордыня и смирение преображаются в победное ликование. Разве минуту назад Элизабет как ни в чем не бывало не насмехалась, не шутила над семейством Бюффе, над председателем суда с их претензиями? А стоило ему сказать слово, и какая перемена, какое волнение... Пуаро словно в единое мгновение забыл, что прежде знал об Элизабет и что это волнение не только для него лестно, но и опасно. Все ему вдруг представляется простым: почему бы в самом деле ему на ней не жениться? Да, он низкого происхождения, беден, но у него завидное будущее, он еще молод, Элизабет в него верит, она ему поможет, поддержит его. Пуаро облекает свое безрассудство в разумные рамки, придумывает удобный предлог для своей любви к Элизабет, забывая, что как раз его уязвимость, несоответствие их положений и подвигли его на нежные чувства. Пуаро словно бредит наяву, но его мечты движутся в противоположном направлении, нежели у обычных возлюбленных. Жуткий восторг, охвативший его при виде побледневшей, упавшей ему на руки Элизабет, Пуаро обращает в благоразумное довольство, утоленное самолюбие, другими словами, переводит в нечто прозаическое. «Мне давно следовало бы догадаться... Как я не подумал об этом раньше... Как не заметил... Лучше жены и не придумаешь... Она согласится...»

Шарль, как всегда, заблуждается относительно своего характера, сумрачного и страстного; он склонен считать его лишь немного нелюдимым. Идеальная жена... Впрочем, он знает ее как друг и как врач, знает о ее тревогах, одиноких ночах, он помнит, как она шептала с мучительной искренностью: «Если бы вы знали, какая для меня пытка быть любимой... если бы им было известно...» Пуаро часто пасовал перед ее самоистязанием, чрезмерным умерщвлением плоти. Не понимая, он восхищал-

ся ее безграннчной суровой преданностью старому нытику Дюбуа. Наконец, Пуаро догадывался о безмолвной драме у нзголовья умнрающего мужа, молнвшего Элнзабет об освобожденнн, которое она одна могла даровать и в котором она ему отказывала. Незамысловатые воздушные замкн, которые он сам стронт, не могут обмануть Пуаро.

Однако несколько дней он за них цепляется. Можно подумать, Пуаро уже предчувствует: вовлечь Элнзабет в естественную любовную нгру он в состояннн, лншь обманувшнсь на ее счет, умалнв Элнзабет. Может, также, пускаясь в авантюру, которая займет его целнком, заставнт лезть нз кожн вон, Шарль, чтобы поддаться неодолнмому влеченню, нуждается в оправданнн, во временном алнбн; он должен перехнтрнть степенного, логнческн мыслящего человека, какнм он себя счнтает, н соблазннть его на прекрасное безумство, которое непременно плохо кончнтся. Как бы в подтвержденне этого Шарль, до того усердно посещавшнй Элнзабет, в теченне нескольких дней не стремнтся ее увндеть. Первое головокруженне прошло, н ему почтн удалось убеднть себя, что он не любнт Элнзабет, а домогается ее лншь нз честолюбня.

Элнзабет же, прндя в себя, оказалась во властн все возрастающей тревогн. Какое-то мгновенне она тоже искала себе обычное оправданне, даже чуть не улыбнулась: «Не вообразил лн мой славный доктор...» Затем она услышала его голос, ставшнй глухнм, жестокнм, вновь увидела его слегка блуждающнй взгляд в тот самый мнг, когда он намеревался раннть ее, задеть... Нет, она уже не сможет ннкогда думать о нем как о своем «славном докторе». Значнт, Шарль все-такн вообразнл... В мнг открывается старая рана. «Но если он вообразнл такое, значнт, вннова я!» Ведь она сама допускала к себе Пуаро, поощряла его внзнты. Долгне беседы, удовольствне, которое Элнзабет в ннх находила,

киги, которые она читала немиого и для того, чтобы снискать его одобрение... Неужели в этом было греховиое потворство с ее стороиы?

Сомнения, едва зародившись, одолевают, мучают ее. Прямое следствне допросов, которымн доиимала дочь Клод де Маньер. «Ты увереиа, что не совершила греха? Не думала о нем? Даже самую чуточку? Поклянись!» Клясться она не осмеливалась. Кто поручится? Как узиать наверияка? Шарлю оиа доверяла. Часто ему улыбалась, иногда брала за руку. Миожество иезначительных воспомииаиий всплывает в памяти Элизабет, и тревога ее постояиио растет. Оиа прииимала от иего в подарок разиые мелочи: киигу, сладости для детей. Оиа, избегавшая других посетителей, разговаривала с Шарлем в присутствии одиой только Мари-Поль, а то и вовсе без свидетелей. Допускала его к своему прошлому, к своей виутренией жизин. Надеялась иа иего. На диях, поддавшись виезапиому помутиеиию рассудка, взывала к иему о помощи. Поступала бы оиа так, еслн бы тайиое, позориое влечеиие ие пустило в ией свои корни? Ведь н Пуаро так расценил ее действия, раз отважился иа подобную выходку. Элнзабет ие зиает точио, что ои сказал, ио ясио вндит, с какой страстиостью он к ией подступает. Коиечио же я его провоцнровала. После стольких лет Шарль бы не посмел, если бы ие почувствовал... Выходит, я так долго грешила, ие отдавая себе в этом отчета? Оиа глядит иа Пуаро, и ее тревога, угрызения совестн все усиливаются. Для Элнзабет вопрос чести — исследовать свое сердце в поисках самого зародыша греха, любви. «В этот день... или в тот...» Оиа восстаиавливает в памяти все событня своей жизии, связаиные с Шарлем. Потом бежит нсповедоваться.

После исповеди оиа на какое-то время обретает относительиый покой. Я не буду больше его видеть. Откажу от дома. Как только иайду подходящий монастырь, заточу себя в нем вместе с дочерьмн, искуплю виму.

Элизабет преувеличивает грех, преувеличивает опасность, подобно тому как Пуаро их преуменьшает. Кто из них двоих уже любит, кто любит больше? Трудно сказать. Однако любовь уже разверзлась пропастью между ними. Элизабет, более проницательная, старается ее избежать, Пуаро же устремляется вперед с закрытыми глазами. Так или иначе, но тут отнюдь не брак по расчету между двумя молодыми свободными людьми, тут любовь особого рода.

Элизабет, без сомнения, была к ней предрасположена. Благодаря матери она составила понятие о любви как о чем-то жестоком, страстном, но все же притягательном. Встреть Элизабет любовь в другом обличье, она бы ее не признала. Очень характерно, что впервые она соотносит образ Шарля с любовью в тот момент, когда тот причиняет ей боль. Что же касается Пуаро, еще подростком, сыном лавочника, приложившего все усилия, чтобы вырваться из своей среды единственно благодаря усердной учебе, желанию выбиться в люди (соскрести с себя оболочку, которая выдавала и унижала его), Пуаро, тщательно обдумывавшего свои услуги, свои планы, каждое свое слово, дабы сделаться необходимым высшему свету Нанси, предмету его домоганий, погруженного в работу тридцатипятилетнего человека, безразличного к вере, а то и вовсе неверующего, то его столь странное влечение коренилось в презрении.

Если, занимаясь ремеслом, которое обычно почитается благородным, имеют в виду какую-нибудь пользу для себя, то нельзя при этом избежать определенной раздвоенности. Прибегает ли человек удобства ради к лицемерию или напяливает маску циника, ему бывает очень непросто распознать действительное положение вещей. Ударившись в цинизм, Шарль стал жертвой оптического обмана: будучи честолюбивым, он с презрением отнесся не только к средствам удовлетворения своего честолюбия, но и к самой цели. Он по-прежнему

прилагал усилия, чтобы занять в городе высокое положеиие, но желать его не желал. Пуаро хотел, чтобы ему воздали по справедливости, чтобы вполие конкретиые людн призиалн его достоинства, но сам он, едва сблизившись с этими людьми, переставал нх уважать. Каждый новый этап его возвышения сопровождало разочароваиие, и суровостью, которую в иачале своей карьеры Пуаро иапускал на себя, как ему представлялось, из корысти, ои иачал по-настоящему дорожить как почтн еднвственеиым, что оказалось истиииым. Так Пуаро, считавший себя человеком самым что ни иа есть рассудочиым, приучился отказывать себе, довольствоваться малым, и, если бы презреине ие парализовало его волю, он был бы способеи обратиться к духовной жнзни.

Презирая другнх, ои был холодеи и брюзглнв даже с теми, кого пользовал из милосердия и бесплатио, и не ожидал от инх ничего, кроме неблагодарностн, которую, страшась, сам же порождал. Презирая себя, он постепенио стаиовился все равнодушиее к окружающим н все больше времени уделял своим трудам, ие ставя, однако, это себе в заслугу. Работая без радости, не внимая собственным мыслям, он полагал, что хлопочет нсключительио из любопытства, оставшегося его еднственной страстью, из иаполовиину утраченного честолюбия, которое пнтает добрая слава. Он думал, что заинтересовался Элизабет нз-за влияния, которое она оказывала на людей, а потом из обыкновенной врачебной любознательиостн. Да он просто ничего больше не думал. Пуаро ие мог обходнться без встреч с Элизабет, но остерегался прнзнаваться себе в этом, докапываться до прнчины, так как ничто нх встречам не препятствовало. И когда прн нем ей стало дурно, Шарль, едва отдав себе отчет в чувствах, которые Элизабет ему внушала, тут же поторопился от иих отмахиуться. Он нспугался. Мечты о мещанском счастье, об уюте, о влиянии в обществе лишь служили оправданием. Его так мало влекло

все это! Впрочем, он воздержнвался от внзитов к Элнзабет, ждал, как н она, скованный, подобно всем тем, кто открыт такой же любвн, безошнбочным предчувствнем, что всякая иадежда на счастье уже перекрыта их чрезмернымн пережнваниямн.

Элизабет занедужнла. Жар, слабость, боли, непомерная усталость, когда встаешь, двнгаешься, думаешь. Исповедь облегчнла страдання ненадолго; уже на восьмой день ей пршшло в голову: «А еслн мне легче оттого, что мие прнятно с ннм разговарнвать?» С ннм — это уже не с доктором Пуаро, готовым протянуть руку помощи, ие с Шарлем, заботлнвым другом, чье прнсутствне ей так желанно, а с иепонятным, страшным, обольстнтельиым существом, прнносящим с собой нскушение, грех, любовь. Элнзабет теперь боялась сделать шаг. Она плакала в одиночестве по иочам, бледная, умнротворенная, и тут же упрекала себя за то, что находнт радость в слезах, в оплакнванни Шарля. Она отказывала себе в еде, чтобы тело не возбуждало в ней греховных помыслов, ио прн этом настолько слабела, что начннала опасаться, ие прнзовут ли в итоге ее домашнне, обеспокоенные болезиью Элизабет, врача. Тогда за пернодом безразличия ко всему следовало лнхорадочное возбужденне. Элизабет пыталась подияться, ио у иее ннчего не выходило, и оиа с иемым ужасом снова падала на кровать. По городу разиесся слух, что она очеиь больна, и Шарль явился по собствеиному почниу.

Так была лн оиа больна? И нуждалась лн в лечеинн? Болезиь на какое-то время дала нм передышку. Под балдахнном кроватн онн говорнли шепотом о делах обычных, как если бы боялнсь кого-то или что-то разбудить.

— Таблеткн у вас еще остались?

— Не думаю, что они очеиь мне помогают.

— Вам следовало бы сначала успокоиться...

— Мие уже гораздо лучше.

— Постарайтесь вечером съесть что-иибудь: бульон, слнвки.

— Я постараюсь...

Если бы этот покой мог продлиться! Легкое прикосновение руки, возможно, заменяло им близость, душевное согласие. Передышка наложила на обоих свой отпечаток, это были последние минуты их дружбы, их взаимного уважения; они глядели друг на друга в последний раз, прежде чем отдаться любви. «Как я могла подумать...— спрашивала себя Элизабет.— Шарль вовсе не такой страшный, каким я себе его представляла. Я сошла с ума...» Она протягивала ему руку, казалось, ничего больше не желая, ни к чему не стремясь.

— Завтра я попробую встать с постели, спуститься в сад. Погода, по-моему, хорошая.

— Погода прекрасная.

Счастливый, он забывал о своих намерениях, неестественность которых теперь бросалась ему в глаза. «Зачем желать чего-то еще, если я могу видеть Элизабет, беседовать с ней? Зачем обременять себя женой, хозяйством?» Чувствуя себя счастливыми, они полагали, что любят друг друга меньше или совсем не любят.

— Вы завтра придете?

— Разумеется.

Они никак не могли расстаться. Шарль раз десять порывался уйти. Опускался вечер. Элизабет сморил сон. Шарль остался сидеть у изголовья — так, без всякой цели. Здесь ему было хорошо, он глядел на нее, как будто видел последний раз в жизни, глядел на прекрасное смуглое лицо, длинные ресницы, придававшие ее взгляду некоторую таинственность, неподвижные тонкие руки. Прошло сколько-то времени (сколько минут, сколько часов?), и вошла Марта.

— Господи Иисусе! — воскликнула она.— Вы еще здесь, доктор?

Внезапно проснулась Элизабет. Пуаро не знал, как оправдаться.

— Я наблюдал за ее сном.

Потом он откланялся. Кладя поднос, салфетку, поднося ко рту хозяйки ложку с бульоном, Марта говорила:

— Ну и странный у нас доктор! Хотя все они одинаковые! Надо же, наблюдал за вами! Больше часа. Вечером. Что подумают люди! А ведь все и так меня спрашивают, когда мадам снова выйдет замуж и за кого. Дело не в том, что могут предположить...

Она говорила без умолку, весело и без всякой задней мысли. Марта надеялась развлечь Элизабет, рассмешить ее, но больная не смогла даже доесть бульон. Назавтра жар сделался еще сильнее. Было уже не до нарциссов в саду. Марта побежала к доктору. Когда он пришел, Элизабет бредила вовсю, она шептала имя Шарля, но его самого Элизабет не узнала. Она лежала без сознания, с красными щеками, и бессвязная речь свидетельствовала о том, как она мучается. Пуаро слышал, как она с пылом, с нежностью повторяет его имя. Он начинает постигать природу ее болезни: Элизабет страдала, упрекая себя в прелюбодеянии, которое она допустила в помышлении, бессознательно (правильнее было бы сказать, в прелюбодеянии задним числом, так как Элизабет заново переживала, преображала прошлое, которому в своем бреду возвращала жизнь). Пуаро смекнул, что Элизабет его любит и думает, что всегда любила. Все перевернулось.

Значит, Элизабет его любила, любила уже много лет. У Пуаро этого и в мыслях не было, он вовремя не догадался. Теперь же его вдруг озарило. Стоя перед зеркалом, Шарль разглядывал свое угрюмое лицо, впалые глаза, кустистые брови: «Ей нравится это лицо». На ходу разгибая спину, разглядывал свои здоровенные руки: «И этого человека она любит». Пуаро так занимала внезапно открывшаяся любовь, что даже вид ее страданий не волновал его душу.

Шарль больше радовался давним воспоминаниям, чем предвкушал новые услады. Он проецировал на прошлое

свое теперешнее открытне — то, что онн друг друга любили. К радостн примешивалось сожалеине о том, что он не уразумел, не почувствовал этого раньше. Не то чтобы он желал переннaчить свон скромиые воспомниаиия, но как бывает с кннгой, которую вам дают почитать н вы, рассеяиио перелистав, возвращаете ее хозяину, а потом оказывается, что вы держалн в руках ннкому пока не ведомый шедевр, н вам становнтся жаль, что вы не отиеслнсь к иему с вниманием, так н Пуаро хотелось заиово пережить н тот день, когда Элизабет впервые иазвала его по именн, н тот другой, когда она с такой кротостью упрекнула его в восьмидневиом отсутствни, н тот третнй... «Как же я не распознал?» — простодушио спрашивал он себя. Заново пережнть эти мгновения, иичего не меияя, но насладиться ими во всей нх полноте, зная теперь о любвн Элизабет,— вот о чем мечтал Пуаро.

Шарль слишком любил теперь Элизабет, чтобы ее жалеть. Ведь это нз-за иего у Элизабет такой сильный жар, такие частые кошмары, такие ужасиые судороги, нмн ои мерил глубиину, силу ее любви и был как бы зачароваи ее страдаиниямн. Ои выходит, вылечит Элизабет, женится иа ией. Но до этого он какое-то время иасладится вызваиным им страхом, которому лишь ои может положить коиец. «Какие детские сомиеиия»,— думал Шарль. Он безрассудио радовался, что ему есть что преодолевать. Ему представился случай оцеиить силу любви, иатолкнувшейся иа такие препоны. Успокоить ее, вылечнть? Шарль откладывал это назавтра. Куда делось его всегдашиее сострадание? И куда делась благородиая бесхитростная доверчнвость Элизабет, стенавшей, замыкавшей себя в беспокойиое мучнтельиое безмолвие больного ребенка?

Шарль не отходил от Элизабет, следнл за ее мучеииямн. Ои говорнл: «Но, Элнзабет, мы только н делаем, что смотрим друг на друга», и, когда слышал в ответ:

«И это уже немало», его одолевала жгучая радость, но радость не от любви, а от сознания своей власти. Мало-помалу эта радость мешалась с любовью, заражала, пожирала ее. Чем сильнее Элизабет страдала, тем больше от него зависела. Но скоро — завтра — Элизабет ему уступит и перестанет мучиться и зависеть от него, тогда останется только любовь, расписывал себе Пуаро. Но чего тогда ждать? Он и сам не знал, лишь ждал, и ожидание доставляло ему радость. Он следил за Элизабет, проявляя свою власть, прежде чем признать власть ее. «Завтра», говорил себе. Может, Пуаро попросту боялся.

Элизабет же терзалась угрызениями совести. Внешнее спокойствие Шарля, бессвязность его сдержанной речи, которая как бы не доходила до нее, никогда не сцепляясь с тем, что говорила она, и успокаивали, и тяготили Элизабет. «Мы поженимся, и я исцелю вас. Все очень просто»,— говорил Пуаро, и когда она кричала «нет!», он видел, что Элизабет жаждет большего. Она искренне верила ему. Да, все было бы на самом деле просто, не будь этого головокружения, влечения, чудовищного искушения. «Как бы я его полюбила, не люби я его раньше!» Без любви она охотно вышла бы за него замуж. Но осквернить алтарь, поддавшись порыву, осквернить отречением... Да как такое может прийти в голову?

Шарль видел: между ними что-то стоит, но не понимал что. Еще яснее он видел, с какой силой, бессознательно ее влечет к нему. У Пуаро кружилась голова; он словно терял рассудок, не догадываясь, где истоки того счастья, которое уже развеялось. Он глядел словно зачарованный, не отваживаясь протянуть руку, вздохнуть, не двигаясь с места; внешне он был спокоен, но внутреннее напряжение давало о себе знать. Броситься в эту реку, погибнуть? «Завтра». Он чувствовал, что проиграл, но не брал в толк каким образом. «Завтра». И вот однажды он сказал себе: «Сегодня».

Но что «сегодня»? Признаться в своей любви? Сделать ей предложение? Он уже не раз делал предложение Элизабет, но как бы через силу, и взор Элизабет мертвел. Обнять ее, овладеть ею. Но разве и этого он уже не испытал?

«Овладеть» — у этого слова много значений. Чуть-чуть неистовства, вдосталь любви, небо и ад, хитрость и самопожертвование. Теперь появилось более грубое слово — «поиметь»; по правде сказать, если женщина не отдается сама без остатка, а этого добиться от нее не так просто, как кажется на первый взгляд, поиметь женщину, овладеть ею означает в какой-то степени отобрать женщину у нее же. И если женщина сама не отказывается от себя, чтобы вновь обрести себя уже владычицей, она теряет свободу. Вот и молчащая в растерянности Элизабет не свободна. Однако Шарль так устроен, как, впрочем, большинство мужчин, что победа (нет победы там, где тебе преподносят добровольный дар) поднимает его в его же глазах. Препятствие, которое, как Пуаро кажется, он преодолел, еще больше распаляет его. Подумать только, он — некрасивый бедный простолюдин, а превозмог предрассудок, колебания Элизабет, ее стыдливость. Чем больше Шарль переоценивает ее смирение, чем больше превозносит Элизабет, ее красоту, благородство, благочестие, тем больше, питаясь собой, возрастает в нем эта сила. Временами он будет страшиться этой силы, временами она будет его изнурять, и таким образом пройдет он все мучительные этапы той любви, которую воспевали в Лангедоке поэты-катары. Все это, однако, еще впереди. Овладев ее волей, он решит и сам немного поддаться, полагая, что и этого достанет с лихвой, как будто в таких вещах возможно самоограничение, возможна мера.

— Она ушла,— сказала Марта.

— Ушла, в таком состоянии?

— Чего я только не делала, чтобы помешать, уж

поверьте! Но без толку. Она хотела во что бы то ни стало пойти в часовню. Думает, это единственное, что может ее спасти. На ней лица не было. Меня она просто умоляла. А что бы вы сделали на моем месте? И потом, Господь способен сотворить чудо. Помните, мсье, как с утра моросило? А стоило ей выйти из дома, как солнышко выглянуло, радуга в небе появилась. О, хозяйка не такая, как все, на ней почиет благодать Божия, клянусь, иногда я не успею и рта открыть, а она уже прочитала мои мысли. Не далее как вчера садовник говорил, что некоторые растения, которые нигде в Нанси не растут из-за морозов, здесь, в нашем саду — а ведь мы лишних расходов себе не позволяем, мы небогаты — вытягиваются за милую душу. Вы не думаете, что это чудо...

— Нельзя, Марта, вот так, с бухты-барахты, все валить на чудеса,— возразил Шарль.— Ладно, я зайду завтра.

Однако и назавтра он Элизабет не застал. Пойманная рыба забилась в верше. Три дня спустя у одной старой святоши, своей пациентки, Шарль слышит:

— В результате Элизабет Дюбуа не выйдет замуж ни за Бюффе, ни за председателя суда.

— Разумеется.

— Ах, доктор, вы уже в курсе?

— В курсе чего?

Старуха опирается на подушку, предвкушая впечатление, делает паузу и выдает наконец свой рассказ. Итак, нетвердой походкой Элизабет вместе с подругами направилась в часовню. Видя, как она слаба, то одна из подруг, то другая в тревоге заводила разговор о замужестве, чтобы ее дети не остались без покровителя, если вдруг... Элизабет вскрикнула, побледнела... Что вдруг? Бог будет ее детям вместо отца! И войдя в часовню, в самозабвении, словно стряхнув с себя слабость, она бросилась прямо к алтарю и в присутствии пяти-шести

дам (в том числе старухи Бюффе, прочившей Элизабет сыиу в жеиы) ясным голосом произнесла обет блюсти целомудрие до коица дией. В эту миiуту Элизабет походила иа аигела, иа обратиом пути оиа уже разрумяиилась, в глазах появилась живинка. Может, и спасет ее богородица... Чудо в Нанси... Говорят, в триiадцать лет оиа уже хотела посвятить себя Богу, но родители заставили ее выйти замуж за старика, из-за деиег... Есть ли у иее иа теле стигматы, доктор?

Оиа поиизила голос, совсем как Марта. Любопытио, как вокруг Элизабет образовывалась особая атмосфера, тревожиая и волшебиая одиовремеиио.

— Говорят, в Ремирмоие в монастыре ее место осталось помечеио зиаком? И ее родители больше ни с кем не видятся, как если бы иад иими тяготело проклятие.

С тех пор как Элизабет овдовела, в Нанси все дышащие на ладаи старухи присматривают, следят за иею в иадежде иа какой-иибудь иарочитый поступок, откровеиие, потрясение. Теперь вот стигматы!

— Мадам Элизабет здоровее вас,— иеожидаиио рассердился Шарль.— У иее всего лишь маточиая болезнь *. Оиа ие в чуде иуждается, а в хорошем муже. Оиа молодая вдова, ие забывайте.

Старуха испускает крик, оиа в восторге, ио слегка шокироваиа.

— Вы так полагаете, доктор? Вы действительио так думаете? У мадам Дюбуа только... А ведь я тоже, зиаете, овдовела очеиь раио, ио иикогда... И потом, этот обет.

— Болезиеииое возбуждение,— процедил сквозь зубы Шарль.— Это иичего ие зиачит, абсолютио иичего.

И Пуаро отклаиивается, оставляя старую жеищину с ее ломотой в костях, с ее сожалениями, четками. Одиако ему ие дают покоя с этой историей, и его злоба растет

* Классический тип истерии.

по мере того, как он снова и снова слышит рассказ об обете, который дала Элизабет, и этот рассказ расцвечивается чудесными подробностями: то голубь опускается на плечо молодой женщины при выходе из часовни, то за несколько дней до этого события Элизабет увидела сон, где ангел упрекнул ее в том, что она изменила своему давнему призванию, то из Ремирмона пришел слух, будто ее мать, наказанная за жестокость, чуть ли не обезумела, а отцу являются по ночам злобные бесы. Все так явно приносят Элизабет в жертву своему желанию увидеть сногшибательное представление, некое таинство с торжественной заключительной сценой, что к гневу Пуаро примешивается сильное опасение. Он тоже хочет принести ее в жертву, и пусть она сгорает перед его глазами (он говорит себе «пусть сгорает», не отдавая себе отчета в трагическом значении, которое может иметь это слово), но не хочет, чтобы Элизабет у него украли или чтобы она сама ускользнула от него. Зрелища ее любви было до сих пор ему достаточно. Однако если попытаются ее похитить, он не будет сидеть сложа руки. Он мчится к Элизабет, но его не принимают.

— Но почему? Почему же?

— Ума не приложу,— недоумевает добрейшая Марта.— Мадам Элн так вам доверяет. Однако понять ее трудно, порой ей нравится растравлять рану. Может, дав обет, она не хочет больше видеть никого из мужчин?

— Обет! Безумие какое-то!

— С детства, мсье, она не такая, как другие,— нравоучительно произносит Марта,— ни вам, ни мне никогда этого не понять. Она, знаете ли, слишком хороша для нашего мира.

Слишком хороша для вас, слышит Пуаро. Но она принадлежала ему, терзалась, стремясь ему принадлежать, хотя он и пальцем для этого не пошевелил. Неужели она теперь думает что-нибудь изменить бессмысленным

обетом, отказом его приннмать? Неужели она думает, что сможет вынестн его отсутствне нлн хотя бы отсутствне страдання?

— Ладно. Передайте ей, что я больше не прнду.

Через два дня на третнй Элизабет посылает за доктором. Ей еще хуже, чем обычно, судороги, необъяснимые болн прнковалн Элизабет к постели. Однако она тщетно ждет Пуаро. Дом его пуст. Этнм утром Шарль верхом отправнлся в Ремнрмон.

Решение внезапное, которое он сам себе не в состояннн объяснить. Два дня, проведенных в страшных мучениях, в ярости н уннженни, н потом как снег на голову эта отлучка. Ему надо понять, удостовериться. И еслн надо будет пострадать, он выпьет чашу до дна, препарнрует боль, найдет в ней наслаждение. Пуаро прнводит в отчаянне, он не может вынестн, что Элизабет любит его н презнрает достаточно, чтобы дать такой безумный обет. Что заставляет Элизабет стыдиться своей любвн: его скромное происхождение, бедность нли какие-ннбудь черты его натуры? Отвращенне должно быть очень сильным, а любовь безудержной, чтобы Элизабет, всегда такая сдержанная, прибегнула к столь искусственному прнему. По крайней мере, у него есть жестокое утешение — знать, что Элнзабет нзводнт себя. «Я больше не прнду». Да, он не придет, у него хватит характера, ведь Шарль знает, как снльно она терзается. Однако Шарль должен понять Элизабет, а где он лучше докопается до сутн, чем в местах ее детства? Шарль отправнлся в Ремнрмон без определенной целн. Впрочем, Ремнрмон недалеко.

Прнбывает он туда рано утром, лавкн еще закрыты, свежо; в мрачной, пахнущей затхлостью харчевне пьют три кучера, во дворе бьют копытами землю лошади, меланхолично позвякнвают бубенцы, народу на улнце мало — старая святоша, девчушкн нз приюта. Пуаро заходнт в харчевню, саднтся чуть в стороне. Его лошадь

стонт прнвязаииая во дворе. Пуаро заказывает себе выпнть. Сумка с лекарствами и иструмеитами прн нем: не то чтобы ои собнрается врачевать в Ремирмоие, ио докторам иногда больше доверяют. Его тотчас спрашивают, откуда ои и куда направляется. Машииальио Пуаро называют фамнлию Ранфеиов: мол, собирается их иавестнть. Все удивлению восклицают: Ранфеины ведут такую замкиутую жнзиь. Их больше ннкто не видит. Разве что мужа по вечерам в дешевых кабачках. Что же касается жены, то иекоторые даже сомневаются, ие померла ли она часом, да не нссохла ли в стеииом шкафу нли в подполе. Впрочем, сетовать ие стоит. Люди не особо примечательиые. Ннкто ие зиает, чем оии там заиимаются за закрытыми ставиями. Надо сказать, оиа всегда была с причудами. Например, заиавешивала окиа в комнате у малышкн, чтобы там было темио, и говорила, что делает это ради ее здоровья. Вот вы врач, скажите, разве ребеику (а девочке тогда было четыре — шесть лет) полезио жнть в темиоте, в удушающей жаре, ие имея даже с кем отвести душу,— когда девочка по случаю выходила иа улицу, то сжимала губки, и было видно, как она бонтся. Возможио, уже тогда у иих зародилась мысль извлечь барыш, сбыть дочку подороже, ведь малышка всегда была красивой. Шарль ие раз слышал этот рассказ: про сжатые губки девочкн, про ее красоту. Вырисовывался образ малеиькой Элизабет с упрямым выражеиием иа лице, которую ои бы полюбил н которую уже любил. В моиастыре, казалось, ее обожали. Аигел. Порой немного застенчивая н молчалнвая. Неуднвнтельио прн той жнзнн, которую ее заставлялн вестн. И при всем том аигел. Говорили, одиажды оиа упала с большой высоты, и аигелы подхватилн ее, так что она даже ие ушиблась. Говорили еще, что, когда ребеиок просился в моиастырь, старую иастоятельницу посетнло вндеине: Элизабет появилась в терновом кусте, озиачавшем, что, прежде чем сподобиться небесиого венца,

ей предстоит пройтн через велнкое множество земных испытаний; рассказывалн даже, что на смертном одре настоятельннца прошептала: «Элнзабет! Трижды святая!»

Эта легендарная девочка, этот мифический единорог словно шествовал перед ннм по городским улочкам. Пуаро размышлял: девочка, которую подвергают издевательствам, обращается к вере, предпочитая моиастырь суровостям родительского дома,— есть ли что баиальиее? Заурядные люди так падки иа сомнительиые чудеса. Однако Эли — что бы об этом ни думать — ие была ии заурядной, ни недалекой. Почему же с детства выкристаллизовывались в ней эта тяга к фантастическому, эти химеры, грезы? И Пуаро приходил в негодоваиие. Так зачем ои, собствеиио, явился в Ремирмои? Что иадеялся обиаружить в моиастыре, где прошло детство удивительной маленькой девочки?

— Она сама прыгиула,— говорила Аииа из коигрегации младенца Христа, и ее широкоскулое детское лицо оживлялось.— Клянусь, она сама прыгнула. Что-то в ее глазах пугало. В ией, такой красивой и доброй, что-то пугало, пугало *ее саму*. Может, ее же доброта? Не знаю. Как, по-вашему, мсье, доброты можно бояться?

— Она лншь выполнила свой долг,— сказала новая настоятельница.— Поняла, что призвание, которое зиждется на бунте,— не прнзваиие. Элизабет нзбрала безвестиое страдание и правильно сделала. Не сомневаюсь, в душе у нее царит мир, не то что у ее родителей. Посмотреть только, что с ними стало.

Улыбка в уголках губ, одержана маленькая победа — новая настоятельница мать Агнес уверена, что правда на ее стороне. Не нужно прибегать к силе, ие иужно никого принуждать. Мы всегда будем брать верх, и на земле, и на небе. Прямая, с сединой в волосах, розовощекая, красивые глаза немного косят, а под кисеей угадывается высокая тугая грудь. Мать Агнес в самом расцвете снл.

— Разумеется, все мы надеемся, что она к нам вернется. Но последнее слово за Господом.

«Вот женщина, которая пришлась бы мне по душе,— немного пригорюнившись, думает Шарль.— Какая энергия, какая уверенность». Как далеко он, однако, отошел от женщин, которые были в его вкусе. Так далеко, что Шарлю даже сделалось жутко. «Вы не думаете, мсье, что можно бояться любви?» — сказала бы сестра Анна, трогательная в своем уродстве.

Нет, он не отступит перед черным домом, прекрасным каменным строением, в котором, однако, чувствуется запустение, упадок: дребезжит ставень, дикий виноград не подрезан. И все же Пуаро колеблется. Что он боится узнать, и не ребяческий ли это страх? Потускневшие обои, пыль — типичная провинциальная гостиная, вовсе не выглядевшая зловеще. Клавесин, по стенам генуэзский бархат, небольшая комнатка со всякими диковинками, старыми духовными книгами, которые, судя по всему, долго не открывали. Это собрание старых вещей наводило тоску, как будто в комнате долго пребывал больной, который в конце концов опочил, и это вещи самые его дорогие: молитвенник, непритязательная картинка: четвертованный святой с улыбкой на устах, висящие на стене костяные четки; они постепенно блекнут из-за того, что никто на них не смотрит, никто не берет их в руки, разве что с пренебрежением, и мертвый в результате умирает уже без остатка, и самый дух его обращается в прах. Шарлю кажется, что тоска бросает отсвет и на образ девочки; тот слегка бледнеет. Суждено ли ему рассеяться совсем? Поток слов, радушных и бурных, не поколебал застоявшегося, чуть мутного воздуха гостиной с занавешенными зеркалами.

— Неблагодарный, упрямый ребенок. Она доводила нас до белого каления. Представьте себе только: ей, ребенку, удалось внести разлад в нашу с женой семейную жизнь. Знаю, вам наговорят, какая она была тихая,

какой у нее был добрый нрав. Не нрав, а норов, не при веди Господь. Моя жена (он смакует, произнося «моя жена», он опомниться до сих пор не может, что сумел в конечном итоге сломить, побороть эту женщину, подчинить себе, овладеть ею во всех отношениях), моя жена долго давала себя провести, девочка ее словно околдовала. Она строила из себя мученицу, в монастыре святого Андрея все меня считали чудовищем. Даже не раскрывая рта, она возбуждала толки везде, где появлялась. Взять хоть историю с призванием, она ее выдумала, чтобы угодить настоятельнице. Той теперь нет в живых, уже в ту пору, надо сказать, настоятельница была дряхлой старухой, и это ее извиняет. Весь город был взбудоражен, весь город. Из-за этой истории нас до сих пор избегают. Но мы поступили наилучшим образом, теперь у нее прекрасные дети, она вдова, свободный человек, у нее небольшое состояние. И хотя бы слово благодарности. Мы сейчас и не видимся... Ну что ж, тем хуже. В Нанси у нее, конечно, есть приверженцы, раз вы к нам явились.

И утомленный колосс рухнул в кресло; добрый малый с зычным голосом, славный человек, простой провинциальный дворянин, мужчина, насмешничающий над бабьими сказками,— однако все это так явно, так легко обращается в ничто, что Шарлю донельзя неловко. Вот они оба сидят перед ним, и каждый тщится быть. Ярмарочный силач, черноглазый, весь из мышц, светящийся животной тревогой, и его жена, чье серое строгое платье контрастирует с мутным взглядом, выдающим в ней соучастницу мужа. У нее неясный выговор, за которым она уже не следит, так что сам голос кажется каким-то прелым.

— Мы хотим лишь одного: чтобы Элизабет хорошо устроилась в жизни,— тихо сказала она.— Мы всегда только этого и хотели. А нас еще упрекают? Неужели нам следовало пойти на поводу у ребенка с его химерами? Она, может, всю жизнь потом нам бы пеняла...

— Надо сказать, моя жена тоже в какой-то степени отдала дань ханжеству,— заметил Льенар де Ранфен.— Я человек понимающий, терпнмый, отнюдь не безбожннк, но женщнны так все преувеличивают, всегда хотят утереть нос другим, хотят завоевать расположеиие священника, да вы, наверное, это знаете по своим больным?

Этакая важная чопорная особа, говорящая вызывающщнм тоном, но с тревогой в голосе, округляет, утяжеляет слова н бросает их, подавляя собеседника... У Клод вырывается почти непристойиый смешок.

— Местные старухи мне так и не простилн, что я поддержала мужа.

Муж и жеиа обмениваются взглядамн. Необычные сообщннки, ненавидят они друг друга, любят ли, Бог его знает. Во всяком случае, повязаиы друг с другом.

— Я действительио воспитывала ее в благочестии. Какая мать... Но я ннкогда не думала... Она бунтовала, монашкн настраивали Элизабет против отца, могла ли я потакать им? Сестры нз обители святого Андрея разбилн немало семей! Я не сразу их раскусила, но муж...

Грубая ручища капитаиа с силой опустнлась на плечо Клод.

— Да, да, понадобился муж, чтобы воззвать к ее здравому смыслу. Клод не могла в это поверннть! Как же, сестры-монашки! Для них всех Элизабет была святая. И что бы она ни делала, все было хорошо. Но женушка в конце концов немиого образумнлась, не так лн?

— Есть вещн, которые способны понять только мужчины,— вставнла Клод де Маньер.

В ее голосе презрение? Или горькое, но н отрадиое сознаиие своей зависимостн? Одиако Ранфену мало, он хочет обнажить все уголки ее кровоточащей души, чтобы она целиком была в его власти.

— И все же всякий вам скажет, что моя жеиа обожала Элизабет.

— Я любила ее, как любая мать должиа любить свою дочь,— жалобио произиесла Клод.

— Вы умаляете себя, дорогая. Вы все сделали для ребеика. Осмелюсь даже сказать, что вы предпочитали его своему супругу...

Как этот увалень стал тоиок за эти годы взаимиого обтачивания!

— Но то, что я ее с тех пор ие видела, доказывает обратиое,— вступила в спор жеиа, делаясь бледиой как полотно.

— Это оиа вас с тех пор ие видела.

Шарль пугается, ои чувствует, что они забыли о его присутствии и доведут теперь свою привычиую словесную дуэль до коица.

— Когда молодая жеищииа выходит замуж, когда она счастлива...— отваживается ои вступить.

Оии в одии голос восклицают,— она с шипеиием в голосе, он виезапио успокоившись:

— О, Элизабет не счастлива!

И тут же замолкают. Им иечего больше сказать. Они этим живут. Несчастьем Элизабет. Отлились ей материиские слезки, да и капитан поквитался теперь с дочерью за былое пренебрежеиие к иему Клод. И для всего города иесчастье Элизабет — иравоучеиие. И все иачииается сызнова.

— Оиа иикогда ие стаиет счастливой.

— Ну а если я иа ней женюсь...— бросает Шарль.

— Оиа ие пойдет за вас.

Пуаро уже отдавал себе в этом отчет, и даже в том, что и сам ои отиюдь ие этого домогался.

— А из-за детей?

— Тогда вы сами будете иесчастливы.

И это Шарль поиимал. Вообще все, что ои здесь услышал, ои знал раиьше. Его, одиако, поражает виезапная безмятежиость иа их недавио столь расстроеиных лицах. Чужое иесчастье, иеизбежиое в жизии, дарует им

облегчение, покой. А может, и избавление? Пуаро выходит на цыпочках, чтобы не мешать их мыслям.

Маленькая Элизабет подвела Шарля к самому порогу тайны: Ремирмон, непривлекательный городишко, только дав ей в свое время приют, уже как бы оказался по ту сторону реальности. Эти колокольчики, эти лица монашек, скорбные или замкнутые, трепет людей, волнение всего вокруг при одном только упоминании имени Элизабет и даже превращение самого Шарля по причине любви к ней из сурового, обстоятельного, себе на уме человека в беспокойное существо, явившееся в Ремирмон словно во сне впитать этот трепет, который значил отныне для него больше, чем даже сама любимая женщина,— все это свидетельствовало об иной реальности, об ином мире, отличном от того, который оставался пока для Шарля единственным.

Скрытая от него до тех пор область жизни вдруг открывалась взору Пуаро. Все приобретало символические черты, становилось обещанием или угрозой. Чудовищная родительская чета, несуразная история, измышленная в харчевне, еще живые страх и сомнение в глазах уродливой сестры-монахини, неприступная торжествующая добродетель прекрасногрудой настоятельницы и даже застывшая поверхность вещей, красные кирпичные стены, тихие сады, лужайки вокруг единственного мощного дерева глицинии, низкие окошки с задернутыми занавесками, облака, развешанное белье — все это было только видимостью. А под ней долгий нежный трепет, который он начал улавливать душой и который теперь всегда будет с ним.

По мере удаления Ремирмон превращался в образ, в картину. Таинственную, подобно тем, что вывешиваются в заброшенных часовнях по обету: коленопреклоненный пахарь вручает богородице колесо, в то время как в углу картины спасается бегством дьявол. Или на них изображена монахиня, окруженная лилиями, среди которых

торчит рог. На секунду от нечего делать задумываешься, в чем там суть, кто этот грешник, кто чудом исцеленный, потом уходишь, и в памяти не остается ничего, кроме какого-нибудь стишка, какого-нибудь пятна, которые связываются скорее с переживанием, чем с определенным воспоминанием. Вот и Шарль покидает Ремирмон, полный теперь для него обаяния, так и не разгадав, что ждет его впереди. Пуаро взволнован, потрясен, тронут, но это чувство слишком сильное, чтобы он мог его спокойно проанализировать, осознать опасность, воспринять предостережение. Гораздо сильнее обыкновенного счастья, на которое он больше не уповает. «Она никогда не будет счастливой. Вы никогда не будете счастливым». Пуаро соглашался с этим пророчеством. Однако оно его не занимает, он и думать о нем не думает. Его надежда тоже оказывается по ту сторону реальности.

В какой-то степени Элизабет черпала покой в своем смирении. «Я мечтала о такой любви, о жестокости, которая слаще ласки. Шарль, разумеется, задумал на мне жениться — честолюбие, искренная привязанность. Мы бы в конце концов поладили, если бы не...» Если бы не эта любовь, не это безумство, в котором она винит только себя. «Я сама его добивалась, призывала, сама выставляла перед ним напоказ свои порочные чувства, зло во мне... срам...» Какое утешение получаешь, принижая свою любовь, сводя ее к телесным страданиям, не затрагивающим души! «Но он разгадал меня, уехал. Я его больше не увижу». Но тут уже сообразительность, самоотречение Элизабет перестает приносить ей утешение. Долгий отчаянный крик рвется из груди, и она все время боится, что не сумеет его сдержать. Элизабет мечется по комнате, прижав обе руки к сердцу, едва сознавая, что делает. Она боится, что ее увидят, заговорят с ней, догадаются, что у нее на душе. Изнемогает, принимая гостей.

«Что, если я выдам себя движением, словом? А вдруг Шарль уже рассказал? Вернется ли он?»

Элизабет казалось, что она страшится его внезапного возвращення, она вскакивала с кровати, раз двадцать подбегала к окну. Однажды вечером Элизабет заприметила знакомую фигуру и у нее зашлось сердце. Виовь Элнзабет овладела радость; не желая ей больше поддаваться, она распахнула окно, и только вид одной нз дочек, пересекавшей сад, помешал ей выброситься иа мощеную дорогу. В слезах Элнзабет рухнула в кресло. Она чуть было не совершнла самый ужасиый грех! Действительно лн она этого *пожелала*? В состояннн ли была обуздать себя? «Где моя сила волн? И как же душа? Неужелн это влеченне, эта позорная любовь и есть я сама?»

И опять восставшее нз небытня жалкое подобие самоотречення утешнло Элнзабет.

Как мог разобраться тут ее нсповединк, если Элизабет так искусно обманывала сама себя? Боясь произнести имя Шарля, она корнла себя за то, что уступила сильным слепым нскушеиням, в которых аббат видел последннй скачок греховной природы перед тем, как Элнзабет последует своему призванию. Распознать этот грех и эту рану можно было бы, лишь проникнув в тайну ее бессоиних иочей, когда Элизабет блуждала в блажеииой тншине, шепча «меня нет... меня нет...», лнць прочитав в глазах умирающего Дюбуа призыв к помощи и, может, иабравшись смелостн, подвигнув Элнзабет иа гнев и ненавнсть вместо этой губительной доброты. Но кто бы иа такое отважнлся? Кто бы понял? Однн только Шарль смутно разлнчнл что-то на дне этого неподвнжного озера, во сне наяву, который не отпускал Элизабет, но он тотчас сам попался в ловушку, и обречен теперь на погибель.

Однако Элнзабет еще сопротивлялась. Через несколько дней после отъезда Шарля она согласнлась на предложеиие знакомых дам отправнться с ннмн в паломннчество на святую гору. Согласнлась, несмотря на сла-

бость, судороги, худобу, надеясь на какое-нибудь чудо. Разве самой призвать чудо — не лучший способ оказаться его свидетельницей? Никто никогда не сомневался, что вокруг Элизабет должны происходить необычайные события. Ее поддержали (святая гора отстояла примерно на пол-лье от Ремирмона) прежде всего из чувства сопереживания, из истинного милосердия, но к нему примешивалось и отношение к Элизабет, как к своего рода искусной вольтижерке, которую спешат увидеть в деле и стараются поддерживать в форме. Вот уж и правда бедняжка-вольтижерка! Элизабет еле стояла на ногах. Несколько опрометчиво исповедник заключил, что пост — наилучшее средство положить конец искушениям, которые преследовали ее подопечную. Для молодой женщины пост стал слишком привычным делом. Бледная, с огромными глазами под черной вуалью, колеблемой ветром, она никогда не выглядела так трогательно. Взбираясь на гору, порой останавливаясь из-за того, что спирало дыхание, она походила на королеву, всходящую на Голгофу. Спутницы не преминули это заметить. Почти все время они молчали, ждали. Какую опасность таит в себе их почтительный требовательный интерес! Элизабет смутно отдавала себе в этом отчет, понимая, что рано или поздно дорого заплатит за то, что была в центре внимания, заслоняла других (она припоминала время своей юности, когда ее призвание было единственной темой разговоров в Ремирмоне). Возгласы сочувствия и восхищения: «Какая она бледная! И до чего смела! Гляньте, она сейчас упадет в обморок, скорее флакон!» — походили на ободряющие слова монашек. Элизабет знала, что всегда оказывалась достойной своей роли. Но хватит ли и сегодня у нее сил удовлетворить окружающих? Вкупе с верой ее поддерживала гордость. Однако на этот раз противник был не в пример сильнее вооружен.

Они уже почти добрались до вершины горы. Погода стояла прекрасная, но было свежо. Самые молодые,

самые веселые нз дам достнглн ее первымн. Издалека слышалнсь нх радостные восклнцання, выкрнкн. Другие шли следом, окружив кольцом Элизабет, держа кто шаль, кто платок, кто флакон с нашатырем: орудня Страстей. На подходе к вершнне Элнзабет показалось, что ветер доносит до нее мужские голоса. Она остановилась.

— Я думала,— сказала она старухе Бюффе, которая поддерживала ее сбоку,— что здесь только женщины.

Мадам Бюффе тоже выразнла недоуменне, но одна нз нх спутннц, помоложе н полегкомысленнее, засмеялась:

— А что страшного, окажнсь тут мужчнны? Онн вас не укусят!

Восхожденне завершнлось в тишине. Даже не разглядев хорошенько небольшую группу мужчнн, оживленно болтавшнх у рощнцы, Элнзабет не сомневалась, что там Шарль. Его голос она бы узнала средн сотен. Элнзабет умолкла, опустнла на глаза вуаль н замерла. Замерли и мыслн. До часовенкн, где служнлн мессу, ее пришлось нестн на руках.

Часовня, цель паломннчества, и обширная рнга, служнвшая паломнкам убежнщем в холодную погоду, увенчнвали вершнну горы. Для высшего света Нансн установнлн стол, зажглн огонь. Как правнло, к благочестнвым намеренням, прнсущнм этой прогулке, частнчно прнмешнвалось и желанне поразвлечься. Газон, две рощнцы, пара-другая скамеек между двумя строеннямн позволялн в хорошую погоду понежнться на солнце. Когда после службы паломннкн вышлн нз часовнн, стол был уж накрыт, дымнлось мясо, слуги откупорнвалн бутылкн, весело пылал огонь. Все предвкушалн праздник. Элнзабет, казалось, немного оправнлась нлн, по крайней мере, делала нечеловеческне уснлня, чтобы убеднть в этом окружающнх. Она со всем усерднем помолнлась, подтвердила свой обет, заклнная деву Марню взять ее под свое покровнтельство. Теперь она старалась не прнвлекать ннчьего внимання, стушеваться. Держась за подругами,

она вошла в ригу одной из последних. Отстояв долгую службу в холодной часовне, все теперь жались к огню. Элизабет к огню не пошла, а села поодаль, за дверью, на табурет, который пододвинул ей слуга.

— Какая вы бледная, Элизабет! Я вижу, что вернулся вовремя.

Элизабет ничего не ответила. Не могла. Шарль тем временем продолжил:

— И похудели! Вот что значит ничего не есть, довольствуясь водой да отварами.

Слова в устах врача обычные, но Элизабет они бросили в дрожь. Она убеждалась в его холодности, даже пренебрежении. Голос Шарля звучал в этот день с мягкой иронией.

— Послушайте,— обратился он к ней, как к ребенку.— Идите посидите рядом со своим врачом.

Элизабет подчинилась, не могла не подчиниться. Она уселась с краю, между явившимся разделить компанию священником, чье присутствие ее слегка успокаивало, и Шарлем. Прошло некоторое время, прежде чем Элизабет посмела поднять на Шарля глаза. Как он изменился! Его прежде суровое, даже насупленное лицо стало оживленным, открытым, и выражение удовлетворенного мужского самолюбия делало его почти красивым. Он участвовал в общей беседе, что случалось с ним нечасто, резал мясо, разливал вино, шутил. Но с какой такой победой он вернулся из Ремирмона? С уверенностью, что их отношения не разрешатся банальным счастьем? Да, и эта уверенность как бы раскована его: не нужно больше прикидываться, гадать на кофейной гуще.

— Вы не думаете, отец мой,— обратился Шарль к священнику, показавшемуся ему человеком сговорчивым,— что мадам не поправится, если будет поститься с таким рвением? У нее три маленькие дочки, и она должна их растить. Да и не грозит ли пост стать препятствием даже для исправления религиозных обязан-

ностей? Поглядите только, в каком она состоянии после этого небольшого восхождення!

И он прн всех положил руку иа плечо Элнзабет, словно утверждая на нее свое право.

— Разумеется,— миролюбиво вторнл священнник,— обсасывая кость,— пост — палка о двух концах, н при некоторых обстоятельствах он вреден. И если, мадам, верующая должна следовать советам своего духовннка, больная должна слушаться врача!

Ои, бедняжка, смеется, ест, даже не подозревая, что пронсходнт у него под носом, думала Элнзабет. Хорошо питаться! Ее пнтало, иасыщало лнцо Шарля, столь часто являвшееся ей во сне. Элизабет переиосила каждое движеинн Шарля — а ои налнвал ей вино, отрезал хлеб — со спокойствием н твердостью, как и иамеки, ласкн, от которых она была ие способиа защититься. И сама эта иеспособность была в эту мииуту для иее отрадой. Шарль осторожно, как если бы помогал ребеику, откииул иазад закрывавшую ее лицо черную вуаль. Элнзабет не сопротивлялась. На губах у нее даже заиграла неясиая улыбка, которую Элизабет не смогла, не попыталась подавнть.

— Вот это правнльно,— поддержал священник.— Теперь, мадам Элизабет, вы иемиого поешьте, подкрепнте силы. Вы ведь не моиахиия, вы мать, и у ваших детишек иикого, кроме вас, нет.

Оиа не слышала священника. Шарль сидел на скамье так близко, плечом касаясь ее плеча, н Элнзабет чувствовала тепло его тела, это тепло одолевало ее, как одолевает сои. Разговор священиинка и врача прнвлек общее винманне. Сндевшне у огня наклоннлнсь вперед, чтобы высказать свое сужденне, н все взгляды снова скрестнлись на Элнзабет. Оии обдавалн ее жаром, все было, как в преследовавших Элнзабет бесконечных кошмарах, где оиа, голая иа глазах у всего возмущенного города, зовет Шарля, ие в силах скрыть, как ои ей нужен. И как во время этих полуснов, полугаллюцинаций

оиа испытывала мучнтельное иаслажденне от того, что раскрылась, разоблачнлась прн всех.

Шарль по-прежиему с властиым вндом держал руку на ее плече.

— Послушайте, съешьте кусочек свиннны, вы сразу почувствуете себя лучше. Это пост вас так нзматывает, заставляет все видеть в чериом цвете.

— Да, да, съешьте, свиниив превосходная,— работая челюстямн, поддержал отец Браун.

Элизабет слышала голоса, онн ее убаюкивалн, лншь тоикая ннть связывала ее с берегом, да н та, казалось, вот-вот оборвется. Шарль взял вилку. Дамы иаклоиилнсь чуть иниже над столом. Он подцепил с тарелкн кусок мяса н поднес к губам Элнзабет. Бог знает почему, установилась тншнна. Элнзабет подняла глаза на Шарля и встретнла его взгляд, которому она так мечтала подчинитьcя. Мясо она съела. Прноткрыла рот, взяла кусок нз его рук, прожевала н с уснлнем проглотила.

— Я чувствовала,— скажет оиа впоследствии,— что ем ие мясо.

Нет, мясо тут было нн при чем, с облегченнем, доселе незнакомым,— напряжеиие во всем ее существе как бы спало,— оиа впитывала в себя любовь мужчины, таящего под внешней холодиостью снлу, чувственность, первозданную днкость,— это была сама жнзиь, и Элнзабет соглашалась утолнть мучнвшнй ее виутреиинй голод, который раньше, не давая себе спуска, не желала даже признавать. Итак, она вкуснла этой пищи.

Для нее — н для него, вернувшегося нз Ремнрмона,— все свершилось в одно мгиовеине. И эта мысль явнлась не нм однным, в то время для многнх мнр прнвычно воспрнннмался через множество символов, соответствнй, проявленнй ума, даже еслн речь шла о самых обычиых, повседневиых вещах. Не одна нз прнсутствовавшнх дам в последующне днн спроснла себя, будет лн выполнеи пресловутый обет, настолько очевидным представлялось,

что во время паломиичества произошло нечто важное. Двум-трем экзальтироваииым юиым особам доктор Пуаро даже присиился во сие, хотя прежде ои и иаяву не заиимал их мыслей. Интерес, который вызывала Элизабет, еще больше обострялся, и всех вокруг охватывало лихорадочиое возбуждеиие. Словио в забытьи возвратилась она в деиь паломничества к себе домой под руку с Шарлем Пуаро.

Проведя спокойную иочь, Элизабет пробудилась в полной увереииости, что события иа святой горе ей присиились, как и миогое другое. Но когда служаика, прииеся бульои, спросила о паломничестве, Элизабет как громом поразило. Неужели вольное поведение Шарля, с которым оиа мирилась чуть ли не с удовольствием перед всем честиым народом, их впивавшие друг друга взгляды, тепло его тела, заставлявшие Элизабет млеть, покорность, безропотность, с которой оиа прииимала пищу из его рук, иеужели все это было на самом деле! Грезы проиикли в действительиость, пропитали ее собой, и Элизабет выдала себя, открыла всем, какое желание ее гложет!

— Этого ие может быть,— бормотала она,— не может быть.

Марта ие поиимала, почему у хозяйки такой растеряиный вид, приписывала его расстройству памяти.

— Вспомните, мадам: святая гора, вы отправились туда вместе с подругами, а обратно вас привел доктор.

Однако Элизабет и так все слишком хорошо помиила.

— Бог меия оставил,— в изиеможеиии вздохиула оиа.

Как раз воспомииаиие о дивиом счастье без каких-либо оговорок и причиияло Элизабет особеииую боль. Счастье иаполиило всю душу без остатка. Исчезла даже теиь сомиения или раскаяния. Это мгиовение (мгновеиие вечиости) оиа прожила без Бога, постигла, что есть жизиь без Бога, и возжаждала ее. Имеиио в это мгиовение она позиала счастье! Могла ли оиа сознаться себе

в этом и устоять? Постыдная картина не давала ей покоя: доктор пичкает ее, как младенца, едой, а она принимает это с улыбкой, выдававшей ее с головой, улыбкой, которую она не смогла подавить. Эта картина, противоречившая всему, что составляло для Элизабет сознательную жизнь, ужасала ее, разрывала на части.

— Этого не может быть,— не унималась она,— Господь бы не допустил...

Возможно ли, чтобы она вдруг потеряла разум и вновь обрела его лишь назавтра? Но если это так, какие бесчинства она могла бы сотворить, позоря дочерей, приводя в негодование весь город? В состоянии крайнего напряжения Элизабет вспомнилась мать, превращение благочестивой Клод в существо, раздираемое страстями, жестокое, в буквальном смысле осатаневшее... Сама возможность такого сравнения, пусть и мимолетного, явилась последним ударом, который высек искру. Элизабет вскочила и, закричав испуганной служанке: «Меня околдовали!»,— рухнула без сознания на свое ложе. Неспособная принять себя всю целиком, в нечеловеческом усилии выжить душа в последнем порыве раздвоилась. Так началось безумие Элизабет, которому суждено было продлиться несколько лет.

Оно началось с временного ослабления болезни, с ощущения покоя. Огромная необозримая равнина утешения. Жажда души, погруженной в прохладную воду, наконец утолена. Подозрительное блаженство. Разбитая Элизабет неожиданно успокаивается, вытягивается под простыней, вздыхает во власти эйфории, посещающей очень больных людей, когда боль на мгновение отпускает. Значит, вот оно что! Теперь понятно! Дьявол, злой дух, сатана. Элизабет кажется, что, только произнеся это имя, она получила избавление. Как и все в то время, Элизабет хорошо знает, что такое дьявол: его присутст-

вие привычно, очевидно. Нет, подкованная, образованная Элизабет не верит, подобно черни, в крошечных бесов, из-за которых свертывается молоко и вянет салат, подобные взгляды, очень, кстати, распространенные, она клеймит как суеверия и отказывается приписывать врагу рода человеческого столь презренные действия. Однако в потрясении всего своего существа, в изменении всего душевного строя, ей кажется, она узнает страшную руку дьявола. Даже самым придирчивым образом разобрав свою жизнь, разве может Элизабет выискать в ней хоть малейшую ошибку, которая была бы способна послужить причиной, объяснением теперешнего ее состояния? А раз нет, значит... К одержимости дьяволом подготавливает гордыня, нашептывающая тебе, что ты достоин его внимания.

Элизабет отдыхает. Чужой суд ее мало трогает, с тех пор как она сама себя признала невиновной. В ней обитает не тщеславие, а гордыня. Элизабет довольно, что она в своих глазах оправдывает покорность, влечение, которые продемонстрировала всему городу. В остальном же пусть ее порицают, подымают на смех, пусть бросают в нее камни, ей это безразлично. Главное то, что она может сказать: «Не я причина всему этому». Притом она вовсе не возлагает ответственности за случившееся на Шарля. На Элизабет набросился дьявол, озлобленный тем, что она связала себя обетом с девой Марией,— в этом все дело. Элизабет готовится выдержать его натиск, проявляя то, что она называет святым смирением. С чем только Элизабет не смирилась, лишь бы не заглядывать в саму себя? Ловушка покоя сработана на славу! Элизабет даже может доставить себе радость подумать о Шарле. Догадался ли он, в каком она была волнении? А если (ну конечно же!) своей нежностью, которую она воспринимала как насилие, Шарль намеревался выказать простую галантность (разве он не просил ее руки?) или действительную заботу о ее здоровье

(оно всегда его очень тревожило)? Испытанное Элизабет волнение, намерение, которое она приписала поступкам Шарля, ее согласие с этими поступками, с этим намерением — все это проделки сатаны, никого больше. Не доказательство ли тому даже ее теперешнее спокойствие? Разоблаченный враг отступает. Кто знает, может, он исчезнет навсегда? Элизабет отдыхает.

Два дня спустя она кажется совсем поправившейся. Верная Марта и старшая дочка Мари-Поль радуются, видя, как Элизабет со спокойной улыбкой на лице встает с постели. Элизабет даже просит принести ей несколько нарядов, колеблется, какой выбрать. Счастливые Марта и Мари-Поль высказывают свое мнение, спорят.

— Зеленое вам идет, мама!

— Однако меховая отделка не по сезону. Лучше, если бы все было как здесь, но воротничок и манжеты кружевные.

— За этим дело не станет,— усердствует Марта.

Сменить отделку — дело пятнадцати минут. Пусть Элизабет немножко потерпит, пока она причешется, платье будет готово. Элизабет улыбается и садится к зеркалу. Мари-Поль подаст булавки. Шиньон с косой, всегда этот шиньон. Элизабет с удовольствием распускает по плечам тяжелые темные волосы.

— Правда, так лучше?

— О да, мама.

Элизабет обнимает Мари-Поль, и та краснеет, не приученная к подобным проявлениям нежности.

— Может, с каждой стороны по тонкой косе, а остальные волосы незакреплены... Или поднять все кверху?

— Лучше две косы,— подхватывает ребенок.

Причесывание занимает битый час, так как Элизабет надумала завить несколько прядей и надо было нагреть щипцы. Марта откладывает платье... снова берет... Наконец все готово, но Элизабет уж больно бледна.

— А если надеть черное платье? Ах нет, я так бледна.

И это правда. Элизабет раздражается и капризиым тоиом, для иее иехарактериым, повторяет одио и то же. Но ни кремов, ни духов в доме иикогда не водилось.

— Может, мие пробежаться в парфюмериую лавку? — робко предлагает Марта.

— Да, и поскорей.

Элизабет примеривает к платью один пояс, другой, ио ничего ей ие нравится. Все утро пошло на одеваиие, подготовку, ио к чему? Результат в конце концов ее удовлетворяет. Несмотря иа болезиь, оиа иикогда ие была так прекрасиа. Длительиые посты даже придали ей таииствеииую прелесть, прозрачиую бледиость, из-за которой в ией проглядывает что-то иеземиое, трогательиое. Наложить ли ей румяиа, за которыми отправилась в лавку Марта?

— Доктор, мадам.

Оиа зиала, что ои придет, ждала.

— Пусть ои подиимется. А вы что стоите? Пойди поиграй, Мари-Поль.

Его шаги. Она всякий раз их узиает. Никакого волиеиия, да и почему оиа должиа волиоваться? Ведь все это игра воображеиия. Я буду с иим проста и весела, как прежде. Объясию ему. Про дьявола, про обет...

— Шарль...

Ои положил ей иа плечо руку. Элизабет пробирает легкая дрожь. Оии глядят друг иа друга.

За окиом моиотоииый звук валька. Кто-то моет в реке белье. Детский смех. Марта без хозяйкииого зова ие явится. Комната, словио магическое яйцо алхимиков, как бы замкиута в скорлупе. Тяжелая обивка, темная мебель заточают их или, может быть, защищают. Лоб Элизабет покрывается мелкими капельками пота.

— Как вы прекрасиы!

Виовь искушеиие, сильиое и простое, как иа столике стакаи с водой, который достаточио осушить залпом до диа, чтобы иикогда больше ие чувствовать жажды.

В миг Элизабет перенеслась из одного мира в другой, как из одной комнаты переходят в другую, прикрывая за собой дверь. Она в состоянии лишь молча смотреть на Шарля в безумной надежде, что он освободит ее наконец от обузы-души и она вновь обретет счастье, посетившее ее накануне, счастье того дня, когда она спрыгнула с невысокой стены монастыря, спасаясь от обожающего взгляда Анны. Скорее же, думала Элизабет, скорее. Однако он стоит и смотрит.

— Вы всегда прекрасны, но сейчас вы другая.

— Другая?

Скорее же! Какая пытка — этот его взгляд, который напоминает Элизабет о том, что она существует, когда она жаждет лишь раствориться, сгинуть.

— Молчите,— вырывается у нее почти грубо. Однако он продолжает с неменьшим напором:

— Почему? Или вы боитесь, что я начну вас упрекать?

— Вы не имеете права...

Ей приходится сделать над собой значительное усилие, чтобы заговорить. Она готова утонуть, исчезнуть, зачем же насильно притягивать ее к поверхности вещей?

— А ваш отказ меня принимать? И этот бессмысленный обет?

Без кровинки в лице Элизабет подошла к нему:

— Шарль!

Он обнял ее. И вокруг них воцарилась тишина. Наконец пропасть, наконец чудесное небытие, где она отринет слишком тягостное бремя, избавится от распаленного тела, от изводившего ее рассудка, передоверит их другому, пусть Шарль взвалит на себя ее ношу! Она устала без конца тащить этот груз, без конца подавлять душевные порывы, устала от бесплодного вымученного благочестия. Сколько раз она мечтала принадлежать целиком Богу и на него переложить этот крест! Послушание и безмолвие монастыря привлекали Элизабет возможностью отказаться от себя самой. Но в мона-

стырь оиа ие попала. Тогда все равио кто, Шарль, любовиик, палач, избавитель возымеет иад ией власть, убьет ее — и придет желаииое освобождеиие. Никакой больше борьбы, иикакого иедоверия. Все будет разом утрачеио. Опасиая любовь преодолеиа ее же избытком. Поругаиа ее же триумфом. Такова Божья воля. Почему Бог ие прииял ее? Отказал в помощи, обрекая иа позор, предавая греху? Собствеииый бунт угиетает, подавляет Элизабет, оиа отшвыривает его, как уродливую химеру, пригревшуюся иа ее груди.

— Я больше ие могу,— вымолвила оиа тихо, еле слышио, ио все-таки вымолвила и села иа кровать, закрыв глаза, прижавшись лбом к Шарлю; пусть все совершится, пусть ои ее побыстрее освободит.

Оии уже почти лежат, глаза у Элизабет по-прежиему закрыты. Все или почти все жеищииы в таких случаях закрывают глаза. Что же беспокоит Шарля?

— Посмотри иа меия, Эли?

Оиа стоиет и еще тесиее прижимается к Шарлю. Одиако глаза по-прежиему закрыты. Ну и что с того? Должио быть, стыдливость, последиее убежище... Какой мужчииа стаиет обращать на это виимаиие, когда жеищииа предает ему свое тело? Одиако Шарль ие в состояиии совладать с глухой злобой, с потребиостью, превышающей потребиость плоти. Ои хочет видеть глаза Элизабет, хочет ее безоговорочиого согласия.

— Элизабет! Посмотри иа меия!

Оиа медлеиио подияла лицо, иаполовииу скрытое под растрепаииыми волосами. Челюсти сжаты, губы посииели, глаза горят, взор иеподвижеи. Элизабет, вцепившаяся в Шарля, напряжена, ее тело словио одеревеиело.

— Поцелуйте меия,— прошептала она.— Скорее!

Голос был чужой. И лицо чужое. Шарль, почувствовав себя задетым, отстранился.

— Почему? — спросил он жестко.— Почему я должеи спешить? Или я должеи воспользоваться минутной

слабостью, минутной прихотью? Разве я палач? Или ты не любишь меня настолько, чтобы обратить на меня свой взор?

— Скорее! — взмолилась Элизабет.

Какая сила все еще сопротивлялась в ней, сила, которую она хотела преодолеть, сломить? Она отказывала Шарлю в том, в чем, готовая заплатить ценой своего тела, отказывала всем и всегда, даже Богу,— отречься от себя она была неспособна. Шарль схватил ее за плечо и встряхнул.

— Скорее! Или я всего лишь средство? Лакей? Или ты думаешь, я хочу от тебя того, что мне может дать любая другая? Я хочу, чтобы ты на меня посмотрела, позвала меня с открытыми глазами, призналась, что любишь.

Элизабет стонала, как больной ребенок, зарывшись искаженным от боли лицом в подушку, не размыкая глаз. Тогда Шарль схватил ее, приподнял и так сдавил руки, что она, вскрикнув от боли, открыла глаза. Перед кроватью все еще стояло большое наклонное зеркало на ножках, которое Элизабет велела принести из передней, когда наряжалась. Она увидела свои распущенные волосы, расстегнутое платье и рядом, на смятой постели, мужчину. Эта картина поразила ее, как пощечина.

Элизабет словно внезапно просыпается. Тяжело вздохнув, она подносит кулаки к вискам, вскакивает и мечется по комнате в поисках выхода, выхода из этого кошмара. Покончить с этой немыслимой, нелепой ситуацией! То же потрясение, какое Элизабет испытала на святой горе, совершилось недопустимое, грезы обрели плоть: наряженная женщина, воплощение греха, сжимавшая мужчину в своих объятиях, завлекавшая его, призывавшая — это она, она!

— Нет,— кричит Элизабет что есть силы.

Она шатается, падает, корчится в жестоких судорогах. Изогнувшись назад, с пеной на губах, она исходит

криком, словно пытаясь нзгнать прочь губнтельиую мысль. Мучаясь головной болью, Элизабет катается по полу, натыкаясь на мебель, иа стены. Смятеине ее бедной нстерзанной души передается судорожио метущемуся телу, которому боль прнноснт успокоенне Прн Марте и Мари-Поль, сбежавшнхся на шум, она пытается выброситься нз окна, но Пуаро ее удержнвает. С губ Элизабет срываются страниые иасмешлнвые слова, нечленораздельные звукн. Оиа вновь кидается на землю, судорожно впнвается ногтямн в обон, сднрает нх, рвет на части, с несказаиным облегченнем давая выход своим чувствам, кусает рукн служанке, врачу, которые порываются ее утихомирить. Шарлю в конце концов удалось заставнть ее проглотить микстуру с большой добавкой опия, уложнть на кровать, где Элнзабет замирает с вытаращенными глазамн, время от временн иервно вздрагнвая. Потом оиа совсем успокаивается, забывается сиом. Комната меж тем больше похожа на поле бнтвы: кругом осколкн фарфоровой посуды, перевернутая мебель, содранные обон.

— Делать нечего, пока оставнм все так,— шепчет потрясенный Шарль.— Я приду завтра.

— Боком выходят мадам его внзиты,— беззлобно комментнрует Марта, когда за доктором захлопывается дверь.— А ведь она почти выздоровела.

Назавтра ои снова у Элнзабет, сиднт у ее нзголовья, ждет, когда у нее прояснитея сознание, когда взгляд станет осмысленным. Пусть Элнзабет предастся ему, пусть начнет умолять, ему доставляет горькое наслажденне ускользать в сторону, отказываться впадать в самообман. Шарль ведет речь человека степенного, речь, пустопорожность которой не укрывается от иего самого.

— Я не хочу вводнть тебя в грех, в грех в твоем поннмании. Прнзнай себя свободной, призиай, что любишь меня, поженнмся нли ие будем скрывать ин от кого свою любовь.

Все это, возможно, правда, однако настойчивое желание помучить ее добавляет жестокости его доводам; сам он в них больше не верит. Отказываясь от тела, Шарль зарится на душу, стремясь овладеть ею любым способом. Пусть Элизабет доверится его здравому смыслу, пусть перестанет сопротивляться; он ведь все равно не отступится. У него нет теперь другой цели, других помыслов. На его глазах, страдая от ужасающего нервного расстройства, Элизабет слабеет с каждым днем, но как ему ее пожалеть, если она обратила против него свое самое крайнее средство, сочтя себя жертвой дьявола?

Некоторые дни Элизабет при смерти, но потом вдруг быстро оправляется от болезни, и вот она уже улыбается, глядя слегка блуждающим взором на окружающих. Иногда навязчивая мысль о ее виновности дает Элизабет передышку: тогда она всецело предается своей безумной страсти, покрывая поцелуями портрет Шарля, лежащий у ее изголовья, потом она затихает, радуясь вновь обретенной невинности. В эти минуты Элизабет принимает Шарля с почти детской нежностью, которая вызывает у него щемящую тоску. Почему он не может устоять перед потребностью навязать свою волю, еще больше разбередить рану?

— Видишь теперь сама, что дьявол тут ни при чем.

У Элизабет сразу после этих слов начинается припадок, она испускает протяжный отчаянный крик, который он воспринимает как отречение от любви, хотя так явственно в нем звучит скорбь. «Я ли тому причиной? Или не я?» Ее крик находит отголосок в его горестной душе: неужели этот утонченный палач, одержимый одной идеей, он?

И неужели это действительно Элизабет, всегда такая гордая, прекрасно владеющая собой, временами истошно кричит, требуя доктора, требуя, чтобы его позвали, и скорее, не то она умрет.

Быстрый приход Шарля притупляет боль, она берет его за руку и разговаривает с ним с такой нежностью, что Шарль тает. Иногда нестерпимая душевная усталость отпускает. Однако, как только он уходит, Элизабет снова впадает в транс, боль отзывается во всем теле, в мышцах, в животе (ее постоянно тошнит), в голове, да так, что она почти перестает видеть. Напрягаясь, тужась, Элизабет старается и телом, и душой вытряхнуть из себя ненавистный образ, образ укоренившегося в ней зла, которое она не желает признавать своим.

Бес гордыни, именно он владеет Элизабет, он так ловко проник в нее, так умело соединился с ее добродетелями, что в простодушии своем Элизабет путает его голос с голосом Бога. Страх, преследующий Элизабет с детства, перед всем, что идет извне, как перед зародышами болезней, так и перед опасностями греха, заставляет ее замкнуться в себе, внушает, что у нее свой путь, прóклятый или благоприятный, но, во всяком случае, особенный, отдельный. Она отмежевывалась от потворства злу, которое каждый из нас в какой-то степени в себе допускает, однако, отказываясь от греха, отказываются и от прощения его, не признавая Господней любви. Принеся жертву, Элизабет отвергла не только свою заслугу, но и самый плод. Отказываясь от Господней любви, она почитала себя смиренной: глубина заблуждения налицо.

Но давали о себе знать призраки и чудища: всею тяжестью давило на сознание Элизабет воскресшее детство. Ей припоминался вечер, когда она заметила, как в полумраке в ее комнату скользнула тень; с громко бьющимся сердцем, крадучись, Элизабет пошла следом и вдруг столкнулась с матерью, выходившей в коридор с «Подражанием Иисусу Христу» в руках, которое она подменила книгой фривольного содержания. На какое-то мгновение они застыли друг перед другом. Материнское лицо выражало вызов и дышало неистовой злобой;

из целомудрия, из сохранившегося пока уважения к матери Элизабет опустила глаза. Она вернулась в свою комнату, села в темноте на кровать, она не молилась. Сидя в одиночестве, в безмолвии, в кромешной тьме, Элизабет не могла даже думать. Со стороны казалось, что ее живое пристальное внимание сосредоточено на Боге, на самом же деле она в упор созерцала зло с отчаянием и отрешенностью, которые не ставила себе в вину. Зло, ясно читаемое на упрямом, неожиданно засветившемся каким-то черным светом лице матери, это зло породила любовь.

С тех пор любовь у Элизабет связывалась со злом, а могла ли она допустить в себе зло? Святая, приняв любовь, могла бы добровольно ею пожертвовать. Элизабет, отвергнув любовь, оказывалась в ее власти.

Образ Шарля так занимал ее мысли, что она, как ей казалось, «была неспособна вместить в себя какой-нибудь другой образ» *. «В этой борьбе,— признавалась она через много лет своему другу-иезуиту,— я сотни раз думала, что потеряю рассудок и жизнь. Одно время, когда он приближался к моему жилищу, боль затихала, когда же я его отсылала, она заметно усиливалась». Можно ли представить себе более искреннее выражение безумной, всеобъемлющей любви? Такая проницательная, когда дело касалось других, в своем случае Элизабет цеплялась за мысль об искушении, о дьявольских кознях. Узнала бы она себя в этой женщине, обезумевшей от страсти, которая умоляла, чтобы привели доктора, кричала, что, не приди он, она умрет, ее рассудок не выдержит? Убежищем служило Элизабет это невольное ослепление, дарившее ей время от времени час-другой удивительного счастья. Шарль также был ослеплен, зачарован видом распластанной больной, ее покорным

* Смотри рассказ о жизни Элизабет, который она много лет спустя поведала отцу д'Аргомба.

телом и сопротивлявшейся душой, ои видел болезиь, видел любовь, но ие видел опасиости. Перед его любовью, иачавшейся с восхищеиия, прошедшей через желание, открывались теперь более широкие горизоиты. Упираясь, Элизабет ввела бы Шарля в соблазн пошлой страсти, ио, предлагая себя и от этого мучаясь, оиа возбуждала в ием жажду иного обладания. Теперь Шарлю казалось малосущественным то, что несколько месяцев назад он счел бы чудом. Неужели Элизабет стала бы принадлежать ему больше, овладей он ею, воспользовавшись очередным приступом болезни?

Элизабет его иенавидит. До умопомрачеиия раздражает Элизабет это упорное домогательство ее любви, желаиие сделать ее виновницей случившегося, желаиие, чтобы оиа укротила свое тело, когда даже страдаиия приносили Элизабет облегчение. Оиа назвала его безбожником, еретиком, отказала от дома — иа три дия, ио иа четвертый опять позвала. Потом, правда, устыдилась своего безволия. Через минуту оиа уже умоляла Марту и Мари-Поль:

— Не слушайте меня. Никогда больше меня ие слушайте. *Это не я говорю.* Приведите скорее аббата Варние!

Побежали за исповедником, который ие видел Элизабет шесть иедель. Расстался он с женщиной, прекрасно собой владевшей, искушения которой объяснял избранничеством, а вернулся к полупомешаиной, которая из-за жестоких болей корчилась в постели и в этот деиь, должио быть, ие желая себя выдавать, выкрикивала ужасные кощуиства. Временами оиа внезапно расслаблялась и без сил вытягивалась иа своем ложе, просила пить, но через миг вновь впадала в транс.

— Да позовите же врача,— в страхе произнес аббат.

Марта состроила недовольную гримасу. Мари-Поль, иесмотря на свой юный возраст, воспротивилась:

— Нет, иет, только ие доктора Пуаро. Ои делает маме больно.

Этот простодушный крик раздался дважды, прежде чем аббат, по совету служанки, послал за старым доктором Пишаром.

Седовласый старец Пишар, благочестивый, целомудренный, ограниченный, верил в дьявола, потому что любил людей. Разве мыслимо себе представить, что созданные по образу и подобию Бога способны на такую жестокость, сластолюбие, скопидомство? Во всех этих ужасах виноват дьявол, виноваты полчища бесов, просочившихся в нашу повседневную жизнь. Любовью к цветам, музыке, чистоте объяснялся постоянный страх светлоглазого старца перед происками искусителей, дьявольских прислужников; сам он никогда не знал женщин и почитал их всех наравне с богоматерью, так что обет его теперешней пациентки, про который Пишар слышал, как и все в городе, показался ему делом вполне естественным.

— Дьявол мстит,— говорит Пишар сразу, как только видит Элизабет полуобнаженной, с пеной на губах, прерывающимся, хриплым, чужим голосом изрыгающей богохульства. Он боязливо укрывает ее одеялом, некоторое время с жалостливым видом, спокойно слушает Элизабет (раз это не человек, господний храм, совершает поступки, а сатана, то чему же тут удивляться или возмущаться?), потом обращается к аббату Варине:

— Это больше по вашей части, отче...

— Пожалуй, так,— потирая руки, согласился аббат,— но я с трудом мог в это поверить, мадам такая славная женщина.

— Тем более,— нравоучительным тоном вымолвил старик доктор,— вы ведь знаете, что самым тяжким испытанием он подвергает лучших.

Мир — полный цветов, лучезарный сад, куда дьявол на горе людям привнес войну и хаос. Бог, однако, возвратит им этот сад в ином мире, думает кроткий старик. Там даже у колдунов, у еретиков спадает с глаз пелена,

и они обретут покой. Уверенный в райском будущем, доктор Пишар уже изобличил и обрек на сожжение несколько человек. Когда болезнь на время отпускает, он берет руку Элизабет и, похлопывая по ней, говорит:

— Мадам Элизабет, деточка, крепитесь! Это не вы, это дьявол заставляет вас делать такие гадости. Мсье аббат поможет вам, а вы успокойтесь, обратитесь к молитве. Давно вы уже в таком состоянии?

— Началось это очень давно,— шепчет и вправду немного успокоенная Элизабет,— но с тех пор было все хуже и хуже, а вот уже месяц с лишним...

— Но кто ее лечит?

— Кажется, доктор Пуаро,— сказал аббат.

— Он все свалит на жар. Хорошо, я займусь мадам, но тут вам прежде всего нужно побеспокоиться, мсье аббат...

— Да,— ответствовал священник, довольный тем, что случай придал ему весу,— завтра я испрошу разрешение на изгнание злых духов.

То ли из-за упоминания об этом обряде, то ли из-за имени Шарля, услышанного ей, но Элизабет вдруг застонала, затряслась.

— Не выходите из комнаты,— распорядился аббат, обращаясь к изрядно перетрухнувшей Марте, ждавшей за дверью.— Один Бог знает, что ей может прийти в голову!

— Лечили ее довольно скверно,— не без некоторого удовлетворения отметил старик (разве не перетянул к себе шедший в гору молодой доктор часть его пациентов?).

— Вот уж сущая правда,— возмущенно вставила Марта,— после его визитов мадам только хуже.

В этот осенний день 1620 года Элизабет *официально* признана одержимой дьяволом.

Тело, сорвавшееся с цепи, наконец свободно! Я могу ему дать спокойно прыгать, извиваться, подвергать себя

настоящим мучениям, пылать, выть, мой нечленораздельный крик достигает детства, очищает от всего, что приходилось сдерживать, обуздывать, от бесплодного страдания, сносимого всегда в безмолвии, но никогда не принимаемого сердцем, от бремени, тяжелого, как свинец; Элизабет бегает, скачет, увертывается от тех, кто пытается ее удержать, ее смешит их смятение, смятение детей. Экая, право, важность! Бог, и тот ничего не значит, все вздор, все нелепица. Элизабет лает, кукарекает, чтобы всех озадачить (всех — родителей, детей, целый мир, доведший ее до безумия). Смеясь, она бьется головой о стену, бьется с каждым разом сильнее: извести тело, что так ее стесняет,— путы же, которыми ее смиряют, только забавляют Элизабет. Назавтра, напротив, чудесной переливчатости воздуха, чудесной свободы движений нет и в помине. Вставая, Элизабет чувствует тяжесть во всех членах, вялость. Ноги не слушаются. Она вся как из камня, того и гляди, рухнет. Паралич медленно достигает бедер, и Элизабет понимает, знает, что он доберется и до мозга, и тогда она целиком погрузится в сине-зеленый омут, который и манит ее, и страшит. Элизабет вдруг кажется, что только Шарль может ее успокоить, спасти. Не дать ей погибнуть. Она кричит, умоляет его привести.

— Лучше я схожу за доктором Пишаром, мадам.

— Нет, нет.

Она хочет видеть Шарля, молит, чтобы его привели, даже если после ей суждено умереть.

— Марта, милая, сходите за ним еще разочек, последний. Потом, если хотите, я буду принимать только доктора Пишара. Марта, я дам вам янтарное ожерелье, все, что пожелаете.

Она говорила, как ребенок, жалобным тоненьким голосом, как ребенок, которым никогда не была.

— Марта, милая, дорогая!

Марта почти плакала. Она уже хотела побежать за

Пуаро, как вдруг хозяйкин голос меняется, в нем вновь слышится строгость.

— Нет, Марта, не слушай меня, это дьявол, это он!

Марта остановилась. Однако опять появляются детские интонации, лицо Элизабет опять морщится, из глаз текут слезы.

— О, я так несчастна! Позови его! Умоляю!

Марта вконец растерялась.

— Но, мадам, если это вам во вред...

— Я люблю его, люблю... один только разочек, последний.

Начинается бред, и она полностью отдается ему; какое облегчение наступает после этих слов, после этих признаний, никто не верит, и Элизабет знает, что не сама говорит, и все-таки какое облегчение, когда дашь выговориться странному голосу, нашедшему в тебе пристанище, словно прорывается бурдюк с водой, сливается отстой нежности, желания. Элизабет вздохнет свободнее, когда все будет сказано, исторгнуто.

— Когда я увидела его на святой горе, я сразу почувствовала... дьявол был в свинине... когда...

Марта в страхе крестится. Она готова поверить, что дьявол действительно сидел в свинине. Разве не слышала она уже массу таких историй? Но как должна была измениться гордая Элизабет, которая, было время, смеялась над монашкой, проглотившей дьявола вместе с листом салата, Элизабет, усердная читательница Франциска Сальского, Фомы Аквинского, спорившая со священнослужителями, которые изумлялись ее познаниям, изучившая и Библию, и заблуждения еретиков, как она должна была измениться, чтобы увидеть дьявола в куске мяса, в сердечном порыве, в плотском желании!

И все-таки разве дьявол был тут совсем ни при чем?

— Скажи, кого ты любила...— кротко шепчет не ведающий жалости Шарль. Он знает, что мучает Элизабет,

знает, что после его ухода она будет ужасио казнить себя, однако Шарль так жаждал ее любви, так хотел иакоиец вырвать у иее призиаиие.

— Призиайся, что ннкого. Ты ннкого не любила, ты всегда боялась. Теперь же, когда ты любишь меня, ты хочешь увернться, что тут прнмешался дьявол. Но ведь не дьявол, а ты меня любншь, ты...

— Нет, нет,— вздыхает она.

Бледная, без кровннкн в лице, с рассыпаиными по подушке волосами, с полуопущеииымн веками, она лежала, изиуреииая долгими постами, и иервио вздрагивала. Вид совсем несоблазнительный. Однако Шарль давио перешел стадню простого плотского желаиия.

— Родители тебя ненавидят, муж твой был иедалекнм стариком, это н надоумнло тебя пойти в моиастырь. Ты не зиаешь, что зиачит быть любимой. А я буду тебя любнть.

— Да,— говорнт она ннзкнм прерывающимся голосом, ие размыкая глаз.

Влажной нсхудалой рукой Элнзабет цепляется за его руку.

— Да, любнте меня, скорее. Оин сейчас вериутся. Онн нас разлучат, оин...

— Кто онн? — сердится Шарль.— Ннкто ие может иас разлучнть, еслн ты сама не захочешь. Тебе стоит только сказать: «Я его люблю н хочу выйти за него замуж».

— Нет, нет, только не это! Я ие могу...

Она глядит на него растерянным, нзмучеиным взором, умоляющнм о пощаде. Но почему ои должен ее щадить? Разве н он не страдает — от ярости, унижеиия, бесплодной любвн?

— Ты хочешь, чтобы я взял тебя снлой, чтобы я виделся с тобой тайио, а ты бы всегда отговаривалась, будто меня не любншь, будто это искушенне, грех, н всю жнзнь от меня отрекалась? Ннкогда, слышишь, никогда этого не будет. Ты сама ко мие прндешь н ска-

жешь, что любишь, ты по-настоящему будешь принадлежать мне вся целиком, а если нет...

Он крепко сжимает хрупкое запястье Элизабет, но та, кажется, и не замечает.

А если нет, то что?

Он не знает. Его притягивает к себе несчастье, однако Шарль не отдает себе в этом отчета. Все его помыслы сосредоточены на том, чтобы вырвать у Элизабет слово, крик — а что потом? Он не знает.

Добропорядочные горожане находят, что доктор Пуаро очень изменился. Он похудел, под глазами круги, взгляд лихорадочный, говорят даже, что видели, как он разговаривает сам с собой. Может, из-за соперничества с доктором Пишаром? Врачи сменяют друг друга (а иногда и встречаются) у изголовья Элизабет, она же, по-видимому, никак не решит, кому ей больше доверять. Один, когда его спрашивают, ссылается на болезнь матки, другой — на одержимость дьяволом. Так или иначе, поговаривают, будто доктор Пуаро плетет интриги, чтобы, пусть in extremis *, жениться на бедняжке Элизабет. Предположение кажется небеспочвенным. И у аббата Варнье, считают добропорядочные горожане, своя корысть. Скромный достаток покойного супруга Элизабет все же не так мал, чтобы на нем нельзя было строить расчеты. Элизабет же, которая то лежит в столбняке, то бьется в судорогах, вряд ли поправится. В своем безумии она без конца зовет Пуаро, воображая, что любит его, но отталкивает, как только тот приходит. И это женщина всегда такая благочестивая, такая сдержанная? Да, мне сказала ее служанка, сказала, что та срывает с себя одежду. История украшается множеством подробностей, которые передаются шепотом. Появление Шарля на улице дает повод для зубоскальства, но он ничего не замечает. Элизабет очень жалеют, но удивля-

* Под конец (лат.).

ются ие слишком: от иее всегда ждалн чего-то особенного.

Как-то нюньским утром Элизабет просыпается во властн одной-единственной мыслн, одного-единствеииого желання: бежать к Шарлю домой, броситься, еслн нужно, ему в ноги н иикогда больше с ннм не расставаться. Эта мысль сжнгает Элнзабет; нечувствительная к тем болям, что еще накаиуне прнковывалн ее к постелн, она легко, бесшумно одевается. Только бы инкого ие разбуднть! Элнзабет кажется, что, после того как она растрезвонила о своей любвн, о том, что не может жнть без Шарля, все сговарнваются помешать Элнзабет его увидеть, не пускают его в дом и даже внушают желання, без которых она могла бы, как счнтает Элнзабет, любнть Шарля спокойной безгрешной любовью. Ей кажется, что весь город следнт за ней, снедаемый иездоровым любопытством. Уступнт ли Элнзабет? Согрешит? Элизабет возненавидела незримых зрнтелей, перед которымн много лет бессознательно нграла комедию, выказывая свою святость (комедню, которая, как н любое притворство, основывалась на подлнннных нскренинх устремленнях), как возиенавндела оковы плохо поиятого благочестня, в которые сама себя заключила. (Разве ие сказал дорогой ее сердцу Фраицнск Сальскнй: «Большое безумие выдавать себя за владеющего мудростью, которой нельзя овладеть»?) Элнзабет идет на цыпочках, приоткрывает скрнпучую дверь н спускается ступеиька за ступенькой по тщательно натертой дубовой лестнице. Ей приходится держаться за перила, так она, бедная, ослабла, так ее качает. Пойти к нему, перестать себя обуздывать, отказаться от благочестнвых уз, которымн она единственно дорожила, сбросить нх с себя, упоконть себя в уинжеинн, о котором Элизабет нравнлось думать. Спокойная безысходиость, сладкое небытне, которое оиа иногда предвкушала, когда Шарль, сжимая ей руки, говорнл со сдержаниой злостью: «Скажн, что любишь

меня»,— Элизабет выкрикивала, как хулу: «Люблю, люблю», и внезапно просыпалась с криком ужаса. Тут была глубокая пропасть, но что-то мешало Элизабет сгинуть в ней, как она хотела, навсегда; прояви Элизабет чуть больше смирения, она смогла бы полюбить Шарля, не отрекаясь от себя. Однако ее влекло самоотречение, покой осужденных на проклятие, который читался на безжизненном, как из воска, материнском лице. В полусне она сходила ступенька за ступенькой к смерти, к этому черному свечению.

Элизабет казалось, что она идет очень быстро, лестница же все вытягивается, не желая кончаться, приводить ее к озеру, где все тонет в счастье (так она думала, насилу передвигая больные измученные ноги в ботинках, которые не смогла зашнуровать, и сползая с негнущимися коленками по ступенькам), где все находит свое завершение и где она рассчитывала найти покой. Исчезнуть в Шарле, утолить его желание, раствориться душой и телом, погружаясь в эту бездну,— вот чего она искала, вот чего ждала от любви, вот для чего напрягала последние силы. Она сама теперь была во власти той темной силы, которую всколыхнуло в Шарле ее сопротивление. «Ты придешь ко мне, ты будешь моей»,— эти банальные слова обнаружили свой настоящий смысл, который мог быть лишь трагическим. Ни о чем, кроме этого обладания, она не в состоянии была помыслить. Они умерли бы, канув в друг друга. Элизабет спускалась. Давно прошло то время, когда каждый визит Шарля приносил ей светлую радость, отдохновение, в котором она черпала силу и нежность. Для Элизабет не было никакой связи между этими безбурными свиданиями и непреодолимым влечением, которое она испытывала теперь. Она не могла соединить две эти крайности: безмятежный покой, умиротворение бесед и замешенное на ненависти бешеное желание, с которым Элизабет не могла сладить. Она и не желала их соединять, чтобы оставаться и впредь

конченым человеком. Ей являлся Шарль, и его лнцо — то же самое? — отмечала двойственность. Порой Элнзабет казалось, что он сам советовал ей подняться к себе, успоконться, а потом вдруг звал ее к подножню нескончаемой лестннцы, обещая нной покой. В какую-то мннуту ей прншлось сесть на ступеньку, н она, должно быть, задремала, уткнувшнсь головой в прутья решетки.

— Как я несчастна,— вырвалось у Элнзабет.

Звук собственного голоса пробуднл ее. Она попыталась подняться, но не смогла. Вновь ее одолел сон. Ннщенкой, скрючнвшейся у стены, она ждала, что пройдет Шарль н подаст ей мнлостыню. Пусть он возьмет ее за руку н лнбо спасет, лнбо погубнт. Элнзабет чувствовала, что не в состояннн пошевелнться, да она н не хотела. Ночь, когда она, колеблясь, все же решнла, отказавшнсь от монастыря, подчнннться, просто подчнннться роднтелям,— ту ночь она провела у ног Хрнста, у подножня его креста, оставленная н погнбшая, но н спасенная. Теперь она довернла власть над собой мужчнне, н эта власть опьяннла Шарля, он потерял голову, н Элнзабет прнходнлось ндтн до самого предела тьмы, так как она не смогла продолжать свой путь к свету. Благодаря нечеловеческому уснлню, словно озаренная тьмой, Элнзабет поднялась н уже почтн без труда одолела трн последнне ступенькн. У подножня ее ждала Марн-Поль с нспуганным бледным лнцом.

Еще только рассветало, н ребенок встал с кровати в одной рубашке. Не в снлах даже закрнчать, девочка следила за этим медленным спуском, слышала невнятные слова, которых не поняла, н теперь, словно зачарованная, глядела на мать, ей н в голову не приходило ее позвать, она просто смотрела, как совершается нечто такое, что маленькой девочке трудно выразнть в словах; Марн-Поль, однако, ощущала прнсутствне сверхъестественного, протнвоборство двух снл. Медленно, очень медленно (одежда в беспорядке, дрожащне рукн не справ-

лялись, когда она пыталась застегнуть, завязать) к Элизабет возвращалась способность видеть; ей, по крайней мере, казалось, что она видит. И что же предстало перед ее взором? Маленькая девочка, уставившаяся на мать. Она сама. Полумрак перед ее комнатой. Клод де Маньер с «Подражанием Христу» в руках (на мгновение озадаченная, она тут же принимается топтать святую книгу ногами). Любовь. Лицо любви, неистовое, томительное, чарующее. Не почувствовала ли Клод освобождение, когда топтала книгу, выкрикивала ругательства, таскала Элизабет по улице, взывала к капитану?

Не мигая, глядела Элизабет на светлый прямоугольник двери, выходящей во двор. Освободиться! Освободиться раз и навсегда, предавшись греху, такому огромному, что он избавит ее в будущем от всякого усилия, от всякой надежды. Проклятие влекло Элизабет, словно омут. Она считала себя достойной проклятия. Может, и справедливо. Мари-Поль между тем стояла и не спускала с нее глаз. Не то чтобы размышляла, задавалась вопросами, нет, только пристально смотрела на мать. И все видела (ни один жест, ни один взгляд Клод не ускользнул от внимания Элизабет. И рождающееся сообщничество родителей, и горькое наслаждение Клод, когда ей удавалось шокировать своим поведением служанок, и медленное расплывание материнского лица, такого четкого, и распад ее воли, такой несокрушимой. Проклятие возможно, оно существует. Оно читается на одутловатом, отекшем лице матери, в ее удовлетворенном взоре, непробиваемом довольстве, *самодостаточности*, в ее теле и душе, до такой степени нагруженными небытием, что они опускаются на дно, и ни один пузырек воздуха их не поддерживает. Глыба. Камень. Безмятежность камней. Чувствуют ли камни, когда на них смотрят?).

Какое у детей терпение! Скажи Мари-Поль слово, сдвинься с места, нашла бы Элизабет силы броситься на дочь, сшибить ее с ног, ударить? Однако ребенок

ие бросает вызов, не провоцирует. Просто смотрит. Подобио тому как в свое время Эли, Марн-Поль увндит, как твердеют, каменеют тело н душа. Возможно ли такое? И в свой черед заразившнсь, будет ли Мари-Поль искать, страдать, тайио поджидать удобный случай, рассчнтывать, что ее, как в сказках, поглотнт волна? И оиа каиет? Мари-Поль? Виезапио Элизабет поиимает, что перед ней ее дитя. Нет, только ие оиа! Еще одии раз, когда Элизабет, казалось, уже теряла душу, да и разум, виезапиая мгиовеииая благодать спасает ее. Порыв любви к растерявшемуся ребенку ошеломляет Элизабет. Оиа падает в обморок.

Ее иайдут у входа иа полу нз черных и белых плиток. Весь деиь Элизабет пролежит, как в столбияке, ие в состояиии иичего члеиораздельио вымолвить. Когда в этот вечер к шести часам явится Шарль, изгиаиие злых духов будет в самом разгаре. Жеищииы, стайками собравшиеся иа улнце н ждущие свежих иовостей, при виде доктора перешептываются. Поддерживаемая священииком, обессилевшая Элизабет, вытаращив глаза, что-то жалобио говорила детским голосом. Когда входит Шарль, оиа издает громкий крик, содрогается всем телом н опрокидывается иавзиичь. Три экзорциста и доктор Пишар переглядываются. Ничего не замечая, Шарль отпихивает свящеиннка, хватает Элнзабет и чуть ли ие встряхивает ее: руки и иоги у Элизабет не гиутся, челюсти сжаты.

— Завтра ее перевезут в часовию для послушииков в иезунтский моиастырь,— вполголоса сказал доктор Пишар.

— Вы ее убьете!

— Мы ее спасем,— сурово пронзнес одни из иезуитов.

— Я прнду завтра в часовию. В котором часу?

— В десять. Но я вам не советую. Оставьте свое лечение. А то могут подумать...

— В десять я приду,— сказал Шарль н вышел вон. Ночь прошла без сиа, ио грезы не давали ему покоя. Почему все так коичилось? Почему оиа позволила отнять ее у него? Уже давио Шарль перестал рассчитывать иа счастливый нсход, одиако ои свыкся с мыслью, что им дадут питать друг друга собою до самого коица. Коиец — смерть Эли, хотя до этой ночн Шарль остерегался формулировать это с такой ясиостью. Когда оба оии поияли, что развязка может быть только гибельиой? И когда оин сталн стремнться к такой развязке? Дьявольский ли то был зиак? Иногда он думал: «Даже если оиа сойдет с ума, я ее не брошу, не отпущу от себя...» Элизабет же мечтала о его смерти, иадеясь, что та прииесет ей освобождение. Она даже позвала одиого своего родствеиника, дядю, брата отца, у которого хватало глупого рвеиия и отваги — н это при добром сердце,— и поделнлась с иим своим горем. Славиый малый предложил выход самый естествеиный. Ои подстережет виновиика ее бед иа улице и перережет ему горло. По тому, какое волиение ее охватило, Элизабет поняла, что желала смерти возлюблеииого лишь в мечте, а ие иаяву. Дядиио замаичивое предложение оиа отвергла. После этого случая Элизабет еще представляла себе мертвого Шарля, ио и себя в агоиии рядом с иим. Умереть вместе озиачало прииадлежать ему иавеки. Как ловко они придумали, что прибегли к безумию, к смертн, чтобы выйти из столь баиальиого положеиня! Но ие замешан ли тут тот, кого еще имеиуют лукавым?

Так нли ииаче оии были связаиы, и связаиы, как казалось Элизабет, более тесио, чем жеиитьбой или безмятежиой любовью. Тщетио она буитовала, теперь оиа умирала из-за своего буита, из-за Шарля, да, оиа одержима Шарлем, а ие дьяволом! С чего бы дьяволу соваться в их отиошеиия? Для Эли, метущейся между неявным призванием и явиой любовью, протнвииком был ие дьявол, а Бог.

На память Шарлю приходила ее уютная комната, их шепот: «Я должна отступиться от вас, ведь это грех, грех», он же отвечал: «Нет тут греха! И призвания у тебя не было, не призывал тебя Бог!» Элизабет тихо плакала. А кого-нибудь призывал? И не призвание ли сама любовь? Тогда призваны они оба? Им нравилось с каждым днем впадать во все большую зависимость друг от друга. Как-то раз он сказал: «Ты любила меня уже тогда, когда мы читали Филотея», и она разрыдалась. Когда же она проронила: «Как только мне становится лучше, я перестаю вас любить, вы жестоки и уродливы», кровь отлила уже от его лица. Элизабет тоже не знала милосердия! Они все глубже ранили друг друга, выискивали самые больные места, чтобы приобрести еще большую власть. Шарль говорил: «Твой обет, все эти твои благочестивые штучки — просто болезнь ума. В богадельне я видел обезумевших крестьянок, которые всаживали себе в ладони гвозди. Или ты думаешь, они тоже святые?» Она же возражала: «Могла бы я вас полюбить, будь я в здравом уме? Есть сумасшедшие, которые хотят совокупляться даже с собаками», но тут же перебивала себя: «Нет! Я вас люблю! Не уходите! Не бросайте меня!» «Не брошу,— отвечал он со смесью злобы и нежности,— никогда».

И вот теперь ее у него отнимали! Они смели утверждать, что Элизабет находится во власти другого (пусть даже этот другой — дьявол)! На следующее утро Шарль отправился в часовню, словно на поединок с ненавистным соперником. Освободить Элизабет (если предположить, что иезуиты могут это сделать) не означало ли освободить ее от него? Шарль дошел уже до того, что предпочитал пожертвовать Элизабет и собой, но только не их страстью. Часовня была вся освещена, и в ней толпились любопытные. Их жадные глаза будут таращиться на Элизабет, униженную, втоптанную в грязь! И тут Шарль ее увидел. Она казалась смирившейся,

подавлеииой, два иезуита поддерживали Элизабет под руки, и взгляд у иее был растеряииый, почти детский, губы слегка иадуты, как будто она вот-вот заплачет.

«Что вы от меия хотите? Я делаю, что мие говорят, я подчиияюсь, доверяю себя Богу, его суду...»,— словио говорила Элизабет. Почему же она подчииялась ие ему, а служителям Божьим и врачу-соперику? Шарль приревиовал к Богу.

Жеищииы молились, дети, которых привели сюда развлечеиия ради, глазели иа икоиы, броизовые подсвечиики, одеяния свящеиников и шепотом задавали вопросы. Иногда раздавались смешки. Одиако обряд был такой торжествеииый, что вскоре установилась тишииа. Элизабет заставили стоять иа колеиях, как будто оиа могла убежать, и оиа безропотио сиосила, когда ее кропили святой водой, сиосила удушливый запах ладаиа, от кадила, которым махали у иее перед иосом. Иезуит шепотом говорил, какие слова Элизабет должиа была повторять, какие жесты делать. Элизабет послушио, механически совершала все, что от иее требовалось. Накоиец кто-то брал иа себя ответствеииость за ее душу и тело, освобождая Элизабет от этого бремени. Элизабет ограждала себя от страшиого требоваиия Шарля, чтобы оиа осозиала саму себя, смирилась, сжилась со своим смятеиием. Если бы ои захотел лишь, чтобы Элизабет ему прииадлежала, отдала свое тело, отреклась от своей души, вручив ее Шарлю! Одиако ои хотел видеть ее живой, здравомыслящей, ио разве это было в ее силах? Элизабет сжигали гиев и любовь к этому человеку, ие желавшему избавить ее от зла, от ее души. И вдруг Элизабет заметила рядом со столбом его, мрачиого, хмурого, как будто и ои сожалел... Словио сильиый удар вывел Элизабет из бездумиого состояиия.

— Шарль!

Крик, который оиа так часто издавала у себя дома, во сие, вырывался теперь из ее груди сам, иеодолимый,

умоляющий. Пусть он сделает что-нибудь, заберет ее отсюда, или пусть, по крайней мере, ей дадут облегчить душу, объявить о своей безумной любви сборищу любопытных, которые окружали Элизабет, мешали ей вырваться и броситься в первый попавшийся пруд.

Взволнованный Шарль успел уже сделать шаг к алтарю, когда вдруг почувствовал, что его схватили за рукав. За его спиной стоял доктор Пишар.

— Вы с ума сошли, зачем вы явились сюда? Неужели не знаете, как опасно вмешиваться в такие дела?

— Она не одержимая,— прошептал Шарль,— это вы сошли с ума, что притащили сюда больную, не помнящую себя женщину. Это может стоить ей жизни!

Пишар побагровел (ему и так пришлось побороть неприязнь, прежде чем он решил удержать молодого коллегу).

— Но послушайте, почему вы так цепляетесь за свой диагноз, за свои заблуждения? Вы же видите, замуж она за вас не выйдет. Ясно как божий день, что она вбила себе в голову этот бред по дьявольскому наущению. Такая благочестивая, такая приличная женщина...

— Значит, благочестие мешает ей меня любить? — в исступлении выкрикнул Шарль.— А выйдет она за меня замуж или нет, мне плевать с той самой минуты, когда...

Он осекся под удивленным, чуть ли не испуганным взглядом старого доктора.

— Кончится тем, что я поверю,— медленно молвил старик,— что и вы сами... Нет, какое упрямство!

И Пишар отошел. Шарль вытер со лба пот. Не обращая внимания на любопытство, которое возбуждала его персона, он глядел не отрываясь на Элизабет. В эту минуту Элизабет, такая нежная, изящная, корчилась на полу, в пыли. В тишине было слышно, как тяжело она дышала, в то время как державшие ее иезуиты со смесью безразличия и удовлетворения на лице, уверенные в себе, привыкшие к подобным спектаклям, так будоражившим

толпу, исполняли, несколько рисуясь, свою роль палачей-целителей.

Стоны Элизабет разрывали ему душу, и все же Шарль, несмотря на отчаяние, испытывал нечто вроде торжества, как если бы присутствовал при наказании женщины, не отважившейся на любовь.

— Астарот! Отвечай! Я требую ответа! В твоей ли власти тело Элизабет? Вельзевул! Заклинаю тебя именем всемогущего святого Духа, отвечай! В твоей ли власти тело Элизабет? Люцифер! Именем всемогущего святого Духа... Кем бы ты ни был, бес, в чьей власти тело этой женщины, требую, назови свое имя!

Тело Элизабет словно одеревенело, и вдруг она вскочила («взлетела», как рассказывали потом очевидцы) с вытаращенными глазами, с пеной на губах и, выкрикнув хриплым чужим голосом «Шарль Пуаро», рухнула без сознания.

Постепенно толпа рассеялась. Для первого сеанса было достаточно, и д'Аргомба, один из иезуитов, распорядился отнести Элизабет домой. Шатаясь, Пуаро тоже добрался до своего жилища, не обращая внимания на перешептывания жалостливой публики. Значит, правда. Перед всеми она сказала, выкрикнула, что принадлежит ему! В состоянии крайней слабости, в бреду она была способна произнести, прокричать лишь одно имя, имя Шарля. «Наконец-то», говорил себе Шарль в болезненном возбуждении, исключавшем всякое размышление. На вопрос: в чьей власти тело этой женщины? — все в часовне услышали ответ: «Шарля Пуаро». Теперь их нельзя будет разлучить, они как бы стали мужем и женой.

Он еще продолжал грезить, когда в тот же вечер за ним пришла стража.

Состояние одержимости длилось у Элизабет около четырех лет и было, по словам специалистов по изгнанию злых духов, в высшей степени показательным. Освободившись от себя, избавившись от мучительной необходимо-

стн сдержнвать н суднть себя, Элизабет словно обретала покой, вериувшнсь к безмыслию, отрешенности. Она поддавалась любым влнянням, любым настроенням, которые сталкнвались вокруг нее, в ией, Элнзабет походнла иа зеркало, отражающее всякую теиь, иа скрнпку, иачинающую звучать, еслн к ней прнтронуться. Не скрывалнсь ли в глубнне этой иелепой всеядиостн мрачное удовлетворенне, своеобразный реваиш? Элизабет и сама не смогла бы это объяснить, казалось, она вообще отказывалась от какого-либо суждеиия. Оставалась лн прежней Элнзабет эта женщиив, послушиая церквн, послушная малейшнм волензъявлеиииям обнтающего в ней мрачного насмешливого духа? Она совершала чудеса, обычные для медиумов, одержимых бесами: читала на расстояини закрытые книги, разговарнвала на иепонятных языках, отгадывала мысли тех, кто ее расспрашивал. Временамн отчаяние, как бы пробуждая Элнзабет, возвращало ей ясиость ума, н тогда у нее возннкало чувство, будто она сама захотела, чтобы Бог ее отриннул,— это было нестерпимо. Увереиная в эту мннуту в Божьем проклятин, она готова была кинуться в колодец, в пруд, н, лишь умножнв чнсло сеаисов, иезуиты возвращалн ее в состояние отрешенности, успоканвалн, и Элнзабет вновь погружалась в сомнамбулнзм, служнвший ей убежнщем от забот.

Настоящая ли это одержимость дьяволом нли ненастоящая? На этот счет у иезуитов ие было еднного миеиия. Разумеется, тут ие простое притворство в чнстом внде, а определенное душевное попустнтельство гнбелн, позволяющей уклоннться от конфлнкта, не разрешнмого без Божьей благодати. Не виновна лн Элнзабет в этом попустительстве, в сообщннчестве с нзбавителем-злом? Еслн Элнзабет была сама вниовна в своей одержнмости, Шарль был сам внновен в своей смертн. Тщетно иекоторые, более просвещенные судьи пытались помочь ему оправдаться. Шарль отказывался признавать даже

то, что в дело замешаиы бесы. Ои все твердил, что теперь ннкто не мог отнять у него Элнзабет. В тюрьме он без коица с нею разговарнвал, н ему казалось, что Элизабет отвечает. Может, нз-за пыток он сошел с ума? Судьн еще колебались, какое решенне приинять, когда одна ненормальиая, заявив, что вндела Пуаро на шабаше, облегчила им задачу н тем самым обрекла его на костер, на который он взошел молча, с неподвнжным взором, погружеииый в свои мечтання.

Во время одной нз передышек Элнзабет узнала о смертн Шарля н издала громкнй крнк, то ли от боли, то лн от облегчення. Трн дия потом она пролежала в состояннн каталепсин. Прндя в себя, оиа ие упомянула о Шарле. Никогда больше оиа не произиесет его имеин.

Случай нсключнтельный: после четырехлетннх страдаиий Элизабет должиа была выздороветь н вернуться к своей обычиой жизин, сохраннв прежине способностн. По-прежиему прекрасиая, по-прежнему терзающаяся сомнениями, мучаясь нз-за неутолеиных желаний, она совершала одно паломничество за другим. Может, она нскала утешеине, свет? Дарован ли он был Элнзабет? Доинмалн лн ее подспудно угрызення совести? Не во время лн одиого из прнступов смиреиия, коим подвержеиы большне гордецы, решила Элнзабет основать ордеи для наставления заблудших женщии на путь истниный?

Вокруг нее объеднннлнсь иесколько иезунтов, которые восхнщалнсь Элнзабет н поддерживалн ее еще в трудные для нее времена, когда нзгонялн бесов. Среди этнх иезунтов был н отец д'Аргомба, ее будущнй бнограф. Оиа, как н раиьше, впадала в транс, с ней случалнсь страиные прнступы ясновндения, откровення, но уже не дьявольского, а божествеиного происхождеиия. Оиа н ее последователн раздавалн своим прнверженцам зиачкн, напоминавшне медалн, которым прнпнсывалась особая сила. Элизабет и ее последователей прозвалн медальникамн. Папа римскнй не раз выражал обеспокоеиность

по поводу такого рода сект. Орден подверглн миогочнсленным проверкам. Элнзабет, всегда хладнокровно отвечавшая на обвииеиия, внушила судьям уваженне. С детства и до зрелого возраста сохраняла Элизабет обаяиие, ее всегда окружала атмосфера преклонения и слегка тревожиого внимаиия. Элизабет всегда была отмечеиа двойственностью, она была способна на самые благородиые порывы, самые возвышеиные умозреиия, поразительиое самонстязаиие, н в то же время смущалн ее хватка, обольстительиость, властиость. Ордеи разогиали за иесколько месяцев до кончииы Элизабет нз-за подозреиия в ереси. До конца ли выполнили свою задачу братьяиезуиты из Нанси, изгоиявшне нз нее дьявола?

Жанна, или Бунт

Первая встреча всегда самая волнующая. Жанна и напротив нее судья.

Он здесь проездом. Он прибыл из Лаона, где у него семья, почтенное семейство, скромная, обожающая его супруга, дети, которых он по-своему любит (на них распространяется его честолюбие, за столом он разговаривает с ними на латыни). Прибыв из Лаона в Рибемон, Жан Боден отправился с визитом к Клоду д'Оффэ, королевскому прокурору, они поговорили о делах, о политике, о религии, как и подобает ученым мужам, которые, прежде чем высказать свое суждение, тщательно взвешивают слова, как подобает людям миролюбивым, не любящим кровопролития, каких-либо эксцессов, людям, пекущимся о благе страны, которых огорчает все, что ее умаляет, губит (время действия — разгар религиозных войн), людям, которые заботятся о делах службы и хорошо при этом знают, что ничто не вечно под луной и что власти меняются. Они вспомнили о Лиге, гугенотах, генеральных штатах 1576 г. (с тех пор минуло два года), где Жан Боден отвечал за наказы жителей Вермандуа *. Потом разговор перешел на более личные темы: дети, семейный очаг, жизненные тяготы, хвори. Дочь Бодена не очень крепкого здоровья, ей часто видятся кошмары, с ней случаются судороги, ее часто трясет. Дочка Клода д'Оффэ сохнет на глазах — говорят, накликала на нее порчу старая нищенка из предместья Рибемона,

---

* Вермандуа — историческая область на севере теперешней Франции, присоединившаяся к последней в 1213 г.— *Прим. перев.*

цыганка, жалкое создание, которая совсем недавно убила крестьянина; толпа хотела забросать ее камнями, но, как справедливо отметил Клод д'Оффэ, законность следует соблюдать — ее отбнли у толпы, посадили в темннцу, допроснлн. Случай довольно ясный. Ее мать сожгли как колдунью, с тех пор Жанна несколько раз поменяла место жительства и имя, многие города н веси стали ареной ее преступной деятельности, и теперь, на горе жнтелям Рибемона, она поселилась в нх городе, среди всеобщей непрнязни, хотя поначалу все могли только догадываться, кто она на самом деле. У этой женщнны, слегка вороватой, чудно́й н неужнвчивой, была довольно краснвая дочь. Работу им давать остерегалнсь: надеялнсь, что так они быстрее уберутся подобру-поздорову, но онн осталнсь. Они цеплялнсь за этот городок, восстанавливая против себя всех граждан Рибемона. Жанна как-то сказала одной крестьянке: «Делайте что хотите, но я умру в Рнбемоне», что само по себе, если поразмыслнть, является пророчеством, а значнт, вещью противозаконной. События между тем развивалнсь стремнтельно. С тех пор как Жанна с дочерью прибыли в Рибемон, пнсьмоводитель в замке д'Оффэ потерял способность предаваться любовным утехам со своей супругой (и это несмотря на то, что, следуя рекомендации малого Альбера, съел множество порций жареного дятла); мало того, почтенный аббат церквн святого Николая, что под Рнбемоном, Рене-Гектор де Мегриньи после случайной встречи с этой самой Жанной Арвнлье забился в страшных судорогах н, разрывая зубами ворот рубашкн, прннялся кататься по земле. Наконец, дочь Клода д'Оффэ погрузилась в состоянне безразличия и отвращення ко всему, что ее окружало, и это вызывало по меньшей мере беспокойство. И вот теперь случай с почтенным и всеми уважаемым человеком крестьянином Франсуа Прюдомом, который серьезно заболел, проходя мнмо небольшого Жаннного надела; колдунья, должно быть, почувствовала,

что тем самым подписала себе смертный прнговор, что оиа зашла слишком далеко н выдала себя: как только до нее дошлн слухн о блнзкой смертн ее жертвы, Жанна поспешила к Прюдому, дабы вылечить его, все испробовать, чтобы он выкарабкался. Увы! Враг рода человеческого ие меняет своих решеиий, н ие нсключеио, что попытка вылечнть Прюдома лишила Жаину его милостн, так как, по всей вероятности, н ои броснл ее на произвол судьбы. Спасаясь от гнева сельчан, узнавших о смерти Прюдома, Жаииа, подобно животиому, пустнлась наутек; очевндно, оиа потеряла способность превращаться в волчицу нлн кошку, становнться невндноймой, летать по воздуху, н, удирая от града камней, она попыталась просто спрятаться в лесу. Ей удалось бы унестн ногн, не органнзуй деревенскне облаву, чтобы выгнать Жанну из ее логовища (деревеиские — людн благочестнвые и азартные; их нскреннее негодованне накладывалось на нскреннее желанне позабавнться: ведь жителям Рнбемона редко выпадает случай поразвлечься, а облава на ведьму могла потягаться в этом отиошеиии даже с релнгнозиым шествием); в конце концов Жанна спряталась в амбаре, с невероятной ловкостью забнвшись между коньком двускатной крышн и кровельной соломой,— когда ее вытаскнвалн оттуда, оиа крнчала, царапалась н бнлась, как рассерженная кошка. В нтоге порядок восстановнли, н теперь все готовнлнсь к суду над ведьмой, который обещал быть недолгим. Любопытно, однако, что крестьяне, озлобленные на мать, не прнчнннлн до снх пор ннкакого вреда дочке. Судебным властям, однако, следовало бы предъявнть обвннение н дочери, ведь сразу вндно, что тут целое семейство ведьм, в котором дьявольское нскусство передается от матерн к дочке. Деревенские не понялн этого, так как девочка была славная н нередко делала нм добро. После ареста матерн дочке даже прниоснлн еду. Слаб человек.

С интересом выслушал Жан Боден рассказ Клода д'Оффэ. Классическая история — именно то, что он искал, если только можно назвать поиском смутный интерес, который пробуждался в Жане Бодене, когда при нем упоминали о подобных случаях, и смутное желание когда-нибудь вплотную столкнуться с такой колоритной вещью, как колдовство,— это послужило бы ему передышкой среди занятий более важных. Конечно, это не к спеху, но когда-нибудь, в уединении, на досуге, прояснив ряд других, занимавших его богословских проблем, он обратился бы и к этому вопросу, обратился бы как правовед и как писатель. Он поделился своими планами с Клодом д'Оффэ, присовокупив, что, пожалуй, не прочь присутствовать на судебном разбирательстве. Сказал он это мимоходом, не придав особого значения. Однако Клод д'Оффэ был так счастлив развлечь именитого гостя, а заодно снять с себя тяготившую его ответственность, кроме того, ему так хотелось увидеть великого человека в действии (тема для бесчисленных рассказов в будущем), что, подобно испанским грандам, перед которыми достаточно выразить восхищение принадлежащей им вещью, чтобы они тут же ее вам подарили, ставя вас в неловкое положение, королевский прокурор, выслушав признание Жана Бодена, тут же оказал ему эту услугу. Капеллан замка, наспех собранные члены суда (каретник, нотариус, торговец птицей) добровольно передавали Бодену свои полномочия, которыми не знали как распорядиться. Итак, ведьма теперь в его власти. Какое решение ни примет Жан Боден, они к нему заранее присоединяются. Жан Боден верил в знаки судьбы, в провидение. Раз ему отдавали эту женщину, ему не следует отказываться.

Кто же она, если не колдунья,— эта высокая худая женщина, изможденная, но крепкая, с гордой осанкой, горящими, как раскаленые уголья, глазами, крупным

страшным лицом, которое не могло не быть прекрасным до того, как нищета, ненависть, страх не перемололи эту красоту, женщина, должно быть, умевшая молчать, с темными еще, хотя слегка поредевшими спереди волосами, прекрасными зубами, женщина, которой, по-видимому, не больше пятидесяти, но с застывшими, затвердевшими чертами, такими, что она, казалось, не имела возраста, женщина, одетая в лохмотья, которые она считала ниже своего достоинства латать или пригонять к своему смуглому, жилистому, жесткому телу? Колдунья вошла в залу пятясь — судебный исполнитель тащил ее за веревку,— таков порядок, не то первым своим взглядом она околдует судью. Когда первая угроза миновала, дальше о нем заботится Бог.

Для гостя забава, да и видел ли когда-нибудь Боден ведьму так близко? Несомненно, это отвлечет его от серьезных забот, от разногласий с Генрихом III, от тех опасений, которые вызывает у него мир, заключенный в Бержераке. Кроме того, он испытывает определенный интерес к оккультным вопросам. Разве он не ознакомился с каббалой? Разве он не сильно сведущ в Ветхом завете (до того даже, что ему будут часто приписывать еврейское происхождение)? И потом, как юриста, его интересует сама процедура, в которой ему прежде не приходилось принимать участия. Указ короля Карла VIII предписывал «сжигать без суда и следствия колдунов, магов и прочую нечисть, которой кишмя кишит королевство». Ну для животных это куда ни шло, животных, уличенных в колдовстве, сжигали и должны были сжигать без суда. Боден, однако, считает — и тут к нему должны присоединиться все порядочные люди,— что человеческому существу следует оказывать несколько большее внимание, пусть даже конечный результат будет тот же. Колдуны и особенно колдуньи, так как последних больше, были вправе рассчитывать на то, что их допросят и изобличат, они вправе предаваться несбыточным

надеждам, вправе пройтн через пытку. Нельзя отправлять человека на тот свет без соблюдення должных формальиостей, ие говоря уже о том, что людн (те, кто не обвииеи нли пока еще не обвннен в колдовстве) былн падкн до зрелнщ и хотели видеть, как сжигается, уничтожается зло, которое, однако, тут же образовывало новые, плодоносиые почкн. Все это казалось Бодену любопытным, н он взял дело в свои руки.

Итак, ее ведут к нему. Почему бы и нет? Ни для кого ие секрет (даже для судей), что ее судьба предрешена, а зиачнт, она теперь скорее вещь, чем живое существо. Нельзя даже сказать, что с ней грубо обращаются. Да, ее втащили в залу спиной вперед, но ведь так заведено. Ее вовсе не хотят унизить. Зачем унижать того, кто практическн уже не существует? Так бывает не со всемн обвиняемыми. Местные судьи расскажут Бодену, что в некоторых случаях возннкают сомиения. Иногда они остаются и после того, как палач сделал свое дело. О совсем малюсеиькие сомиения! Этого, однако, достаточно, чтобы испортить судье остаток дня. А бывает, некоторых оправдывают. Тогда тоже могут оставаться сомнения. Во время процесса все почувствовалн, что промелькнула тень сатаны, но где, когда, как — никто бы не мог сказать. Зло присутствовало, но соглашался лн на него сам подсудимый, призывал, желал его (а ведь в этом, по общему мненню, заключалось колдовство)? Никто теперь не может ответить иа этот вопрос. Иногда они отпускалн обвиияемого после двух-трех допросов с пристрастием, так как он (илн она) по-прежнему решительно отрицал свою вину н так как не было других доказательств, кроме этого чувства, посетнвшего беспристрастных судей, кроме осознания неясного присутствия зла. Суднть ведьм — работа иелегкая. В этот раз, однако, можно не волноваться, так говорилн онн Бодену, когда все собрались в зале замка, чтобы немного закусить, подготовиться, подкрепнть силы, ведь нельзя заранее предугадать, какого напря-

жеиия ума потребует такой процесс. Обвиияемую изобличали доказательства, ее прошлое (цыгаиское происхождеиие, мать, сожжеииая за колдовство), такой достовериый факт, как смерть человека. Дело ие обещало особых хлопот — тем лучше для судей, так как оии были в большиистве своем люди славиые, закоиники или промышляющие по торговой части, провиициалы, люди религиозиые, хотели, чтобы в Рибемоие воцарились порядок и спокойствие, и искреиие иеиавидели зло. Имеиио поэтому даже при столь простом разбирательстве, ие представлявшем иикаких трудиостей (хотя всякое случается), оии были рады, что рядом с иими будет известиый правовед, зиамеиитый оратор, депутат от третьего сословия, перечивший самому королю, ученый. Бодеи же был доволеи, что ему выпала возможиость исследовать этот вопрос, поэтому ои приказал ввести Жаииу, как если бы это был предмет для аиатомических работ. Бодеи совсем ие был жестоким, ои лишь хотел изучить дух зла, подобио тому как ои изучал дух добра, воплотившийся в различиых религиях, изучал с редкой для своего времеии терпимостью, с иичем ие сдерживаемым любопытством, которое хоть и ие замеияло доброты, ио по крайией мере исключало иеиависть. Надо сказать, что, кроме жителей деревии, со всей горячиостью требовавших смерти Жаииы, иикто из члеиов суда ие чувствовал к этой жеищиие иеиависти как раз потому, что дело было простым, зараиее решеииым и ие иуждалось в особом дозиаиии. Стоило Жаиие призиать хотя бы малую толику вииы, и ее бы ие пытали. Может, даже ие стали бы брать под стражу ее «такую милую» дочь. Во всяком случае, ие стали бы брать сразу. Сейчас. Как зиать, может, оиа бы исправилась? Тогда бы оии ограиичились тем, что ие подпустили бы ее к честиым людям, лишили бы источииков существоваиия, пусть бы оиа ушла отсюда, смеиила имя, как мать, так же как оиа, развратиичала и воровала,— это, коиечио, тоже грехи, ио грехи отиюдь ие сатаиии-

ские,— и если бы она согласилась опуститься на дно, нищенствовать, попрошайничать, пожертвовала бы своей красотой, здоровьем, душой (но обычным способом, как, впрочем, уготовано всем), ее оставили бы в покое и дали бы спокойно умереть на своем убогом ложе от голода, холеры или чумы, то есть она прожила бы нормальную человеческую жизнь. Ладно. Девочку оставили на свободе. Правда, тем, кто давал ей кое-какие крохи за тяжелую работу, намекнули, что так поступать не принято, что когда-нибудь это выйдет им боком, даже если сама девочка и не причиняла им вреда. После этого ей пришлось искать себе пропитание в лесу, не отходя, правда, далеко от Рибемона, что всем было на руку. Пока.

Итак, Жанна Арвилье. Ее тащат спиной вперед, резко поворачивают, и она оказывается перед судьей, которого прежде не видела. Процедура же ей была знакома. Она уже прошла через нее в семнадцать лет. Тогда она боялась. Теперь ненависть поглотила страх. Глаз Жанна не опускала и стояла прямо. Пятидесяти ей, вероятно, все же не было. Прибывший из Парижа судья спокойно ее разглядывал. «Оставьте ее,— сказал он крепко державшим Жанну стражникам.— Я не боюсь». Да и с чего ему бояться? Он не желал ей зла. Пусть только она даст ему сведения, которыми располагает, чтобы, записав их сегодня, он мог впоследствии над ними поразмышлять, и ей дадут мирно умереть. Он даже распорядился ее усадить. Как и все присутствовавшие на процессе, Боден не сомневался: Жанна знает, что обречена. Она казалась неглупой; нищета и гнев избороздили ее лицо морщинами, так что оно походило на лицо старика. Он надеется, сказал Боден,— и это были первые его слова, обращенные к Жанне,— что ее поведение будет согласовываться со здравым смыслом.

Ожидая от нее разумного поведения, Жан Боден заговорил с Жанной, как с человеческим существом, ибо только человек мог предоставить ему нужные сведения.

Ее положение, и он это знал, было критическим, хуже того, безнадежным. Значит, ей следует покориться, думал он. Что делать, если ничего другого не остается. Окажись он в таком же положении (в наше неспокойное время ни от чего нельзя зарекаться), он без сомнения приложил бы все усилия, чтобы показаться отрешившимся, а может, действительно отрешиться от всего с ним случившегося, наподобие тех блистательных мудрецов прошлого, от глубоко мыслящего Сократа до ветреного Петрония, которые смогли взять верный тон, рядясь в одеяния вечности. Разумеется, он поступил бы так, лишь если бы его положение стало совсем беспросветным, безнадежным. Его жизнью стала бы борьба, в которой разум находил бы доводы в его пользу; чтобы исполнить свою роль до конца, потерпевшим неудачу политикам остается лишь проявлять величие. Но не справедливо ли то же самое для любой незаурядной личности? Вот только пришлось бы сделать слишком большое допущение, чтобы ожидать этого от простой женщины из народа.

Он без обиняков сказал Жанне, чего от нее хочет. Пусть она раскроет ему свои тайны, опишет свои колдовские приемы, поведает о своих верованиях. Она может говорить с ним свободно, как с равным, как с ученым, который расспрашивает ее, не испытывая враждебности, вовсе не желая ее изобличить,— разве она и так не изобличена? Пусть она говорит с ним, как с посвященным, ничего не утаивая, как с человеком разумным, который жаждет лишь понять и исследовать сказанное ею; не без наивности, искренней, но и лукавой, столь свойственной всем политикам, он добавил, что таким образом она искупила бы свою вину. Чистосердечный рассказ о своих неблаговидных действиях, о печальном конце, к которому они привели, отвратил бы многих бедных, впавших в безумие женщин от преступного пути. Что могло бы с большей полнотой засвидетельствовать о ее раскаянии?

Достаточно было взглянуть на Жанну, на ее страшное, обожженное солнцем лицо, на опустошенный взор, застывшие черты, чтобы понять — она не раскаивалась и никогда не раскается, само понятие раскаяния чуждо всему тому, что она в состоянии когда-либо принять и уяснить себе. Однако верил ли в это, всмотрелся ли хоть раз в лицо Жанны Боден, депутат от Вермандуа, известный оратор, опытный правовед, ученый, философ, чуть ли не богослов? В отличие от многих своих современников он не презирал народ, не отворачивался от нищеты, но, как и в случае Жанны, он никогда не видел настоящего лица этих людей. Боден думал о бедняке как о человеке, лишенном всего, потерявшем всякую надежду, и желал ему добра; он не чувствовал разницы между ним и собой, лишись он внезапно своего состояния и честолюбивых помыслов. Жалость свою — жалость разумную, предполагавшую все же, что для сохранения естественного хода вещей некоторая толика несчастий необходима,— он, по сути дела, обращал на свое отражение в зеркале. Это зеркало загораживало от него и Жанну. Жанна меж тем по-прежнему молчала. Он взялся, проявляя, надо признать, немалое терпение, излагать Жанне ее собственное дело. Мать Жанны, бесспорную ведьму, сожгли в Верберн, близ Компьеня, саму же ее исключительно из милосердия, предварительно выпоров, прогнали (после того как заставили присутствовать при сожжении матери, что, обладай она хоть чуточку здравым смыслом, должно было научить ее по крайней мере осторожности); переходя с места на место, она меняла имя, что уже говорило о ее виновности, и везде оказывала услуги, прямо скажем, сомнительного свойства, продавала снадобья (есть все основания предполагать, что они были ядами), делала предсказания, составляла гороскопы, (Жана Бодена особенно интересовало составление гороскопов, занятие само по себе невинное,— он верил в этот способ гадания), но после того как она уходила, на женщин нападала немощь,

умирали бывшие в тягость родственники, учащались выкидыши, случались грозы. И вот теперь история с Франсуа Прюдомом, которого поразила порча, когда он проходил мимо дома Жанны, положила конец ее деяниям. Она должна была это предвидеть. Сейчас у Жанны чуть ли не чудесным образом появлялась возможность придать своей жизни смысл, сделать ее поучительной для других. Так пусть Жанна не упустит своего шанса.

Он так пока и не услышал ее голоса. Обдумывала ли она все, прежде чем решиться на такой шаг? Перед Жаном Боденом лежали бумага и перо. Тут же находился секретарь суда, в чьи обязанности входило записывать все, что скажет Жанна, так как ее признания были необходимы, естественно, и суду. Так они поймают сразу двух зайцев. Как бы то ни было, Жанне это было на руку. Заговорив, она избежала бы пыток, и вся процедура заняла бы в три раза меньше времени. По-прежнему думая, что она взвешивает все «за» и «против», Боден присовокупил, что будет ходатайствовать перед судьями о том, чтобы, прежде чем сжечь, ее удавили, как принято в таких случаях. При таких обстоятельствах ей оставалось лишь согласиться со своей участью.

Такова была логика вещей, но не логика руководила действиями Жанны. Конечно, она знала, что обречена, но не была ли она обречена всегда? С тех пор когда после смерти матери-цыганки (и ее мать, не была ли она тоже обречена с самого рождения, и мать ее матери, старая Сара, о которой еще не забыли в Вербери, старуха со смуглой, почти черной кожей, спасшаяся после уничтожения ее племени и обосновавшаяся, осевшая здесь, близ Компьеня, в надежде, быть может, не столько спастись самой, сколько спасти дочь и внучку, влив, перемешав свою цыганскую кровь с тяжелой здоровой кровью крестьян Вербери, не была ли и она обречена с самого начала, бабка, которой пришлось пожертвовать своей кровью во имя ее же спасения?) Жанна попыталась

найти убежище в этой деревне, сойтись с некоторыми крестьянами, приложив к этому массу усилий, оказав множество услуг, и когда по их отвращению, страху, по их невысказанному, но такому явному желанию, чтобы она ушла, исчезла, убралась из их деревни, где она была как заноза в теле, как бельмо на глазу, Жанна поняла, что обречена, побеждена или, по крайней мере, ей оставалась единственная возможность выжить, одержать верх, единственное поприще, где она может окопаться,— поприще зла.

Крестьяне Верберн обрекали ее на это, как раньше они обрекали ее бабку и мать. Крестьяне сторонились их, почитали, но и ненавидели, ведь они обладали знанием и смогли проникнуть в глубины зла, владевшего душами жителей Верберн; они знали, как ненавидят друг друга родственники, знали злобную, мелочную алчность, жгучее, короткое, как сон, сладострастие. Деревенские заставили их все это принять, всему этому содействовать (сначала так невинно; цыганку оставили в Верберн: другие вас бы прогнали, а мы не такие, но вы уж скажите — вы ведь знаете,— когда умрет мой отец, когда я разбогатею, где спрятано сокровище и что сказать этой женщине, чтобы она...), а потом она стала как бы хранительницей их тайн. Предсказать какое-нибудь событие, дать добрый совет, сделать настой из трав — все это, в общем, пустяки, но тяжело хранить в себе грехи всей деревни, которые потихоньку разлагаются, гниют, отравляя вас, пропитывая вас насквозь. Первой уступкой было дать приют Жанниной бабке, второй — дать ее дочери отречься от своего цыганского происхождения. Только пусть она по-прежнему продает восковые фигурки, гадает по линиям руки, готовит настои трав. Ребенком Жанна была очень красивой. Замысел старой Сары близился к осуществлению. Она смогла выйти замуж за жителя Верберн, такого же бедного, как она, и, раболепствуя, унижаясь, десять раз на дню слыша попреки из-за матери и бабки, сумела

избежать доиоса (удобиый способ отделаться от разонравившейся жеиы) и произвести иа свет первого в их роду закониого ребеика, который будет иосить фамилию жителя Верберн, говорить, как все деревеиские дети, жить, ие испытав до самой смерти никаких других тягот, кроме тех, что уготоваиы местным крестьянам — голода, чумы, гроз. И всего этого достигнуть за какие-то четыре поколеиия. Одиако матери Жаины ие хватило терпеиия и силы иести в себе зиание злого иачала — эту язву — безропотио, погружаясь в него днем и ночью, впитывая его в себя, и при этом ие заразиться едва ли ие смертельиой болезнью. Оиа была тихой жеищииой, в которой цыгаиская кровь была уже разбавлена. Привязаииость к земле (оиа любила и выращивала цветы — заиятие для цыгаики предосудительиое) заглушила в ией высокомериое презрение к людям, которое поддерживало старую Сару. Ей претило убивать младенцев в материиской утробе, насылать иемощь иа соперника или соперницу, содействовать продажиой любви, казавшейся ей вещью неприглядиой; ей претило, усердствуя, помогать тяжелому цепенящему вожделеиию обретать жизнь и достигать цели. В Марии чувствовалось непокорство или, того хуже, отвращение. Могли ли деревеиские ей это простить? Коичилось тем, что иа нее донесли и после пыток, уже умирающую, поволокли иа костер, где при первых языках пламени оиа потеряла сознаиие и больше в себя ие приходила. Говорят, дьявол покровительствовал ей до коица. Как бы то ии было, из трех жеищии имеино Мария была иастоящей колдуиьей — оиа читала мысли, вылечивала безнадежных больиых, утихомиривала безумиых, прикоснувшись рукой к их лбу, разумела язык птиц, и в довершение всего у иее были зеленые глаза. Жанна больше походила на бабку: гордой осанкой, сдержаииой отвагой, прекрасными, словио высечеииыми чертами лица,— в ией чувствовалась мощная поросль цыгаиского рода, которая ие желала из дикого растеиия превращаться в траву с огорода.

Она располагала к себе прежде всего твердостью, резкой, казавшейся откровеииой речью, бесхитростиостью, которая должиа была иравиться жителям Вербери. Ей ие стоило бы труда найти тех, кто захотел бы воспользоваться ее услугами, ио костер, иа котором сожглн ее мать, очнстил Вербeрн от греха. Все вздохиули с облегчеиием и проиикліись самыми благнмн намереииямн. Хороший костер стонт полного отпущення грехов н превосходит отпущеиие грехов неполиое. Запах палеиого, царящий на площадн перед церковью, помогает увидеть воочию, прикоснуться, вдохнуть в себя нзбавление от греха. Преданы костру иизмеииые страсти (тем более что в большиистве своем оии были удовлетворены), иеиависть, ие прекращавшиеся двадцать лет дрязгн, постыдиые желания, иечистые мыслн, само зло. Могли ли очищеииые от зла крестьяне прииять Жаину как свою? Жаину, поротую плетьми, Жаииу, которую прнвязалн к столбу, чтобы заставнть ее смотреть, как горит мать? Ее ие считалн колдуиьей, сообщиицей матери. Былн даже высказаиы осторожиые свндетельства в ее защнту. Однако после того как сожгли колдуиью, Вербeрн некоторое время должеи быть вне подозреиий, как жена Цезаря. Поэтому уходи, Жаниа, отсюда, уходн н пусть тебя сожгут в другом месте. Ей прямо так и говорили.

И она ушла. Все было кончено. Не требовалось большого ума, чтобы это понять. Однако она ие сдастся, ие уступнт без боя; борьба — единственное, что сможет доставить ей радость. Она не унаследовала материнской проницательностн, но в ией была сила, гнев, страсть. У нее не было имени, не было роднны, она пнталась желудями в лесу, но ее поддерживал древний инстинкт — инстинкт выживания. Она стремилась выжить назло тем, кто ее окружал, тем, кто поставил на ней крест. Жанна хотела произвести на свет мальчика, который отомстил бы за нее. Она бы сделала нз него разбойника. Жанна выбрала отца своего будущего ребенка с тщательностью, какая

прежде в ее роду никому не приходила в голову,— он был из шайки, обитавшей у озера, где разбойники топили проезжавших, чтобы без осложнений завладеть их добром. Проклятые, как и Жанна, они сами приняли сторону этого ужасного мира; Жанна помнит их попойки при свете факелов, падавшем на тусклую поверхность пруда, смерть несчастных (грохот повозки на плохо вымощенной дороге, конское ржание, слабые крики жертв — все обходилось без крови), которых отводили на берег и топили, чаще всего в местах не очень глубоких, чтобы можно было их потом развязать, ведь тогда не оставалось никаких доказательств; как в кошмарном сне видит она светлые копны волос в грязной воде и детей, которым приходилось держать головы, как котятам. Сложив руки на округлившемся животе, Жанна погружалась в думы о сыне. Пила она мало, чтобы сын родился крепкий. В мечтах она видела, как ее сын мчится по лесу на лошади, у него за поясом нож и он готов перерезать горло, задушить, утопить — палач мира. Любовника звали Жаком. Впрочем, в народе их всех называли Жаками, и Жанна знала, что в низеньких домах, за ставнями вздрагивали при одном только этом имени. Может, столь красноречивое имя вкупе с физической силой Жака и его поразительной бесчувственностью и предопределили выбор Жанны.

В один ничем не примечательный вечер на берегу пруда под покрапывание мелкого дождя она разрешилась зеленоглазой девочкой. Девочкой! Жанне представилось, что дочь ожидает ее судьба: она будет скитаться с места на место, гонимая всеми, кроме тех, кто, подобно зверям, селится в лесу, напяливает иногда по вечерам на себя звериные шкуры, пляшет, горланит, глушит водку, чтобы совладать с холодом и тоской,— томительной лесной тоской. Даже страшное возбуждение от убийства быстро проходило; большинство этих людей были разорившимися крестьянами, многие — рецидивистами, некоторые — такими же, как она, бродягами-цыганами,—

для них привычным делом было задрать свинью или отомстить за себя. Ненужной роскошью считали они угрызения совести из-за пары-другой утопленников. Они знали, что их ждут виселица, колесо, темница, как раньше их ждали голод, война, эпидемии, нищета. Баш на баш — они чувствовали себя в привилегированном положении, и ужас, который они на всех наводили, порождал легенды, тешившие их самолюбие. Какая-то первобытная гордость — единственное их достояние — прорывалась в их диких танцах.

Они были хорошими товарищами, думала Жанна. Женщин было мало, и только самые отпетые. Жены за разбойниками не последовали,— добропорядочные женщины, способные лишь механически выполнять одну и ту же работу, не знавшие иных дорог, кроме как из церкви в свою хижину и из пекарни к мельнице, умевшие лишь оплакивать умерших детей и рожать новых, латать разъезжающиеся по швам лохмотья, латать жизнь, которая не стоила того, чтобы ее прожить... готовить суп из крапивы, думала с презрением Жанна, да еще делать вид, что сыты,— разве не этим занимались ее мать и бабка. Чего ради? И где выход? Здесь тебя гонят, там обвиняют в воровстве или колдовстве, а ты торгуешь на дорогах, стараясь выручить четыре су за то, на что потратила три, и еще должна считать, что тебе повезло. Это последнее и было самым унизительным. Они убили ее мать, саму Жанну выпороли плетьми, выставили на позор, выжгли ей клеймо, выгнали и при этом шептали, как ребенку, которому суют сласти: «Скорее убегай и считай, что тебе повезло». Жанна знала этих людей, видела, как по вечерам они, крадучись, приходили к ним в хижину, просили настои из трав, приносили восковые фигурки, хотели, чтобы в зеркале или на воде, налитой в миску, им прочили будущее, которого они страшились, Приходили всегда ночью, приходили к Мари, так любившей день, солнце, цветы, птиц. Они заставили ее, принуди-

ли, довели до голода, а потом приносили масло, яйца, курицу — иногда даже курицу! — приносили, что она просила, а Мари просила немного, но приносили по ночам, всегда по ночам. Они могли оправдывать себя тем, что действовали как бы в дурном сне, но не во сне, а наяву желали они смерти родного дяди, мора в стаде у соседа, полового бессилия у соперника. Однажды, сидя на берегу с новорожденной, завернутой в старую крестьянскую юбку (не принесет ли ей несчастье эта наспех приспособленная под одеяло юбка, прежняя хозяйка которой лежала тут же, на дне пруда), Жанна вспоминала, как Мари, непосредственная и, как всегда, немного не в себе (а разве могла она быть иной, когда ей, имевшей если не чистую совесть, то по крайней мере незамутненное сознание, приходилось хранить в себе все их мрачные помыслы), отправилась к соседке попросить черенки. Черенки! Однако дать черенки, по разумению деревенских, значило продемонстрировать свою дружбу, взять на себя тяжелые обязательства, признать, что ведьма тебе ровня и у нее есть душа. Черенки! И соседка перекрестилась. Мари не настаивала, повернулась и, напевая себе под нос, ретировалась. Все же без черенков Мари не осталась. Соседка их ей принесла — ночью. Ночь не день, ночью становишься другим человеком: соседке нравилось испытывать страх, думать, что она совершает нечто недозволенное, опасное. Мари должна была получить черенки не в знак естественного расположения со стороны соседки, а как наделенное смыслом, тайное приношение. И соседка умоляла, вся трясясь, шептала Мари в ухо, и с ее уст не сходило имя мужа, который бил ее, выпивал и который был на столько лет ее старше, что его смерть ни у кого не вызвала бы подозрений, ведь каких только хворей у него нет... «Перестаньте его любить,— задумчиво сказала Мари,— совсем лишите его своей любви и своей ненависти. Человек, на которого больше не обращают внимания, угасает, и жизнь покидает его. Изгоните мужа из своего

сознания. Не произносите его имени. Делайте, что он говорит, но слушайте лишь его слова, не голос. Не разговаривайте с ним больше. Пусть его окружает безмолвие могилы. И ждите шесть месяцев». Голос Мари был ясен и тих. Любила ли, ненавидела она сама? Нет, иначе бы она не выдержала такой жизни, не выдержала бы этой деревни, стремления деревенских заставить ее, чтобы она олицетворяла собой зло, взвалила зло на свои плечи, выкристаллизовывала его в своей душе. Она не знала любви, не знала ненависти, делала, что просили, а в часы отдыха слушала пение птиц. Дух зла не свил гнезда в ее душе, но ее не посещали и ангелы. Она сама была воздушным, ни с чем не связанным духом, эоловой арфой. Мари хранила в себе силу, как скрипка хранит в себе музыку. Те, другие, хотели ее расстроить. Соседка ничего не поняла. Она требовала восковую или глиняную фигурку, кровь летучей мыши, мази, острые иглы. В ее шепоте теперь проскальзывала угроза. Мари равнодушно уступала.

Сидя на берегу пруда, Жанна глядела на дочь. «Лучше ее утопить»,— сказал Жак. Он знал, что говорил. Не был таким беспробудным пьяницей, как другие. У Жака были светлые волосы, сам он был из крестьян; его жену изнасиловала и убила солдатня из королевской армии. Трое маленьких детей умерли от истощения в голодное время после войны. Последнего ребенка, трехлетнюю девочку, он не мог взять с собой, когда, устав сеять, жать, собирать в закрома для других, решил убежать в лес. Убить ее не поднялась рука, в конце концов он продал ее владельцу часовой мастерской в Лаоне — они с женой сокрушались, что у них нет детей. Жак никогда уже не увидит дочери, одно утешение, она осталась жива. В холодные, голодные, тоскливые вечера он говорил себе: «Дочка сыта». Но ему тогда повезло. Почти незаслуженно повезло. А здесь, на берегу пруда, что станет с девочкой? Она превратится в презренную больную шлюху, в жалкую нищенку, промышляющую

воровством или в лучшем случае станет крестьянкой, из самых бедных, из тех, кто ничего не имеет и надрывается на чужом поле за кусок хлеба. «Лучше уж ее утопить». У Жака было черствое, вернее, очерствелое сердце, но от природы человеком он был неплохим. Иногда он заводил разговор о справедливости, о других шайках, в далекой Германии; ему рассказали, что, овладев городом — каким, он уже не помнил,— одна такая шайка все разделила поровну: дома, добро, женщин... Но как туда добраться? У кого узнать поподробнее, узнать, правдивы ли слухи? Жаку рассказывали об этом в другой шайке, но всех из той шайки потом поймали и повесили. Разбойники часто фантазируют. Пока прячешься, притаившись, подобно зверю, в ожидании редкой жертвы, что только не приходит в голову. «Если бы мальчик, тогда ладно... Мужчина выкарабкается, ускачет, спрячется, убьет. Дай я сам ее утоплю». «Завтра»,— ответила Жанна. Она понимала, что Жак прав, что он по-своему жалеет девочку, но утопить ее сейчас, когда у Жанны еще не прошла боль, когда кровь еще течет... А на следующий день грудь уже была полна молока.

Жанна была под стать мужчинам. Привыкшие к отбросам человеческого общества, к женщинам, которые прилеплялись к шайке с голодухи, служили им для забавы, а потом исчезали или умирали, разбойники уважали Жанну с ее не по-женски суровой красотой — Жанна не хныкала, держала язык за зубами и не испытывала жалости к их жертвам. Она чувствовала, что ее уважают, и это служило ей поддержкой, которую Жанна давно уже ни от кого не получала. Шайка была как одна семья, одно племя, но за все надо платить, и вот теперь настала пора принести в жертву свою дочь. Жанна глядела на ребенка и колебалась. Она думала о Саре, когтями вцепившейся в клочок земли, о Саре, которая захотела спасти Мари, но не захотела или не смогла спасти себя. Она думала о Мари, вовсе не ведьме, а фее, а податливой

и безучастиой ко всему Марн, которая ие почувствовала, что умирает, как не чувствовала оиа, что живет. Жаииа вовсе не полюбнла дочь с первого взгляда, как бывает в сказках, но в этом комочке трепещущей плотн обнтала Сара, Марн, не знавшне нмеии отца своего ребенка, в ней обнтала оиа сама н Жак, ее первый и последииñ мужчина (если не счнтать одной давией исторни), который был никем н сразу всем и чье имя олицетворяло бунт. Она задумчнво глядела на ребенка: сейчас осень, до знмы девочка ие умрет, значнт, ждать приходнлось еще три месяца. Грудь наполиялась молоком н болела. Однако, кормя ребеика грудью, пнтая собой эту жизнь, Жанна уже не погружалась в безмерные глубииы отчаяния.

Надо было распрощаться с мутнымн водамн прудов, покниуть разбойннков, которые для самоутверждеиия пугалн жнтелей деревеиь, напялнв на себя волчьн шкуры. Надо было уйтн из леса, спаснтельного н гнбельного одновременно, н осесть средн горожан. Ей предстояло вновь вступить в безнадежиую схватку. Для нее кончалась жизнь простая, бесхнтростиая, когда, чтобы выжнть, не мудрствуя лукаво, убнвают безжалостно других, ие чувствуя при этом за собой ннкакой вниы. Она покндала жнзнь, похожую на кровавый сон с его хмельиым угаром, глухнмн крнками, безмолвиыми пнрами, глубокнм опьянением, ио покидала не естественным путем — через смерть, а спасаясь бегством. Ей предстояло с головой окуиуться в одиночество. И все нз-за малышки, которая ннчего иикогда ие увидит, кроме горя и страдаиий. «Лучше было бы ее утопить». Конечно, лучше, но это было выше ее снл. Жанна ушла ночью, ей было стыдно. Жак ие пытался ее удержать. Он терял не только жеищину, он терял товарища. Однако ои пережил уже столько потерь! «Я постараюсь продержаться здесь еще несколько лет... или месяцев, ио онн все обезумелн, забыли про осторожность. Скоро нам всем тут каюк. Послушай, трактирщик из К.— человек надежиый, еслн когда-ибудь

ты услышишь про эту шайку в Германии или про другую, где пытаются что-то сделать, как бы это сказать, для того, чтобы выкарабкаться, что-то сделать ради справедливости, ради... подай мне весточку, главное, как добраться, если узнаешь, я тут же отправлюсь». Жанна плохо понимала эту его мечту. Разве ей еще с Вербери не было известно, что справедливости не существует? Люди везде одинаковы. Однако она поддержала надежду, которая выделяла его из толпы, красила его, освещала взор. На прощание она чисто по-женски, нежно погладила его свободной рукой, не занятой ребенком, по волосам. На мгновение в этом аду они втроем стали похожи на одну семью. «Обещаю. Клянусь. Не теряй надежды». Эти слова придавали Жаку жизни, поддерживали его. Для Жака тоже не лучше ли было погибнуть, потерять надежду и дать себя убить в первой же заварухе, чем испытывать на себе людскую жестокость? Однако она сказала: «Не теряй надежды», хотя сама ни на что уже не надеялась. «Все женщины одним миром мазаны»,— говорили, должно быть, разбойники на следующее утро, узнав о ее уходе.

Да, все они одним миром мазаны. Всем им остается только бороться, бороться до самой смерти, даже когда надеяться уже не на что и разум подсказывает сложить оружие. Бодену предстояло убедиться в этом самому. Разумеется, она поступала нелогично, нелепо. Мужчине это ясно как божий день. Однако женщине, с которой обращаются как с вещью, как с мертвецом, так, как если бы она вообще никогда не существовала, надо доказать, что она живой человек и даже на пороге смерти в состоянии что-то произвести на свет, хотя бы сея зло и смуту. Жанна инстинктивно стремилась именно к этому — успеть до своей смерти заронить что-то в души этих уравновешенных, спокойных, уверенных в своей правоте людей. Так поступила бы на ее месте ее бабка Сара. Так поступила бы на ее месте любая женщина, которая

рожала, которая, обработав клочок земли, увидела, как пробиваются всходы. Так поступила бы любая женщина, которая когда-либо с наслаждением или нет, но сжимала в своих объятиях мужчину, слышала, как срывается от волнения его голос, гладила его волосы,— любая, кто плотью и духом настоящая женщина. Но знал ли Боден, что такое настоящая женщина? Он видел в Жанне лишь обреченную на смерть колдунью.

Она еще не заговорила. Нельзя сказать, что он угрожал ей пыткой. Да и не он в конце концов изобрел пытку. Он только предупредил Жанну, что, если она будет упорствовать в своем молчании, неизбежно придется прибегнуть к пытке, за которой все равно последует признание. Это в порядке вещей. Жанне в ее пожилом возрасте (во всяком случае она выглядит пожилой) не по силам выдержать пытки. Признание обеспечило бы смерть более быструю и менее мучительную. Какое бы решение она ни приняла, какую бы позицию ни избрала, результат будет один — смерть, смерть, смерть. Не следовало ли ей привыкнуть к этой мысли? Никто не желал причинять ей страданий. Из десяти судей девять охотно предоставили бы ей сразу самую легкую смерть, чтобы больше об этом не думать. Не следовало ей осложнять свое положение. Решившись же на такое, она должна будет пенять только на себя, если ее подвергнут мучениям

Она заговорила, и ее первыми словами были:

— Ничего, я выносливая. И потом, я думаю, мне не больше сорока.

От Жанны не укрылись еле заметные нотки раздражения в голосе Бодена, и она тут же воспользовалась случаем еще больше вывести его из себя. Инстинктивно она желала, чтобы он раскрылся, выдал себя. Скорее всего ей не избежать смерти, а раз так, чего ради она будет церемониться?

— И повыносливее вас...— начал было Боден, но осекся. Он чуть не потерял самообладание, а все потому,

что не ожидал от простой бабы, не умевшей, по всей видимости, ни читать, ни писать, иного сопротивления, кроме жалоб, нытья, заверений в своей невиновности, от которых она быстро бы отказалась, иначе он угрожать или обещать поблажку. Ему приходилось приспосабливаться, применять другую тактику. Теперь в нем говорил политик, правовед, тем более что победа была ему обеспечена. Достаточно было одного его слова, чтобы призвать стражника, и Жанна будет уничтожена или подвергнута пытке. Одно то, что он не пользовался своей властью (ему претило бы поступить иначе), свидетельствовало о его превосходстве, думал Боден. Этот допрос не более чем развлечение, необременительное развлечение.

— Вы читали Ветхий завет?

— Я не умею читать,— сказала Жанна (она говорила неправду).

— Но вам известны какие-нибудь эпизоды, отдельные места из него?

Не совсем уверенно она ответила «да». Бабка рассказывала ей кое-что, но она запретила учить внучку грамоте (Жанна научилась читать позже, много позже).

— Очень любопытно,— удовлетворенно отметил Жан Боден (и взял это на заметку).— А почему она запретила?

— Считала, что женщине, тем более крестьянке, не подобает знать грамоту,— немного поколебавшись, ответила Жанна. Тут она вступала на ненадежную почву. Что выудит из ее слов этот добродушный на вид человек в меховой шапке, строчивший что-то мелким убористым почерком?

— Может, она считала также, что это возбудит подозрение?

Жанна молчала. Она была не столь глупа, чтобы в запрете Сары не почувствовать заранее обдуманного замысла, который должен был сослужить Жанне добрую службу. Доверяя бабке, Жанна подчинилась запрету и никогда не училась грамоте специально, хотя и различала

некоторые слова и буквы. На Сару Жанна не сетовала, негодовала она на других, на всех тех, кто был готов сделать ей зло, обнаружь она какое-то превосходство над ними.

— Ваша мать умела читать?

— Не знаю.

— Как, вы не знаете, умела ли ваша мать читать? Но вы ведь видели ее иногда с книгой в руках.

— Я думаю, она смотрела картинки.

— Какие картинки?

— Цветы...

— Вы, наверно, хотите сказать, травы, лечебные травы, чтобы делать снадобья, например настои от лихорадки?

Он разговаривал с ней, то и дело возвращаясь к уже сказанному, повторяя то же самое, но в других выражениях, чтобы было понятнее, как с ребенком, со строптивым учеником, на которого решено воздействовать лаской, лаской подвести его к последнему испытанию — к костру. Почувствовав это, Жанна пришла в волнение:

— Я не такая дура, чтобы не понять, о чем речь. Я говорю про цветы. Что такое лечебные травы, я знаю.

— Знаете? Это, конечно, ваша бабка научила вас разбираться в лечебных травах.

И он записал: наследственный характер занятий колдовством очевиден. Рецепты, а возможно, и состав ингредиентов передаются от матери к дочери. Жанна немного растерялась.

— В деревне все знают травы.

— Ваша дочь тоже знает?

Жанна вздрогнула. Ее дочь! Она вспомнила Вербери, вспомнила Мари, которая подчинилась, поступила так, как Жанне советуют поступить сегодня: к вящему удовольствию жителей Вербери, она с готовностью приняла смерть, очистив всех от греха, сознавшись во всем, в чем ее обвиняли,— из-за этого ее, Жанну, выгнали из единственного места, где у нее был хоть какой-то шанс

прижиться. Жанна не даст себя провести, нельзя допустить, чтобы Мариетту (девочку звали Мари, а не Сарой — вещь странная,— сама Жанна затруднилась бы объяснить такой выбор. Как и Жанна, девочка больше походила на свою бабку, чем на мать. Однако в характере маленькой Мари было больше твердости, она меньше витала в облаках, была более нежной, но и более пылкой; глядя на нее, Жанна иногда вспоминала, как она прощалась в лесу с Жаком, разбойником и крестьянином, мечтавшим о городе далеко в Германии или в другой стране, где восторжествовала наконец справедливость)... Нельзя допустить, чтобы Мариетту выгнали, заклеймили, заставили скитаться по свету, как Жанну. Эта мысль вывела Жанну из оцепенения, задев единственное уязвимое место в ее душе.

— Если только кто-нибудь из сельчан показал ей травы,— сказала она после некоторого молчания.

— При вас она никогда не называла растения в вашем или соседском саду, никогда не готовила настой из растений, бальзам?

Он тщательно подбирал слова, говорил «настой», «бальзам», а подразумевал «приворотное зелье», «колдовское снадобье».

— Использовала ли она белену, белладонну, рябину, волчий корень?

— Вы человек ученый, мсье, я же ничего этого не знаю,— ее изумление выглядело так естественно.— Леба... как вы сказали? Это все из Ветхого завета?

Снова еле заметный жест нетерпения выдал Бодена.

— Вы утверждаете, что вам неизвестны эти растения?

— Нет, рябину я знаю, но разве из нее делают настой?

— Да, делают,— для тех, кому желают зла,— сурово произнес Боден.

— Мне и в голову такое не приходило, мсье.

Она поняла, как ей следует защнщаться: мне, мол, и в голову ие приходило, впрочем, вам видиее... По своему опыту оиа зиала, что нм всем — даже тем, кто к ней не обращался,— хотелось нногда прибегнуть к такому средству. *Умирают так быстро, так легко, столько бывает непонятных эпидемий, никому не ведомых болезней. И если мой отец, муж, компаньон... Ничего удивительного не случится. Все мы смертны. Видит Бог, он славный человек (она женщина благочестивая) и не попадет в ад, а это самое главное. Столько людей в эту самую минуту прощаются с жизнью. Перчатки, отвар, ночная рубашка — вещи обычные и никаких подозрений не вызывают. Устройте мне это, что-нибудь безболезненное, пусть он умрет как бы сам собой, не сразу (дайте ему причаститься на страстной неделе, дайте ей отпраздновать рождество) и без лишних мучений.* Такие славиые людн! А для раскаяиия у инх остается целая жизнь. Можно будет совершнть паломннчество, получнть отпущение грехов — вещь, столь же удобную, как нх меховая одежда... Но от Сары, читавшей Ветхнй завет, Жанна знала, что Господь не простнт. Он страшен, ревннв, у иего озера нз огня... И Жанна бережно прижимала к себе деньги, полученные от людей, обреченных на вечиые муки.

Ей было достаточно представнть себе человека, с отрешеииым видом сидевшего перед ией, в аду, чтобы обрестн силы глядеть ему в лнцо и ннчего ие бояться. *А вы, вы сами хоть раз помыслили об этом?* Коиечно, только помыслили, вы ведь не убийца. Однако онн тоже ие убийцы. Это ведь не взаправду — яд в рубашке, игла в фигурке из воска. В это верят и не верят. Онн говорят себе, что ничего не выйдет, не получится; в тот момент, когда льется яд, когда оии прнносят рубашку, они уже ие нспытывают ненавнстн. Чашка... белье...— это только для вида. Одиако все сбывается иа самом деле. На следующий деиь иедомогаиие: простуда, резь илн лихорадка, из тех, что занесла сюда солдатня. По внду. Потом

они искренне оплакивают свои жертвы. Всех их ждут озера огня и серы, головокружительное падение и пламень, пламень, пламень. И меня, конечно, тоже, но я это знаю. Там мы будем вместе, там мы будем равны, тогда и наступит справедливость, но не на земле (не в городе, где пьют, едят, согреваются, а может, даже пляшут и поют, как надеялся Жак, бедный безумный Жак), а в аду. Если, разумеется, ад существует... *И тебе тоже пришла в голову эта мысль!*

Наглость это или глупость? Боден колеблется. Конечно, недооценивать противника не следует, но и переоценивать ни к чему. Простая деревенская колдунья может с помощью дьявола приобщиться к знаниям, открытым великим умам, таким, как Кардан, Агриппа; кроме того, женщине свойственно коварство, она ускользает, подобно змее, и, подобно змее, подкрадывается и жалит. «Нет, я никогда об этом не думал». Надо же, его, Бодена, человека добропорядочного, смеет обвинять какая-то нищенка. Может, правда, столь резкий отпор задел его тщеславие. Ненавидел ли он когда-нибудь? Нет, ведь это чувство скорее приличествует животному. Однако, вполне вероятно, женщина и есть самое настоящее животное.

— Но вы знаете людей, которые помышляли об этом, может, выражали такое желание в разговорах с вами, просили вас?

— Такие вопросы, мсье, задают людям ученым, а я женщина необразованная.

— Об этом позаботилась ваша бабка, не так ли? Разумная предусмотрительность.

— Бедность учит осторожности. Власть имущие вроде вас или этих мсье могут себе позволить быть учеными, они полагают, что и другие в состоянии последовать их примеру.

Ответ разумный, но впечатление несколько портит страстный хриплый голос, в котором таится вызов.

— Вы не любите власть нмущнх?

— А вы любнте бедных, мсье?

В такнх спорах ои чувствует себя как рыба в воде, ои даже не замечает, что вопрекн правнлам сам отвечает иа вопросы. У секретаря суда округляются глаза. Допрос такой иеобычный, что он спрашивает себя вдруг, уж не безвиниа лн эта долговязая женщнна, которая так без страха ответствует н задает вопросы.

— Я тружусь для их блага, любезиая. В одиой из свонх работ я выступнл за уменьшенне цен на продукты в королевстве, чтобы каждый ел досыта. Если бы вы умели читать...

— Еслн бы я умела чнтать, я бы ела досыта, мессир?

В гиеве ои сжал кулаки. Какое сильное оружие невежество! Не зиаешь, что отвечать. И он неудачно попытался парнровать:

— Для иеобразоваиной жеицииы вы говорнте очень складио.

— Это получается само собой. Ходишь нз города в город, слышишь, о чем люди говорят...

— А о чем оии говорят?

Ее бровн прнподымаются. Деревеиская хнтрость — когда хочешь выиграть время, прнтворись, что не понимаешь. Хитрость иастолько очевидная, что Боден виовь обретает спокойствне. Хнтрая бабеика, но вовсе не такого иедюжнниого ума, как ему порой представляется. Он ие стыдится призиать свою неправоту. Изучеиие людей — едииственная его страсть, н его ниогда даже в этом упрекают. Оседлав любнмого конька, поглощенный свонм исследованием, ои настанвает, хитрнт, терпелнво ждет, и его коллег — представителей третьего сословия такое поведение коробнло бы, не убеднсь онн, сколь действенно его упорство. Одиако мужчине, мыслящему более нли меиее разумно, легче досаднть вопросамн, его легче сбнть с толку, чем жеицииу. Укажите иа ошибку в его рассуждениях (а кто застрахован от ошибкн?), и он сразу

запинается, теряет уверенность, на мгновение показывает свое истинное лицо. Женщина, и прежде всего женщина невежественная, не нуждается в логике. Она и не понимает, когда от нее требуют рассуждать логично. Она вовсе не теряется, наоборот, смеется вам в лицо или начинает упираться. Как женщина может понять очевидность, которую столь почитает Боден, необходимость ясности, содержательности понятий, прекрасную работу мирового механизма (который местами следует немного смазывать маслом, и Боден — человек здравомыслящий, прогрессивный — вносит в это дело свою лепту), триумф разума? Женщинам чужды эти постоянные усилия, составляющие смысл человеческого существования, в этом их слабость и их сила. По сути своей все они в какой-то степени ведьмы.

Женщина — элемент хаоса, она привносит в мир анархию, женщина — вредоносная закваска, непредсказуемо осложняющая жизнь. Как прекрасен был бы мир без женщин. Не приходится сомневаться, что он на три четверти освободился бы от свар, лжи, малопонятных обрядов, освободился бы от тайн. Мир, лишенный покрова таинственности,— его подспудная мечта. В глубине души он не любит женщин. Такую неприязнь можно испытывать к чужому народу, к чужой расе. К женщинам у него отвращение. На что они вообще годятся? Работать по дому? Однако здесь справится и хороший слуга. Красота? Достаточно посмотреть, во что они превращаются к старости. И потом, красивы и дети, и цветы, и картины — их красота не таит обмана. Женщины производят на свет детей? Да, производят, но детей следовало бы у них тут же забирать, так как они норовят испортить их с колыбели,— забирать и отдавать на воспитание. В Спарте... Может, тогда действительно существовал способ сделать женщину разумной. В глубине души я ненавижу женщин. А такая вот женщина как бы символ всего, что он в них ненавидит. Упрямая, ограниченная, вечно придающая словам

двойной смысл, она внушала беспокойство, неясное ощущение вины; притворяясь существом немощным, она обрушивала на вас неожиданную таинственную, неизвестно откуда взявшуюся силу, порожденную не разумом, не рассудком, не верой, а глубокой необъяснимой убежденностью, которую пробуждает к жизни плоть, нутро... Возможно, это связано с их способностью рожать детей, ведь они плотью усваивают, что ход вещей извечен, жизнь продолжается и после их смерти, зло и таинственность бытия беспредельны...

Внезапно его кулаки сжимаются, но, заметив это, Боден расслабляется. В конце концов травы — это только первое признание. Его власти нет предела. Стоит ей вывести его из терпения, и он может сделать так, что она исчезнет, словно в люк провалится. В первый раз в жизни он впрямую распоряжается человеческой судьбой.

Разумеется, у его политической деятельности другой масштаб. Решения, принимаемые с его подачи, касаются не одной придурковатой и лицемерной деревенской бабы, а целых сел, целых городов. Когда в парламенте он собирается выступить с речью, такая мысль иногда приходит ему в голову и вызывает некоторое интеллектуальное опьянение. Варфоломеевская ночь ошеломила Бодена. Какая бессмысленная резня! Какая расточительность! Эти люди могли бы принести пользу королевству! Однако в конце концов речи, кулуарные разговоры, уловки, дабы перетянуть того-то и того-то на свою сторону, и в результате решение, сколь бы благоприятным оно ни было, касаются людей, от него далеких, тех, кого он воспринимал просто как некую категорию лиц: лига, гугеноты, народ,— и потом, он не единственный, кто несет ответственность за случившееся. Каждому свое. И вот теперь ему, Бодену, который вовсе не в восторге от абсолютной монархии, приходится быть властителем и тираном и распоряжаться чужой жизнью. Нет сомнения, объяви он о невиновности Жанны, используй всю гибкость своего ума

для ее оправдания, ему ничего бы не стоило убедить провинциальных судей, причем без ущерба для черни, готовой в слепой ярости вопить и забрасывать любого камнями. Достаточно было бы подкинуть ей другую жертву или, того меньше, другую идею — чернь так непостоянна, он-то уж это знает. Тиран и властитель. Пусть для одного-единственного существа, но для существа, которое тут, рядом, дышит, думает,— ему стоит лишь поднять взор, чтобы разглядеть каждую черточку лица этой женщины. Ее глаза устремлены на него, но достаточно одного его слова, чтобы эти глаза навеки закрылись, чтобы этот голос никогда больше не прозвучал. Мысль опьяняет и слегка страшит. Однако он сразу спохватывается: да, это человеческое существо в его власти, но до чего же оно убого...

Молчание, по-видимому, не тяготит обвиняемую. Она пристально смотрит на Бодена, словно изучая его. Она, возможно, тоже сознает, что ее судьба в руках этого нестарого еще человека с холодным проницательным взглядом, изящными руками, держащими перо, золотой цепью на шее, хрупким телом, даже в теплую погоду укутанным в шерстяную одежду и бархат,— он подвержен приступам ревматизма.

— Хитрить ни к чему, Жанна. Вы прекрасно понимаете, когда вам подобает отвечать. Вы уже сознались в том, что лечили травами, и не только лечили. Дело не в их названии. Но я не настаиваю. Ваша бабка тоже, естественно, занималась тем же ремеслом. Вашу мать сожгли как ведьму. Я не вхожу в число ваших судей, однако могу сказать...

— Что меня тоже сожгут? Вы думаете, я не знаю?

Какой необузданный нрав! Какой огонь зажегся на ее дотоле бесстрастном лице!

— Было бы неверно считать, что все предопределено заранее. Конечно, пока все говорит против вас...

— Но если я признаюсь, мне никто не причинит зла,

вы это хотите сказать? Ну иесколько лет тюрьмы, потом сходить иа богомолье... Или вы думаете, мотаясь из города в город, я ие слышала ничего подобиого? Или вы думаете, моей матери не предложили то же самое? Некоторые, чтобы избежать мучеиий, созиаются, и их подвергают пыткам просто ради иаказаиия. Было бы иесправедливо, если бы иевииные проходили через пытки и умирали от иих, а виновиые отделывались одиим костром, ие так ли? Некоторые верят, что в последиюю миниуту их освободят или отведут в другую темиицу,— их обводят вокруг пальца и еще издеваются иад их иадеждой, им иногда завязывают глаза, как детям перед иовогодиими подарками, и в последиюю миниуту — иа тебе подарочек! Надо же судьям и повеселиться. Одиако мие-то с какой стати их веселить?

Да, оиа и вправду колдуиья. И сомиеваться ие приходится. А какая иеиависть!

— Вы, Жаииа, очень хорошо осведомлены о том, как имеют обыкиовеиие поступать судьи. Может, те, кого вам жаль, кого, по вашим словам, обвели вокруг пальца, числились среди ваших друзей?

— У меия иет друзей, и мие иикого не жаль,— немиого успокоившись, возразила Жаииа.— Оии желают моей смерти, уже давио тут иикого ие сжигали, а им этого иедоставало, так почему бы ие сжечь меия, раз за меия иекому заступиться?

— За вас заступятся судьи, если сочтут иужиым,— иеожидаиио торжествеиным тоиом произиес Жаи Бодеи. Ои ие позволит, да, ие позволит этой дикарке умереть с мыслью, что выбор пал иа иее случайио, что, как оиа сказала, ее избрали, дабы заглушить тревогу жителей деревии. Ей следовало призиаться в своем злодеяиии, в своем грехе, чтобы каждый мог жить в ладу со своей совестью (и Жаииа в том числе, если, правда, у иее есть совесть) после приията сурового, ио справедливого и соизмеримого с совершеииым преступлеиием приговора.

— Судьи? — Она вытаращила глаза.

— Ну конечно, судьи. Если существует возможность, пусть и крохотная (чего не бывает!), что вы окажетесь невиновной, надо говорить, надо с предельной точностью отвечать на поставленные вопросы.

— Даже на вопросы палача во время пыток?

Конечно, без палача дело не обходится. Всегда есть палач. Следовало оправдать его присутствие перед этой женщиной, растолковать, какое место занимает палач при слаженном исполнении столь очевидного закона. Палачу уготовано важное место. Однако, чтобы это понять, следовало бы прежде уяснить все остальное, уяснить функционирование всех других составных частей правосудия, уяснить необходимость остановить распространение зла, отсечь вредоносные элементы общества, чтобы мир исцелился, механизм общества работал без перебоев, права и обязанности составили единое гармоническое целое и каждый добровольно занимал бы в этой пирамиде свое, строго определенное, удобопонятное место. Разумеется, тому, кто находится в самом низу пирамиды, принять подобное положение дел труднее, но находилась ли внизу пирамиды Жанна? Она ведь не крестьянка, не мелкая торговка, перебивающаяся чем и как придется, а в лучшем случае нищенка, в худшем — колдунья и отравительница. Что можно ей внушить относительно прав и обязанностей? Имеет ли ее жизнь хоть какой-то смысл, если она, как ему представляется, вообще находится за пределами осмысленного существования?

— Палач и пытки необходимы как раз потому, что судьи не хотят выносить обвинительный приговор, не имея доказательств вашей вины. Им надо знать правду, неужели не ясно? Когда человек испытывает тяжкие страдания, у него не остается сил лгать.

— А судьи? Сами судьи не лгут?

— Но их ложь не преследует цели утаить правду.— К нему вернулось самообладание: Жанна, несмотря на

злобный тон, задает разумные вопросы. Они касались интересной области, к которой он и сам был чувствителен. Его задача — наставить, убедить, заставить понять.— Судьи говорят неправду, не стремясь к обману, как и палач пытает не для того, чтобы заставить жертву страдать. Их цель — победить зло на его территории, установить истину.

Поймет ли она наконец? Встанет ли на путь признаний, поведав о всех подробностях, ради которых он и взвалил на себя эту ношу? О чародействе, о порче, о том, к чему они приводят, и, может, окажись Жанна не столь тупой, как иногда представляется, о благоприятных каменьях или вдруг даже о философском камне, о превращениях элементов. О, он заставит ее все выложить. Терпения у него хватит. В действительности Бодена удручало только одно — вдруг он старается из-за ерунды и перед ним всего лишь вязательница узлов, отравительница невысокого полета, способная при случае сделать кому-нибудь аборт. Вот было бы невезение. Дело Боден выбрал не сам, но он уже давно мечтал присутствовать на одном из таких процессов, случай, однако, не подвертывался. И вот он оказался здесь. Женщине повезло. Он все ей объяснит, не даст ей умереть в неведении. Для него, Бодена, было бы самым страшным наказанием умереть, не поняв. И Боден почувствовал смутную жалость к ее помраченному рассудку.

— Жанна, ну проявите же добрую волю. От вас требуют только одного — правды. Предположим на минуту, что вы неповинны в этом преступлении, в колдовстве, но по крайней мере ваша мать была колдуньей?

— Не знаю,— проговорила Жанна, опустив голову.

— Но ваша мать во всем призналась, в том, что наводила порчу, летала на шабаш, травила людей.

— Она не хотела защищаться. Мне кажется,— с некоторым колебанием в голосе возразила Жанна, и ее лицо смягчилось,— мне кажется, она желала смерти.

— Да кто вам поверит! Ну хорошо, пусть она желала смерти. Но для этого дать себя обвинить в самых ужасных преступлениях? Можно ли решиться на то, чтобы тебя проклинала вся деревня, чтобы тебя обзывали самыми отвратительными словами, можно ли сознаться в самых гнусных проступках, только потому что желаешь смерти? Разве нет других способов умереть?

На память ему пришли Сократ, Петроний. Хотя от женщины вряд ли можно ожидать...

— Мне кажется,— сказала Жанна,— она уже была мертвой...

— Уже мертвой, к моменту ареста?

— Нет, значительно раньше.

Это становилось интересным. Некоторые богословы, причем из самых сведущих, утверждают, что колдуньи отправляются на шабаш не телесно, а в духе (существует не одно свидетельство, когда колдунья всю ночь спала под наблюдением, а утром признавалась, что улетала в дальние края и участвовала в ритуальном поклонении козлу). Не могло ли так случиться, что дух этой женщины, привыкший покидать тело, окончательно оставил его до того, как колдунью подвергли наказанию?

— Объясните подробнее.

Что Жанна могла объяснить? Она и говорила, словно во сне. От жары в комнате (и это после тюремной сырости), от спокойного вида чинившего перед ней перья невысокого человечка она временами теряла чувство реальности. Иногда к ней возвращалась ясность мысли, хитроумие, но в другие минуты она, казалось, уносилась за пределы мира, во вневременное пространство, втягивалась в спор, который ведется испокон веков и который никогда не закончится. Однако как бы в тумане она осознавала, что могла бы увлечь за собой и этого сидевшего рядом человека, чье прерывистое дыхание доносилось до ее слуха (у него, очевидно, было больное сердце или больные легкие, и он страдал от удушья,

типичной болезни людей нервных, которую знахарка умеет распознать). Она цеплялась за эту надежду, как, утопая, цеплялась бы за другого человека, думая про себя (а именно такое Жанна вполне могла бы подумать): «Я утону не одна».

— Но ваша мать... Она защитила вас перед судом, сказала, что вы ничего не знали про ее темные дела. Значит, не все в ней умерло. Она была вам хорошей матерью.

Хорошей матерью... Можно ли назвать Мари хорошей матерью? Легкую, воздушную, кроткую, безучастную, прекрасную, холодную, чистую Мари... Когда думаешь о ней, напрашиваются сравнения только с чем-нибудь из окружающей нас природы. Холодная, как родник, к которому приходят зачерпнуть воды, ускользающая, подобно реке, легкая, словно цветочная пыльца, которая безучастно покрывает все вокруг, неуловимая, будто теплый весенний ветерок, который приносит с собой еле заметный нездешний запах, пробуждающий грусть подобно воспоминанию о чем-то случившимся с тобой еще до рождения, о чем-то никогда не бывшем... Мари никогда не гневалась, не бранилась. На сварливую Жаннину бабку она смотрела, как упрямый ребенок на какую-нибудь диковинку, как смотрят на неизвестное животное или даже на неведомое причудливое растение, о котором, отходя, тут же забывают. Никогда от Мари не слышали слова упрека или осуждения. Приходили ли к ней за снадобьем, сделанным по древнему рецепту, за сильным снотворным или за фигуркой, чтобы накликать порчу, приносили ли гвозди с кладбища для снятия заклятий или обрезки ногтей для их наложения, она всегда глядела все тем же взором, означавшим: «Вот, значит, чего он хочет, чего стоит...» Мари делалась передаточным звеном, инструментом. Она втыкала иглу в маленькую восковую фигурку, произносила целительные или смертоносные слова, но клиент хорошо знал и чувствовал, что она — орудие в его руках,

что эти слова произиосит ои сам, сам насылает порчу. Ои ие мог переложить тяжесть своей иеиависти, зависти, сладострастия на колдуиью, тяжесть сдавливала ему грудь; ои ие освобождался от иее, ему лишь иаполовииу удавалось отмежеваться от последующих событий, чего добивались миогие и миогие, имевшие дело с более сисходительными ведьмами. Жаииа, тогда еще ребеиок, ощущала сгущавшуюся вокруг матери злобу и времеиами разделяла ее. Принятая в деревенскую школу, оиа соприкасалась там с миром условностей, миром успехов и иеудач. Картинки и розги, хорошие отметки и дурацкий колпак для иаказания плохих учеииков — все это было ясио. Ее бабка Сара по-своему тоже была частью этого мира, где от плохого поступка испытываешь смешаииое с горечью иаслаждение, а от хорошего — лишь слабое удовлетворение. В этом мире существовала ложь, оружие совершеиио необходимое, но была и правда, являвшаяся как бы фамильным достояиием, вместе с уииверсальным ключом — презреиием уживалось и почитаиие, редкий цветок иа недоступных вершииах; но сильнее презреиия было стремление выжить и победить, иеобходимость бороться до последиих сил. Бабку Жаииа поиимала и любила. Одиако для Мари ничего этого ие существовало или все было в равной мере любопытиым, окутаиным тайиой, безучастным к человеку. Она иикогда на Жаииу ие сердилась, ио иикогда и ие проявляла к иеи нежиости, в лучшем случае — неопределенную доброжелательность. И все же она действительио ие во всем созиалась, ие позволив тем самым, чтобы дочь осудили вместе с иеи. В первый раз Жаина отдавала себе в этом отчет.

— Итак, вы утвержадаете, что ваша мать к моменту ее осуждеиия была уже мертва. Одиако она ходила, говорила, призиавалась в содеяином. Вы, вероятно, имеете в виду ее дух? Дух покидал ее тело в результате каких-то магических действий?

— Почему магических? Среди тех, кого я знаю, таких людей множество. Изнутри они мертвы или, может, погружены в сон, но они едят, пьют, разговаривают не хуже нас с вами...

— Они околдованы? — Он подался вперед: теперь разговор касался самого главного, самого основного. Несомненно, тут целое осиное гнездо колдунов.

— У вас все колдуны на уме,— резко ответила Жанна.— Повидали вы их, наверное, на своем веку. Околдованы! Одержимы! Как будто сами люди не способны учинить такое над собой.

— Она притворяется сумасшедшей,— вставил наконец слово секретарь суда, с самого начала не открывавший рта; допрос, столь не похожий на те, которые он привык записывать, начинал его порядком утомлять. Кроме того, он хотел есть. Эти господа из Парижа считают себя шибко умными, а сами не могут выудить у ведьмы признание. И вот к чему это приводит: ведьмы наглеют, у них появляется надежда как-нибудь выкрутиться, и допрос затягивается до бесконечности.

И так как ни судья, ни обвиняемая, казалось, не слышали его слов, он повторил:

— Она притворяется сумасшедшей. Все они так делают.

Они наклонились друг к другу: Жанна говорила теперь тихо, но возбужденно, а Боден слушал, крайне заинтересованный ее словами, и хотя он понимал, что она как бы поймала его на крючок, был уверен, что сумеет вовремя соскочить,— куда важнее было то, что из ее слов, из нечаянного жеста от мог...

— Вы думаете, этим людям нужна чья-то помощь, чтобы опустошить свою душу? Вы когда-нибудь глядели в их глаза, они у них словно из стекла, по поверхности которого скользят улыбки, мысли, но вглядитесь в их глаза хорошенько, и вы увидите, что там ничего нет. Эти люди внутри пусты, подобно полым деревьям,

изъеденным насекомыми. Такие деревья стоят прямо и даже красивы на вид, но вдруг дует ветер, и они рассыпаются в прах.

Он хотел ответить и слегка отстранился.

— Неужели вы никогда не видели таких людей? Иногда они не совсем мертвы, но все делают так, чтобы окружающие в это поверили. А вам самим не доводилось проводить два-три дня, живя как обычно, но бездумно, не существуя на самом деле, как бы порхая над жизнью? Все течет мимо вместо того, чтобы задевать вас, ничто ваше сердце не волнует, ничто уже не доходит до него... И если вам покажется, что этот покой покидает вас, вы хватаетесь за него, держитесь за него как можно дольше, забиваетесь, как барсук, в свою нору, куда никто другой не может протиснуться. Посмотрите тогда в зеркало на свои глаза. В глубине их вы увидите пустоту, смерть.

В маленькой комнате с высоким потолком воцарилось молчание. Солнечный луч через слуховое окно с решеткой достигал бумаги с высохшими на ней чернилами.

— И судьи, осудившие ее, тоже были мертвы. Я видела их глаза, слышала их голоса, равнодушные, бесцветные, одинаковые, слова срывались с их губ невесомыми птицами. «Пусть ее сожгут». Точно так же они сказали бы «пусть ее отпустят», таким же тоном. Просто привычнее им было сказать «пусть ее сожгут».

— Она наносит оскорбление правосудию,— возмутился секретарь суда.— Метру Бодену следовало бы...

— Он прав,— медленно, словно очнувшись ото сна,— сказал Боден.— Жанна, вам нужно обуздать свой язык.

Жанна оторопело глядела на Бодена. Она, казалось, сама не понимала, что говорила, впав в транс, что с ней иногда случалось, когда ее речь преображалась, становилась неожиданно непринужденной и даже вдохновенной, словно Жанна черпала из глубокого источника, о природе которого не имела ни малейшего представления.

Она знала только, что тогда ее речь производит впечатление и простаки уходят от нее довольные, оставив свои деиежки, когда же источиик иссякал, и посетители преиебрегали ею, Жаниа желала им смерти. Нет, Жаниа ие зиала, колдуиья оиа или иет, ио знала, что она, Жаниа, живая.

Мэтр Бодеи поднялся, собрал бумаги. Нить оборвалась как раз тогда, когда ои хотел, поэтому ои чувствовал себя более сильиым, более увереииым.

— Уведите ее.

— Пытать? — с готовиостью спросил секретарь суда.— Это иаверияка иесколько ускорит ход событий.

— Нет, иет, просто отведите ее в камеру. Завтра, если у меия будет время, я продолжу допрос. Спешить некуда.

Спешить было иекуда. Действовать следовало по порядку, ииаче можио было запутаться. Разумеется, эта женщииа — колдуиья. Словио боясь забыть, Бодеи повторял про себя свидетельства ее виионости: травы, мать-ведьма, духи, покидавшие тело, и, по-видимому, зиание тех закоиных уловок, какие используют против колдунов. Не говоря уже о иенависти, о мятежиой ее сути, которая проявлялась при каждом слове. Не пыталась ли оиа его околдовать, когда иагибалась к иему, шептала? И разве частичио ей это ие удалось? Разве не позволил ои ей произиести опасиые вещи? Характериым было и упоминаиие о зеркале. Разве колдуны зачастую ие прибегают к зеркалу? «Посмотрите иа себя в зеркало»,— сказала она. Или: «Посмотрите в зеркало иа свои глаза». Должио быть, оиа хотела обвести его вокруг пальца. Миогим ли ои рисковал, послушавшись ее? Утверждалось — и это доказаио (мало того, это иормальио и справедливо), что ведьмы после ареста тут же теряют всю свою власть, что они ии в коем случае ие могут вредить судьям своим колдовством. Это было бы в высшей степени

несправедливо, не по-божески, если бы судьи, жертвовавшие собой для всеобщего блага, подвергались действию того самого зла, которое они стремились искоренить. И все же... Ему приходилось слышать, как бес овладевал теми, кто пытался его изгнать, и экзорцисты умирали в жестоких мучениях явно сатанинского характера. Ему рассказывали и о палачах, которых до последнего часа неотступно преследовали такие же страдания, каким они подвергали свои жертвы во время пыток, так что казалось, будто теперь они сами подвергаются пыткам. Месть ада смущала душу, потому что не давала передышки до самой кончины и наводила на ужасную мысль, будто она имеет продолжение и в ином мире. Возможно, в действительности речь шла о неправедных судьях, свирепых палачах, которым не хватало беспристрастности, необходимой для выполнения своих функций. Тем не менее эти факты доказывали, что дела обстояли не так просто, как считали некоторые простодушные судьи. Проникновение в невидимый мир сопряжено с опасностью. Ученый, однако, обязан решиться на эксперимент. Защитой от зла должна ему служить сама цель. Боден вовсе не нападал на эту женщину, он лишь вытягивал из ее признаний полезные сведения; добившись своего, он перепоручит Жанну судьям, не премину в воззвать к их милосердию. Разумеется, он смог бы при желании сделать для нее больше — выступить в ее защиту, доказать ее невиновность. Ничего нет проще, если принять во внимание малую образованность и податливость его коллег. Упражнения ради он позволил бы себе такую забаву в любом другом случае, но не когда речь шла о ведьме, ведь это означало бы вступить в сделку со злом, принять его.

Конечно, можно было бы возразить, что подвергнуть зло анализу, понять — это уже в какой-то степени принять его. Следует, однако, сказать, что, имея дело с такой женщиной, при том что доказательства ее вины

час от часу приумножались еще даже до формального ее признания, испытываешь искушение поскорее от нее отделаться, освободиться от тягостных мыслей, отталкивающих образов, которые она в тебе вызывает (Бодену, правда, было не по себе из-за того, что Жанна до сих пор ни в чем особенно страшном не созналась). Однако присутствие ведьмы порождало — он слышал об этом и раньше, а теперь убедился сам — переизбыток новых или предствлявшихся новыми мыслей и образов,— безусловно, единственное, что оставалось от их могущества. Так, например, он явственно ощущал отвращение ко всей их породе, к способности женщин множить жизнь и вместе с жизнью зло. Спору нет, встречаются святые женщины, благочестивые супруги, передающие другим свои добродетели, но, по-видимому, из-за несовершенства женской природы таких женшин ничтожное меньшинство, а может, дурные качества передаются легче, чем хорошие, во всяком случае семейств, которые в течение многих поколений славятся своими добродетелями, значительно меньше, чем семейств, якшающихся с нечистой силой. Искоренение последних — задача, которая тяжким бременем ложилась на судей и в итоге подрывала их дух. Боден не сомневался, что многие приступали к этой работе с большим энтузиазмом, в надежде в скором времени выкорчевать зло, чтобы можно было без помех строить в городе или деревне новую жизнь, полную порядка и гармонии. Однако чем больше боролись со злом, тем больше, казалось, оно разрасталось, особенно в последнее десятилетие. Сорняк вырывали, но дьявольски плодоносное семя уносилось ветром, и как уследить сразу за всем и как окончательно обесплодить неуловимую нечистую силу? Окончательно... Постепенно судьи начинали отдавать себе отчет в невыполнимости стоящей перед ними задачи. Лучшие из них приходили в отчаяние: ведь они полагали после корчевки, чистки, освободившись от зла, переключиться на другое, приступить...

Прнступнть к чему? К построеиню, восстановленню (пусть осторожиому, ио ведь в каждом деле иужеи первый шаг) общества, государства — так счнтал сам Боден. Другие утешалнсь выгодамн своего положения (говорнли же, что в Тюрнигни палачн расхажнвают в одеяннях нз золотого сукна), а худшне сами былн заражены. Постоянно погружаться в зло, отыскнвать его прнчины, исследовать разновндностн, размышлять о свойствах... Неуднвительно, что слабые души терялн орнеитнровку. Очень часто этн пекари, каретннкн, мелкие торговцы, выдвннутые в свонх городках в судьи, даже не отдавали себе отчета в важиости своей ролн. Им выпало разрушать, нскоренять, другнм — сознддать, создавать закоиы. Осозиай оии свою важиость (свое место в пнрамнде), нх бы укрепила мысль, что общество в иих иуждается. Однако нх головы былн забиты загубленным урожаем, умершнми в младеическом возрасте детьмн нлн, как у нотариуса, постельиымн неурядицамн, н онн сжнгали подсудимую, счнтая, что тем самым синмаются все вопросы. Но зло кроется в ином.

Да, в ниом. Не в колдовстве, ие в составлеиии мазей, ие в произиесеини ритуальиых слов, а в добровольиом соглашеннн между человеком и дьяволом, соглашенин, подобиом (кровь стынет в жилах от такого сравнения) некогда заключениому между человеком и Богом, подобном священиым договорам Ветхого завета, которые Бог заключнл с пророками и согласио которым Бог защнщал и иаправлял избранный иарод, пока тот ие отрекся от Господа.

Бодеиа (сведущего в священиом писаиин настолько, что о нем ходнлн нелепые слухн, будто он был кармелнтом, будто у иего мать еврейка) в высшей степенн прнвлекала мысль о таком соглашеиин. Мысль была прекрасной, ибо доказывала иаличне у человека свободной волн. Человек выбирал. Как, все тщательио взвесив, выбнрают между двумя формами правлеиия, человек

выбирал Бога, Духа, полностью в нем растворялся н делал это обдумаиио. Мыслнмо ли, чтобы таким же образом ои встал бы под зиамена зла? Все же прнходилось это прнзиать, ведь большинству колдунов договор с дьяволом не прииоснт никакнх земных благ, очеиь часто оии бедиые, даже иищие и больиые, когда же онн приидлежат к богатым н видным фамилням, у них иет иикакого резоиа предавать себя дьяволу. Другим они сулят сокровнща, сами же иикакой пользы для себя не нзвлекают, другнм предсказывают будущее, свою же казнь предвндеть ие в состояиин. Они совокупляются с дьяволом, но его плоть или, по крайней мере, плоть, в которую он облекается, холодиа, а совокуплеиие болезнеиио. Отсюда следует заключить, рассуждал Бодеи, что дьяволу отдаются так же, как Богу — бескорыстио, из одиой только душевной склониости. Имеиио эту склонность н иадлежало исследовать, чтобы добраться до сути вещей.

В задымлеииой гостииой с пыльиыми коврамн иа стене Клод д'Оффэ постарался подать на стол обед, достойиый гостя. Прнгласнли и судей, к которым вериулся аппетит после того, как in petto * они решнли переложить это дело иа плечи достославиого внзитера, автора «Республикн», защитнка третьего сословия, известиого кроме всего прочего своими умерениымн взглядамн. Не протестовал лн ои иеодиократно против преследоваиий гугеиотов? Можно лн было счесть такого человека кровожадным, иесправедливым? Разумеется, нет. Бнтва должиа была разворачиваться иа нх глазах, битва — пусть неравная, но захватывающая — между злом н добром, и онн готовились к такому спектаклю, к такому праздиеству, готовнлнсь следить за всеми перипетнями, как еслн речь шла об историн, от которой

* В душе (*итал.*).

испытываешь прнятную дрожь, поскольку в глубнне душн знаешь наверияка, что в коице восторжествует добродетель. «Какое впечатление она иа вас пронзвела? Попыталась она вас околдовать? Надо ие давать ей передышки между двумя вопросами, ведьмы имеиио тогда шепчут свои заклятья. Она шевелила рукамн? Вы распорядилнсь ее развязать, это опасио. Вам нзвестио, что дом * Берже отказывался допрашивать женщнну, если у той не завязаны глаза? И все-таки одиажды, допрашивая ведьму из Лаона, ои преиебрег этой предосторожностью, думая, что она слепая, и на шесть месяцев превратился в одержнмого...»

Гул голосов, перекрестиый огонь вопросов, иа которые инкто не слушал ответа, ие прекращался. Присутствовала на обеде н хворая дочка Клода д'Оффэ, ее щекн уже иачинали покрываться румянцем. Все елн и пили к вящему удовольствию радушиого хозяниа, боявшегося, как бы стол не оказался скудиым, а внно молодым: запасов в Рнбемоне недоставало. Жан Боден, правда, заметнл, что уже к началу обеда гости казались слегка под хмельком.

Вот и последияя ее тюрьма. Были и другие, миого другнх, за дело и ие за дело. Эта ие худшая, здесь почтн уютно. Впрочем, рибемоискую тюрьму редко использовали по иазначеиню. Рибемои — спокойиый городок, сюда иногда захаживалн фокусинкн, вожаки медведя, нх упрятывали в тюрьму иа два-три дия за кражу курнцы нлн просто за иерасполагающнй внд, вызывавший смутные подозрения. Иногда засаживалн какого-нибудь крестьяннна, который отказывался платить подать, нлн батрака, получавшего плату натурой с продажн или с урожая. Городок был спокойный. Как н Верберн.

* Титул члеиов иекоторых моиашеских орденов, например беиедиктиицев.

Свет проиикал в камеру через слуховое окно. На земле было устроеио что-то вроде убогого ложа. Есть ей давали со стола прокурора, потому что спецнальиой кухии для заключениых не предусматрнвалось, ведь подолгу их никогда ие держали и обычио им хватало краюхн хлеба. На этот раз все обстояло иначе. Жаиие перепадал бульои, мясиые обрезки. Возможио, в какой-то степеии нз жалостн. Жаииа знала эту породу людей — оин былн способиы на жалость. Жителн больших городов безжалостиы, тюрьмы у ннх без окои, н набнвают их так, что узиикн погибают от недостатка воздуха. В большнх городах могут нсполосовать, убнть, там умеют быть поиастоящему несправедливымн. Лншь в малеиьких спокойиых местечках встречаешь такую патоку, такую недоверчивую жалость, жестокое добродушне, лжепособнничество. Такнх городков Жанна навидалась. Оиа всегда вовремя нх покидала, оставляя нм свою закваску. Но, разумеется, она старела, нистинкт слабел, сдавал нюх. Или ее, столь часто оставлявшую после себя зародыш беспокойства, эту заразу, саму в свою очередь охватило оцепенеиие н ее потянуло на покой? Предлогом Жанне служнла Мариетта. Она подрастала н не век же ей было мотаться по дорогам. Однако это была только отговорка. Ребенок, которого оиа вопрекн здравому смыслу оставила жить, стал ей совсем чужим. Просто Жанне опостылело каждый раз начинать с нуля. Приходить на иовое место без единого су, придумывать себе имя, иесчастья, правдоподобио охать, страшиться случайиости или иепредвидеииой встречн, которые моглн бы выдать... (Здесь оиа назвалась свонм собствениым нменем, это о чем-ннбудь да говорит.) Находить заброшениую хибару, прнводнть ее в порядок, барахтаться в этой грязн, без конца чнннть то одно, то другое не хуже мужика н сознавать, что прндет время снова отправляться в путь. Жеищине, подступившей к ней с угрозами, Жаниа сказала правду: она хочет умереть в Рибемоне.

Жаииа думала об этом как об искушеиии. Она даже не пыталась различнть среди крестьян и полугорожаи местечка иенавистиых «живых мертвецов», из которых выбирала свои жертвы. Не будь четы Прюдомов, ей, может, довелось бы умереть в своей постели, как ее бабке Саре.

Не одиу иеделю оиа провела, размышляя о своих цыгаискнх предках, и это тоже был зиак. Жанна слышала, что было время, когда цыгаи не трогали. Они бродяжничали по страиам, охотясь на диких зверей, продавая корзииы, распевая иа площадях, делясь иовостями, и везде их встречали как желаииых гостей. Они иаходили мужей и жеи только в своей среде и ие смешивались с ннкогда ие вылезавшими из своих деревеиь, соиливыми обнтателями зловонных ннзеиьких домишек. Цыгаие радовалнсь жнзнн и по праву презиралн всех остальиых. Но правда ли так было? Или это легенда сродии мечте разбойиика Жака с его городом справедливости? Закои, позволявший убивать цыгаи-мужчнн как диких зверей, избивать цыганок и нх детей, выжигать им иа лбу метку в виде буквы «Т», существовал так долго, может, даже всегда... И все же в другнх странах находились еще цыгане если не веселые, то по крайней мере свободиые. Говорнли даже, что где-то есть у иих своя страиа, целая страиа, где жнвут цыгане. Но какие же это были цыгаие, если они сндели иа месте? Легенда из детства, давно позабытая, возвращалась теперь к Жанне баюкать ее мысли. Зиачит, не за горами старость. Уходншь в мечты, забываешь об осторожиости, и люди иабрасываются на тебя, как звери иа раиеиое животиое. И вот тюрьма, теперь уже последияя.

Могла ли она нзбежать тюрьмы? Сделать так, чтобы о ней забылн, притупить свон чувства, уподобив себя тем, кто ее окружал? Если бы не Прюдомы... А ведь нн Жаина, нн Мариетта ии о чем их ие просилн, те сами возиамерилнсь продемоистрировать свое милосердие, взять иа себя

роль покровителей. Сначала они притащили двум женщинам (пятнадцатилетняя Мариетта с ее прекрасными плечами и серьезным взглядом вполне сходила за женщину) доски для ремонта крыши. Потом сена, чтобы было на чем спать в ожидании лучших времен. А затем и вовсе разохотились: однажды вечером жена Прюдома принесла супа, в другой раз немного овощей, репы, бобов. Пришлось благодарить. Потом отрабатывать. Жанна так и думала. Надо было подрезать виноградные кусты, наколоть дров. Работала Жанна, как мужик, Мариетта тоже выполняла свою долю работы. Сделали они даже больше, чем требовалось, и вместо обещанных трех мер ячменя получили от Прюдомов семь — целое состояние. Прюдомы желали показать, что они их вовсе не эксплуатируют. Жанна воспротивилась. «Но ведь они всего лишь поступают по справедливости»,— особо не настаивая, говорила Мариетта. Однако Жанна была по горло сыта этой справедливостью. Она предчувствовала, что все это выйдет им боком. Своей показной добротой Прюдомы их просто провоцировали. Жанну угнетала их доброта, она не знала, как на нее реагировать. Доброта — животное поопаснее других, и, если ей прекословить, она кусает больнее и ее укус ядовитее. Упитанное животное, которое дремлет, переваривая пищу, подобно жирному псу на пороге фермы. Но сделайте шаг не туда, вызовите его неудовольствие, и, уверенный в своем неоспоримом праве, он поднимется на лапы, мощнее, страшнее дикого зверя. Франсуа и Тьевенна были людьми добрыми. Они и слыли добряками, а нет ничего страшнее этого. Кюре всегда ставил их в пример, вечно отсутствовавший хозяин замка им доверял и поручал взимать с крестьян подати; в Рибемоне Прюдомами восхищались от чистого сердца и предоставляли им заниматься благотворительностью и молиться за всех. Они были добрыми людьми, добрыми вполне официально. Если объявлялся нищий, его отсылали к Прюдому. Именно он улаживал

все споры. От него зависело, разрешить ли Жанне и Мариетте обосноваться в деревне. И он отнесся к ним, как все и ожидали, благожелательно, но и с осторожностью. Жанна была трудолюбивой, а Прюдом ценил это качество. Однако из-за ее молчаливости Тьевенна Прюдом через несколько месяцев начала говорить, что она скрытничает. Кто приходился Мариетте отцом? Откуда они пожаловали? Жанна справлялась с мужской работой, косила, собирала виноград, колола дрова — тут ничего не скажешь. Но почему тогда Жанна с ее усердием не смогла до сих пор обрести устойчивое положение?

Тьевенна Прюдом была женщина славная, словоохотливая, медоточивая, но иногда дававшая волю язвительности, как нередко случается с теми, у кого нет детей. Она одаряла со всей щедростью, но желала, чтобы ей воздавали тем же, а так как Жанна с Мариеттой могли поделиться с ней единственно только своим горем, она ждала именно этого. Никогда не покидавшая своего городка, который пощадила война, Тьевенна знала лишь короткие счастливые минуты, когда во время голода, эпидемий она ходила из дома в дом, занимаясь самой черной работой, отдавая все, что могла отдать, с радостью забывая о себе самой; потом все успокаивалось, и она возвращалась домой к мужу, человеку праведному, которого она никогда не любила по-настоящему, и ее самоотверженность всегда оставалась с ней, подобно мертвому ребенку. Тьевенна догадывалась (несмотря на свою редкую глупость), что Жанна скрыта от нее как бы темным облаком, что ее прошлое изобилует трагическими, а то и ужасными историями; такая жизнь была недоступна Тьевенне, но и привлекала ее. Она заговорила об этом с мужем, но тот не понял ее, подумал, что она испугалась, и успокоил ее: он, мол, начеку. Пока Жанна ведет себя как добропорядочная женщина, все будет хорошо. При малейшем отклонении... У него были свои соображения и сомнения относительно прошлого Жанны,

но ои считал ее скорее грешннцей, чем колдуньей,— одиой из тех девнц, которые следуют за армией, которым многое доводнтся пережить, а после того как их красота поблекла, оин не знают, куда нм податься. Несчастье ие привлекало Прюдома, но он счнтал его полезным, оно выковывало хорошне орудия. Прюдом рассчитывал через некоторое время поместить Жанну у себя, сделать из нее что-то вроде служанкн, в этой ролн ей, естествеино, наследует Мариетта. Впрочем, он оплачивал их услуги по справедливости, он ие наживался на нх несчастье, но использовал его. Пусть Тьевенна успокоится! Одиако иуждалась ли иа самом деле Тьевенна в успокоенни? Прожнв благополучиую жизнь, без любви, без детей, рядом с таким человеком, как Франсуа, более кого-либо другого, как говорнли, уподобнвшегося Господу (какой, одиако, образ Бога можно было себе составить, глядя на Франсуа!), что она теперь будет делать с этим покоем и справедлнвостью! Тьевениа жаждала Жаиинного несчастья, как пресыщенный ребенок хочет чужую игрушку, как у беремеииой есть желанне, которое она считает себя вправе удовлетворить.

Жаиие Тьевениа поначалу показалась просто болтливой и любопытиой, как и все этн жеищины, вросшие в землю, тяжелые иа подъем, со спящей душой, которые пережевывают слова не задумываясь, как корова траву. Жаина отмалчивалась, тем более что чувствовала себя неловко из-за щедростн Тьевеииы, более безрассудной и меиее бескорыстиой, чем у ее супруга. Кроме того, от Жаииы не укрылась злоба Тьевенны, выдававшая себя в пустяках, подрагиваннн ноздрей, глухой угрозе в голосе, неумеренных льстивых ласках, которые она обрушивала на Мариетту. Эта злоба ждала своего часа, как зерно, спящее в земле, которое, еслн взять на себя труд его полнвать, однажды иепремеиио прорастет. А Жанна поливала: какой-нибудь обмолвкой разжигала любопытство Тьевенны и тут же, словио испугавшись, прнкусывала

язык. Теперь, когда Жанна столкнулась со столь ей прнвычным злом, она нн во что более не ставнла свою главную прнродиую добродетель — гордость, которую обнаружнвала прежде. Жанна торжествовала: она-то знала, что толстая, добрая на внд собака на пороге фермерского дома иа самом деле гнусное жнвотное, которое науськивают на самых несчастных. Оиа не сомневалась, что доброты ие бывает н мечта о городе справедлнвостн, как н о временах, счастливых для цыган,— всего лишь мечта н ннчего более. Она не сомиевалась, что за пределамн мечты, сладкой, наполиявшей равнодушнем мечты, прннесшей гибель Мари, существует лншь зло, обжнгающее, всепроннкающее, как запах стойла, н ее место внутрн этого зла. Постепенно Жаина как бы отравнла сознанне Тьевенны н как всякнй раз в такнх случаях (ведь зло повсюду н в своей жизнн она узнала его в самых прнчудлнвых видах) отравляла н свое, постоянно убеждая себя в том, что в мнре царнт злое начало. Ее сердце, закрытое для любвн, страдало, но н находнло наслаждение, н это была жнзнь. Теперь Жаина выражала восхищение своей благодетельннцей, ведь на своем веку она повидала столько дурных людей. Сама не без греха. И иачиная рассказывать, Жаина умолкала. Тьевенне она доверяла, но Франсуа такой строгий, такой суровый... Конечно, Жанна будет ему вечио благодарна, ио он так труден в общеиин, другое дело Тьевениа... Тьевенна же нзливала с ней душу. Оиа сама говорила больше Жанны, жаловалась на холодиость мужа (за которого Жанна заступалась), вспомнила сотнн маленькнх забытых обид, которые вдруг оживали в ее памятн, подобно заиозе, иезаметно блуждавшей в теле н вот теперь вынырнувшей своей черной головкой в иеожиданном месте... Она задавала вопросы — ах, обычиые жеиские вопросы. Жаииа умела заставлять другнх вырывать нз себя ответы, умела недоговаривать, намекать. Тьевенна ннogда возвращалась от Жанны такая

красная, такая возбужденная, что муж, думая, что она заболела, укладывал ее в постель. Она же явственнее, чем прежде, в тысячу раз явственнее видела в его предупредительности равнодушие, в его доброте — бесстрастность. В постели она предавалась мечтам чаще, чем когда-либо раньше. Она думала о своей былой красоте, видела себя на ярмарке в Сен-Жане, куда десять лет назад ее не пустил муж, мечтала о том, что она, подобно Елизавете, вдруг обрела способность рожать, ведь она не так стара. Вставая, она гляделась в зеркало, и волнение, любопытство, перевозбуждение сродни детскому временами молодили ее. Она была благодарна за это Жанне — благодарна, хотя ей было в сотни крат горше, тяжелее, чем шесть месяцев назад. Старые зарубцевавшиеся раны, которые жизнь как бы заложила ватой, так что Тьевенна почти уже не чувствовала их, вновь начинали кровоточить. И все же она была благодарна Жанне. Порой даже Франсуа (она так изменилась, что и толстокожий, лишенный воображения супруг не мог этого не заметить) бросал на нее удивленный взгляд. У нее было такое чувство, что муж первый раз в жизни обратил на нее внимание. И все благодаря Жанне. Из благодетельницы она превратилась в должницу Жанны. Тьевенна украдкой таскала ей масло, даже мясо. Она лгала теперь так естественно, как будто никогда прежде ничем иным не занималась. И вот наконец случилось то, чего Жанна ждала, что предчувствовала: Тьевенна заговорила о чудодейственном зелье, об исцелении от бесплодия. О дьяволе, правда, пока не было речи. Разве Жанна, столько всего повидавшая, столько дорог исходившая, не слышала о... Жанна заикнулась было о паломничестве к святым, но благочестивая женщина лишь пожала плечами. Она знала, что Бог не хотел даровать ей детей. Разве она мало молилась, мало давала обетов, ставила свечек, разве она недостаточно набожна, самоотверженна в своей любви к Богу? Он просто

ие хотел, ие хотел, чтобы в ней расцвела ее женская суть, чтобы оиа уподобнлась другим жеищииам. Мало того, что ои ие даровал ей счастья любить и быть любимой, ои отказал ей в этом преображенин, в мучительной радости материиства. Даже умершего или погнбнувшего ребенка, воспомииание о котором оиа могла лелеять, не дал ей Бог. Разве уважеиие к мужу (таявшее с каждым днем) способно было заполиить ее существование? Жнла Тьевеина вроде иеплохо, ио Жаине было иногда достаточио одиого вопроса, чтобы остов ее жнзнн рухнул, обнаруживая пустоту. «Как? Бог со своими святымн не воздалн вам по достоннству? Даже после чумы когда вы проявили такое самопожертвоваиие? Мие рассказывали об одиой жеищиие примерио одних лет с вами, спасшей солдата от тяжкого недуга, одиого-едииственного солдата, н с благословения небес оиа потом роднла троих детей, тронх сыновей. Одиако нашлись злые языкн — вы ведь зиаете, как это бывает,— которые утверждалн, что оиа обрела их с помощью колдовства...» И Тьевеине ее жизиь представлялась бескоиечиой вереницей ннчем не вознаграждеиных благодеяинй, а сама оиа — жертвой иепрекращающейся иесправедливости. Ее грубоватая, но нскренняя самоотверженность, простодушиая радость от возможности помочь ближнни, согреться немиого у нх очагов загнивала изиутри, оборачивалась протнв нее. Тьевеииа думала об этой женщине — примерио одних с ией лет — с ее двумя нли тремя детьми, обретеииыми с помощью колдовства... «Может, вашего мужа сглазили?— спрашивала Жаииа.— Кто-иибудь, кто прежде хотел выйти за него замуж? Или мачеха? Нет ли у вас самой врага?» Тьевениа терялась в догадках. Оиа размышляла, чего с ией раиьше ие случалось, подозревала, а когда ие подозревала, было еще хуже: постепеиио ее охватывало презрение к мужу, этому самцу, властиому, увереииому в себе, ио ие способиому сделать ей ребеика. Бесспорио, в сердце каждой бес-

плодной женщнны дремлет такое чувство, но одно дело, когда оно дремало н Франсуа мог о нем не догадываться, другое, когда он смекнул, в чем дело, и зло закралось в его душу. Он н сам всегда нспытывал нечто вроде угрызеннй совестн, его посещал необъяснимый страх, что причиной всему именно его холодность к Тьевение. Он был по природе человеком целомудренным, хотя вовсе не страдал половым бессилием. Не раз он успокаивал себя, что Бог потому не дает нм с Тьевенной ребенка, дабы ничто не отвлекало нх от служения ближнему. Ему удавалось н свое несчастье превратнть в предмет гордости. Однако, как только он учуял язвительное презрение жены, которое, словно запах, не могло таиться, его гордость спала, он свалнлся со своего пьедестала и начал страдать, как последний глупец, как еслн бы он был не Франсуа Прюдом, образец н непререкаемый авторитет для всей деревнн. Уважение блнзких, доверие власти предержащей — все померкло перед этой, казалось бы, непрнметной раной. Но что ему оставалось делать?

Яд проник н в его душу. Жанна могла теперь уходнть. Она посеяла семена зла, а такие семена прорастают самн, не нуждаясь в уходе. Дьявольские хлеба растут самн собой. Так она всегда и поступала — уходила. В этот раз, однако, она осталась. Ей хотелось удостовернться, воочню убеднться в своей победе. Ей хотелось увндеть, как рухнет обитель добра, как распадется образцовая супружеская пара, которой за несколько недель почти удалось ее унизнть. Это было бы окончательным доказательством, апофеозом ее жнзни. После этого Жанна могла спокойно умирать, и тогда бы она знала, как поступнть.

Вопрекн всем, вопреки себе самой она хотела получить окончательное доказательство всесилия зла. Впрочем, такнх слов она про себя не произносила. Она говорила лишь: «Я нм покажу, получат онн».

Они — это те, чей дом пощаднла война, чья жена не умерла от холода, а детн — от голода, те, у кого не было

бабки-цыганки и матери-колдуньи, чье поле не спалила война и не разграбил бездельник-сеньор. Это они готовили виселицы и костры для еще не родившихся детей, обреченных уже в чреве матери. Пусть же они гибнут сами, как губят других, пусть они сгорят, задохнутся, повесятся в своих ломящихся от добра амбарах! Пусть окажутся среди потерявших надежду! Может быть, тогда... Жалость своим крылом иногда касалась Жанны, но она не отдавала себе в этом отчета. Когда на мессе, стоя вместе с дочерью в самой глубине церкви, она глядела на распятие, жалость порой разглаживала черты ее лица, смягчала его суровость. Она более не видела ненавистное сборище людей, видела лишь искаженное болью лицо, исхудалую грудь, кровь, текущую из ран, и обращалась к Иисусу Христу запросто, как если бы говорила с одним из своих погибших детей: «И тебя, тебя тоже не пощадили. Но сделай же что-нибудь, сопротивляйся, не покоряйся им». Она испытывала к распятому какое-то слегка насмешливое сочувствие. Она, Жанна, умела за себя постоять.

Дом Прюдомов напоминал ад. Казалось, все оставалось по-прежнему, на самом деле все деформировалось. Пусть лишь иногда нотка раздражения проскальзывала в голосе хозяина да жена не так быстро спешила выполнять его приказания, но фермеру представлялось, что болезнь распространяется и все всё знают. Ему казалось, что в уважении к нему односельчан проглядывала ирония, в сдержанности женщин — презрение, в знаках почтения — оскорбительная жалость. Этот целомудренный человек принялся думать о женщинах. С вожделением и гневом. Он им покажет, они удостоверятся. Осенью он был суров со сборщицами винограда. Их смех задевал Прюдома, их одежда (стояла жара) казалась ему вызывающей, и, когда угрозами ему доводилось их испугать, порой довести до слез, он испытывал мимолетное облегчение, как после удавшейся мести. Да и с мужчинами

он был теперь осторожен, робок, мелочен. Выискивал ошибки в счетах, дрожал над каждым су, и это он, всегда так пекшийся о справедливости, проявлявший чуть презрительную щедрость, как бы говоря: «Я не опущусь до дискуссий из-за ерунды». Теперь он придирался к мелочам, чуть ли не искал ссор, чтобы доказать свою оспариваемую, как он думал, мужественность. Его посещали нечистые мысли, которые он прежде отгонял, а теперь с каким-то облегчением привечал и нежил. Не доказательство ли это, что он такой же мужчина, как другие, и во всем виновата одна Тьевенна? Не в силах ли он был еще с женщиной более молодой, более свежей наплодить целый выводок детишек?

Он начал ненавидеть жену. Наряжаться она не умела, казалась старше своих лет, совсем не уважала его и не выказывала ему нежности. Он запамятовал, что сам негласно запретил всякую естественность отношений, всякое проявление нежности, а в сорок лет этому уже не обучишься, тем более с помощью нотаций. Он погрузился в грезы о молодой, ласковой и ветреной жене, которая предпочитала бы украшения церковной службе и могла говорить не только о Священном писании. Прюдом думал о двадцатилетней Тьевенне, которую он сам приучил к суровым манерам, а теперь их же вменял ей в вину. Потом Прюдом брал себя в руки, цепляясь за остатки гордости, и, когда жена пыталась к нему подластиться, с негодованием ее отталкивал. В ее-то возрасте с такими штучками? Прюдом уже сам не знал чего хотел, на что рассчитывал. Теперь он часто срывался, и его молитвы превращались в обвинительные речи, в которых он призывал бога в свидетели чинимых ему обид.

Его взор обратился к Марнетте.

Следует сказать, что Марнетта была у него в услужении и, будучи чуть ли не дочерью нищенки, кормилась у Прюдома, работала на него, он в какой-то мере считал ее своей собственностью и в своих рассуждениях исходил

из этого. У него она будет в безопасности, без его покровительства ей придется, по примеру матери, промышлять подаянием, а как мужчина может покровительствовать шестнадцатилетней девушке? Только поселив ее у себя; она станет одновременно и служанкой и любовницей и, по сути дела, обретет такое высокое положение, на которое нигде в другом месте ей не приходилось надеяться. В селении его слишком уважают, чтобы у когонибудь могли возникнуть подозрения. Тьевенна же привыкнет — разве сама она не привязана к малышке? От Жанны придется отделаться — Прюдом чувствовал, что ее надо будет отправить куда-нибудь с глаз долой, предоставив ей небольшой домишко подальше от Рибемона. Когда Мариетта забеременеет (в своих мечтах подкупленную и соблазненную Мариетту он уже видел беременной), можно будет убедить людей, что малышка допустила неосторожность, промашку, а Прюдомы поселили ее у себя из жалости. Тьевенна полюбит ребенка, станет ему чем-то вроде бабки. В восторге от своей выдумки Франсуа уподоблял себя библейским патриархам и находил в Священном писании подтверждения тому, что он вправе овладеть зависевшей от него девушкой, за которую некому было заступиться.

Да, дьявольское семя дало такие буйные всходы, что даже Жанну это застало врасплох.

Она теперь казалась более податливой, более спокойной. Все шло как по маслу. Солдат уже не волок ее на допрос спиной вперед. Боден полагал, что Жанна лишилась своей колдовской силы. Со дня первого допроса минуло три дня. Те, кто волею судеб попал в судьи, вернулись к своим привычным занятиям. Знаменитый собрат известит их о конце разбирательства, и тогда останется только назначить день казни. «Все в порядке»,— с облегчением, несколько предвосхищая события, говорили они женам. Но те не отставали: «Как в порядке? А ее пытали? Она во всем созналась? Это она убила мэтра

Фраисуа? А как же Мариетта?» Многие мужья находили подобное любопытство не вполие здоровым. Зачем им приспичило зиать подробиости? Главиое, что Жаииа колдуиья и ее сожгут, так везде поступают, только в их Рибемоие давио ие было иичего такого. Даже страино. Кругом только и разговоров, что о борьбе с колдовством, а у них ни одиой колдуиьи. Невольио задумаешься, может, в Рибемоне это зло просто глубже укореиилось, тщательиее укрылось от посторонних взоров, может, оин то и дело встречаются, разговаривают с матерыми ведьмами, иа вид ие отличимыми от обыкновеииых жеищин. Но случай с Жаииой Гарвилье явио доказывал обратиое. Ведь оиа ие прожила в Рибемоие и трех лет, и ее разоблачили. Это служило ручательством чистоты их прежией и будущей жизии. Зиачит, разоблачнть ведьму вовсе ие сложио. Враг рода человеческого не так изобретателеи, как порою думают... И оии возвращались в свои лавки, к своей писаиине. С дотоле иеизведаиным радостиым чувством оии раздвигали ставии, вновь раскрывали папки. Кое-кто даже насвистывал по утрам. Довольство они испытывали еще и от того, что все иа поверку оказалось таким, как описаио в киигах, н они составили — им виушили — вериое представлеиие о зле (иногда, правда, в причудливых сиах им виделось, что зло в иих самих или оио иаходится совсем рядом, словио примелькавшееся животное, собака, увязавшаяся следом). Нередко подступают сомиения, и тогда перестаешь поиимать: бывают дни, когда незамутиеииая совесть и хорошее пищеварение больше ие служат опорой, и все заволакивается тумаииой дымкой, сквозь которую проглядывают смутиые очертаиия страстей, иеиависти, злобиых чувств, которых люди за собой ие зиали и почти ие подозревали об их существоваиии... Нет иичего определеииого, иичего такого, в чем можио было бы призиаться иа исповеди (по правде говоря, увидев эти иеясиые очертаиия, человек тут же зажмуривает глаза, подобно ребеику,

который боится призраков, в темноте наводняющих комнату). Но этого все же достаточно, чтобы разбередить совесть, обеспокоить, вызвать дурное расположение духа, хотя ничего такого на самом деле не существовало. Одни лишь грезы, которые должны бы заставить покраснеть человека, крепко стоящего на ногах и не страдающего отсутствием аппетита. Зло же заключается в травах, восковых фигурках, амулетах, ядах, в поздних ночных бдениях, во время которых призывают демонов и в конечном итоге несут гибель людям. Кто же в селении занимается подобными вещами? Или летает на метле, участвует в шабаше за тридевять земель, подписывает кровью договор с дьяволом, вступая с ним в сделку?

Никогда раньше в Рибемоне не было такого притока в исповедальню, как в неделю ареста Жанны. Молитвы и славословия Господу не умолкали. После того как рассеялся страх, в людях проснулись добрые чувства. Женщины поговаривали, что поведение Жанны в некоторой степени извинительно. Разве мэтр Франсуа не хотел совратить бедняжку Мариетту? Откуда они знали? А вот знали — и все тут. Одного слова, сорвавшегося с уст Тьевенны, молчания Мариетты было достаточно. Смакование своей жалости к опозоренной Жанне (пусть она умрет, но пусть ее не очень мучают) чередовалось у женщин с радостной возможностью ахать от удивления, возмущаться поведением мэтра Франсуа, сбрасывать его с пьедестала. Мужчины, конечно, были обескуражены: «Как, мэтр Франсуа? Да откуда вы взяли? Вы, наверное, сами колдуньи?» В общем, посмеялись вдосталь, ведь, чтобы развеселить деревенского жителя, немного надо.

— Он все время крутился вокруг моей дочери. Как только я это заметила, запретила Мариетте являться к ним в дом. Тогда он обрушился на меня с угрозами. Я сказала, что пожалуюсь священнику, аббату, мадам Тьевенне. Что бы он ни делал, Мариетту ему не заполучить. Стояла жара, солнце грело немилосердно. Прюдом

разговаривал со мной через изгородь. Он словно обезумел. Говорил, что даст малышке приданое, а мне — отличный участочек ближе к Роисену и вообще надо спросить Мариетту. Лицо его побагровело, ему припекало голову. Прюдом был без шляпы, размахивал руками. И вдруг рухнул на землю, как только я сказала, что уже упаковала вещи и уеду из Рибемона вместе с Мариеттой, лишь бы не дать ее опозорить.

Боден был уверен, что, произнося последнее слово, она чуть заметно улыбнулась. Да и сам он не сдержал улыбки. Ему хотелось закричать «браво». Он был доволен Жанной. Бралась она за дело ловко и умело защищалась, прибегая к *их* словам, к *их* меркам. Конечно, нетрудно было возразить, что, если бы она так дорожила честью дочери, то не таскала бы ее из города в город, не рисковала, шатаясь по дорогам, не ютилась в трущобах и не жила бы с дочерью среди подозрительных личностей, не способных, естественно, привить ребенку высоконравственные взгляды на жизнь. Но ему не хотелось мешать ей выстраивать свою систему обороны. Жанна рассчитала все здорово, и, будь она чуть пообразованнее, она сумела бы выкрутиться, если бы имела дело с невежественными судьями.

Секретарь суда строчил без перерыва.

— Вас послушать, выходит, что во время разговора Прюдома просто хватил апоплексический удар.

— Вот именно, месье. Он, когда пришел, был уже не в себе. А когда я сказала, что это большой грех, он от гнева весь побагровел.

Все так и было. Он действительно покраснел от злости и стыда, когда она испуганно (и это она, Жанна!), как бы пуская в ход последний довод, забормотала, что он совершает большой грех, что Мариетта так молода, что она, мать, старалась, несмотря на все невзгоды, воспитывать дочь в страхе Божьем... Тут Прюдом принялся разглагольствовать, и Жанна не мешала ему, лишь иногда

вставляла слово-другое, чтобы показать этому человеку с гордым, крутым нравом, в какую пропасть он погружается сам н тянет за собой другнх. «Вы можете поручиться, мэтр Фраисуа, что Господь не осудит меня на мукн? О моя бедиая доченька... Да вы должны знать лучше меия...» Раньше она с ним никогда нн о чем не толковала, н он считал ее женщииой простой, неотесаиной, так что подобиые рассуждения казались ему естествениыми, оиа же нарочио ие разубеждала его, ей доставляло радость видеть, как Прюдом все больше позорит себя, искушая бедиую женщиину, заговаривая ей зубы, губя ее душу, н все это в угоду охватившей его безумиой страсти. «Неужелн так в Библии написаио? Несколько жен? Я ничего такого не зиала, мэтр Фраисуа, я иеграмотная. Но это когда было... А иаш священиик тоже...» «Деревенским священиикам, голубушка, не все известно. Я сам чнтал н могу засвидетельствовать...» — «Неужели это правда, мэтр Франсуа?» — «Уверяю вас»,— подтвердил он. Дикая радость охватила Жаииу. И эта радость заблистала в ее взоре, рот иаполиился слюиой. Жанна ие в состояини была утаить свою радость, которая ие укрылась и от Прюдома, ои увидел ее в глазах, горевших на этом страшиом лице, к которому он до сих пор не удосужился ни разу хорошенько приглядеться. Опустив голову, она вымолвила: «Все-таки меня, мэтр Франсуа, сомнения берут. Пожалуй, лучше, если мы уедем. Вещн я собрала, так что мешкать иам не резон».

До него вдруг дошло: она говорит правду, и надежду оиа ему подала только для того, чтобы нметь возможиость бросить ему в глаза эти слова. Жаииа вовсе не простушка, как ему представлялось, взгляд ее иасмешлнв, враждебеи, она осуждает его, Прюдома, благочестивого человека, служащего для всех образцом, примером для подражаиия. И он увидел самого себя в неприглядном свете, увидел как бы во виезапио выставленном перед ним зеркале; да, он впопыхах угодил в ловушку и оказался

вдруг постыдно нагим перед жалкой нищенкой, для которой, как ему раньше казалось, он был святыней... Он попытался объясниться, но слова застряли в горле, дыхание свело. И мэтр Франсуа, словно подкошенный, повалился на землю возле изгороди.

Жанна не желала ему смерти. Ей и в голову не приходило, что он возьмет и умрет. Она и, правда, упаковала вещи. Уже несколько недель, как Жанна догадалась, что он к ней пожалует, и заранее предвкушала его визит. А потом придется уехать... Но этого «потом» не наступило. Прюдом упал, издав глухой, растравляющий душу стон; Жанна подбежала к нему. Дар речи не возвратился к мэтру Франсуа, даже когда его притащили домой. А Тьевенна, как только ее мужа уложили в постель, завизжала: «Это ты, ведьма, его угробила!» Конечно, она, Тьевенна, тоже приложила руку к тому, что случилось, но она этого уже не помнила. Какое Тьевенне дело до справедливости, до здравости суждений, если она уверена, что во всем виновата Жанна, а Жанна — ведьма? Тьевенна так голосила, что сбежались соседи; она кричала, чтобы привели костоправа, врача, священника, потом обернулась к Жанне: «Теперь сама его и спасай!» Вырваться Жанне не удалось. Ей пришлось ухаживать за умирающим, хотя никакой надежды не было. Само ее присутствие доставляло мучение Прюдому, бывшему уже одной ногой в могиле. Ему казалось, она здесь нарочно, чтобы его унижать, держать в страхе до самого конца, перед его глазами было уже не человеческое существо, а демон, готовый унести его душу в преисподнюю. Он делал страшные усилия, пытаясь сказать, чтобы ее увели от его постели, чтобы он мог спокойно вздохнуть, забыв на какое-то время об уготованных ему муках; при этом он приходил в волнение, вызывавшее новые приступы, последний из которых произошел через три дня после их разговора. Дар речи так и не возвратился к Прюдому: он умер без покаяния.

Смерть без покаяния... Как и у тысяч бедняков, умирающих в канаве от голода, холода, нищеты. Как и у больных, умирающих в одиночестве от отвратительных болезней, красной лихорадки или черной оспы, страшащих даже священников. Жанна видела, как также без покаяния на мостовых умирали дети, на костре — женщины, на виселице или прямо на сырой земле — мужчины. Так умирают заранее обреченные бедняки, такая смерть ждет и Жанну. Ну что ж, она совершила суд над Прюдомом и должна теперь радоваться. Жанна увидела оборотную сторону добра, посмеялась над благочестием, над богатством, обладатель которого уверовал в свое спасение. Большего Жанна сделать не смогла. Голод, неукротимость характера придавали ей силы, но после смерти Прюдома Жанна вдруг почувствовала себя старой, уставшей, и ею овладел страх. Она потеряла самообладание и бросилась бежать, как обезумевшее животное, забыв об осторожности, о своих прежних уловках, забыв даже о Мариетте. И как животное, она схоронилась в риге, как животное, отбивалась, царапалась и кусалась. В глубине души она понимала, что все кончено, что она отыграла свою роль, получила долгожданное доказательство, и теперь ей остается только умереть.

— Почему мадам Тьевенна обвинила вас?

— Надо же было ей на кого-то свалить.

— Но она могла решить, что ее муж, немолодой уже человек, распалившись (не по той причине, по какой вы говорите), да еще при такой жаре... словом, она могла объяснить его смерть естественными причинами. Почему все-таки она подумала именно на вас?

— Неужели вы полагаете, что эти люди хоть что-нибудь могут объяснить естественными причинами? Ведь в их жизни ничего не происходит. Да и в состоянии ли они определить, какие причины естественные? Природа дает им все, отказывая в том же другим, и им кажется, что это в порядке вещей. А приключись с ними пустяковая

непрнятность, онн сразу видят чьн-ннбудь козин. Это, мол, невозможно, просто так с ннмн такое пронзойтн не может. Но все мы во власти случая, н я, и вы, месснр...

— Пустяковая непрнятность, говорнте? Но ведь Прюдом умер, н умер без покаяння.

— Не ои однн такой.

— А вам, что же, совсем не жаль тех, кто умнрает подобным образом?

— А кому нх жаль? Во времена великнх войн мою бабку, всю ее семью, весь табор занесло в Компьень. Королевские войска воевалн там то лн с немцамн, то лн с англнчаиами, не помню уже. Так вот, солдаты в перерывах между бнтвамн набрасывалнсь на бедных путников, убивалн мужчнн, иасиловалн женщин, детей разрубалн на куски. На что моя бабка была закаленная, н то вся дрожала, когда рассказывала. Как, по-вашему, нмелн все эти людн право на покаяине?

Боден сндел, перебирая бумагн, меж тем как секретарь суда ие мог скрыть ликования:

— Она признала себя цыганкой, самой настоящей цыганкой!

— Ну и что? — пренебрежнтельио отмахнулась столнчная знаменнтость.— Запомните, пожалуйста, ваше дело запнсывать, а соображеиня вашн меня ие ннтересуют. Жаииа, с тех пор много воды утекло. Вашей бабке удалось спастись от резнн. И у иее хватило ума поиять, что причииой ее несчастий была бродячая жнзнь н те нравы, которые, справедливо, нет ли, приписывают цыгаиам. Оиа осела в Вербери, прожила там всю жизнь. Ее ведь не сожглн?

— Нет.

— Ну вот, вы сами должны призиать, что в участи вашей матерн, как н в обвнненнн, предъявленном вам (он чуть не сказал «н в вашей участн», но вовремя спохватнлся, нспытав прн этом некоторое раздраженне), не было

ничего неотвратимого, неизбежного. Я имею в виду, что вы могли бы, если бы захотели, избежать той участи, которая вам угрожает.

— Как это?

— Ну не мне вам рассказывать. Честно работая, нанявшись, к примеру, служанкой, прачкой, можно было пасти овец.

— Меня выгнали из Верберн, мсье. Я осталась без крыши над головой, без гроша в кармане. Куда мне было деваться? Разве я могла уйти далеко? Кто бы меня нанял, если все, фермеры, священники, все люди в округе, которые имели достаток, у которых была хотя бы повозка, чтобы добраться до места казни, видели, как сжигали мою мать? Могла ли я сказать: я дочь этой женщины, дайте мне работу? Мне нельзя было даже просить милостыню.

— Ну и что же вы предприняли?

— Поменяла имя, вы бы на моем месте сделали то же самое.

От такого наглого ответа кровь хлынула к лицу Бодена. «На ее месте»! Да как она смеет! Она ничего не отрицает, ни в чем не раскаивается, просто берет и перекладывает свою вину на него, на других, на государство, на мир, сотворенный Богом! Это хуже, чем дерзость, это святотатство! И конечно, секретарь суда, этот дурак, ничего не записывал! Когда она признает себя цыганкой, он радуется, а когда она бесстыдно взваливает свой грех на плечи всего человечества, этот дурак ворон считает! До чего невежественны провинциалы! Разве не хочет она внушить, что ей пришлось сделаться колдуньей вопреки своей воле, что иначе ей некуда было податься, как будто у нее не было свободы выбора и так ей было предначертано судьбой. То же доказывал и немец, выпустивший книгу, где он оскорбляет не только религию, но и сам разум (что едва ли не страшнее, по мнению Бодена), утверждая, будто большинство ведьм —

больные, полубезумные женщнны, которые не ведают, что творят, а значнт, онн не могут отвечать за свон поступки, н нх надо лечнть, а не сжнгать. Этот Жаи Внр, нли Веер-еретнк, скорее всего и сам колдун. Подумать только, врач — и отстаивает такне вещи! Все естество Бодена восставало протнв подобного утвержденняя. Выходит, Бог сотворнл существа настолько несовершенные, что они ие способны отлнчнть добро от зла? Выходнт, простая жизненная случайность, место рождення, положение в обществе могут оправдать сознательное предпочтенне беспорядка, анархии, отрицания всего и вся? Так можно далеко зайтн, ведь теряет смысл само понятне добра. Все усилня человека, упорядочнвающая воля, как внутри него, так и вне, оказываются обусловлены не завнсящими от него обстоятельствами, и он получает все при рождении, как плохое илн хорошее здоровье.

Эта женщина говорила не иначе как по наущеиию дьявола, и ее слова ввергали в смятение душу, сбивали с толку разум. Но он-то должен был знать, ои, Жан Боден, юрнст, советннк герцога Анжуйского, сына короля, начальннк канцелярии в его резндеицнн, глава лесного ведомства, депутат от генеральных штатов Блуа и, кроме того, ученый, который, отринув предрассудки, смело занялся Ветхим заветом, Каббалой, учением гугенотов, беседовал с раввннами и протестантскнми пасторами, умел отлнчать у этих людей чнстоту помыслов от ереси, анализировать их положеиия и иногда с некоторыми соглашаться, он должен был знать, что человек велик, что он обладает всемогущим разумом, свободной н независимой волей, которая созидает мир, руководствуясь помощью и советами Святого духа, чье покровнтельство он добровольно приннмает. И все же дьявол, используя словесные ухищрения, исподтншка нападал на Бодена, покушался на его душевное равновесие. Бодену следует поостеречься, не то он отравнт его своими речами.

Боден взял себя в руки.

— Итак, вы пришли в Компьень и пробыли там некоторое время. Чем вы жили?

Чем живут нищие? Кормятся объедками, найденными в сточных канавах, милостыней, подаваемой в монастырях, куда не осмеливаешься прийти во второй раз из боязни, что прозовут монахини... Месяц она прослужила на постоялом дворе сомнительной репутации, куда наведывались карманники, женщины дурного поведения, опустившиеся буржуа, распутные юнцы. Оттуда ее выгнали. Даже там Жанна вела себя слишком гордо. От нее требовали участия в разврате, но Жанна держалась в стороне. Хозяева считали, что имеют на Жанну права (право на ее благодарность, ведь они бросали ей подачку, право на ее тело, ведь они давали ей работу, право на ее душу, ведь они тратили на Жанну свою доброту — этот сладковатый сироп, столь ценимый людьми), но Жанна их прав на себя не признавала и никогда бы не признала. Пусть у нее все отняли, но ее душа восставала против новых притязаний, против попыток низвести ее на положение животного, готового перегрызть другому глотку. Она опустилась на самое дно, где она чувствовала себя своею среди злобных оборванцев, шлюх, не имеющих крыши над головой, которые радовались, когда заполучали сифилис, потому что подыхать так подыхать, лишь бы не в одиночестве, а до больницы у них еще было время обзавестись дружками, среди обреченных, рано состарившихся детей, обитающих на темных улицах и еще в младенчестве превращенных в безруких и безногих калек, надеющихся, что они смогут прожить милостыней, которую им будут подавать те, кто по праву сохранил в целости свои руки-ноги. Это уже была не бедность, которую Жанна узнала в Верберии. Это была беспросветная нужда, болезнь, порождающая ненависть, от которой не хотелось даже излечиваться, когда единственная надежда (ведь на что-то надо надеяться) — затянуть в этот омут кого-нибудь еще. Нужда, когда больше

ие жалеют даже самих себя, не зиают отвращення, выставляют себя иапоказ, словно в отместку, н, как должное, бесстыдио требуют от других, чтобы те откупились за свое богатство, за свою безопасность: теперь, мол, нх черед... Жаииа пыталась раствориться, исчезнуть в этой теплой иавозиой жиже. Убить в себе гордость, вкус к жизни. Но имеиио среди этнх иесчастных, которых оиа стремилась если не полюбить, то хотя бы поиять, Жаииа впервые встретила тех, кого потом на всю жнзиь возненавидела: людей с мертвой душой (впоследствии она встречала их и средн сытых, хорошо устроившихся в жизии, избраииых к спасению). Надежиая бедиость ннчуть ие хуже иадежиого богатства. Сои иищего так же глубок, как сои после сытиого обеда. Достаточио лишь отказаться от мысли измеиить свою судьбу. Все кругом было заражеио грехом смиреиия, столь усердио проповедоваемого в церквах. Смиреиие даже порождало особого рода гордыию, замешениую иа полиом отказе от всего... «Если мие дадут возможиость выбраться из иищеты, я все равио откажусь» — так решили про себя этн голодраицы, равиодушные, потерявшие способиость иеиавидеть. Перед богатыми оии строят из себя шутов нли хиычут, потеряв, в отличие от Жаииы, всякий стыд. Такие люди тоже были иужиы обществу, выполияли в нем свою роль. Оии приосили вполие реальиую пользу н получали за это плату. Тут не было иикакого обмаиа; если благотворительиость была товаром, таким же товаром были долгие причитаиия, притворная иабожиость, бескоиечные проявления благодариости (столь преувеличеиные, что Жаииа порой удивлялась, как те, другие, ие замечают иасмешки). Товар меияли иа товар. Одио проистекало из другого, и все вместе в коиечном итоге составляло еднный мир. Эти жалкне людишки былн счастливее бедняков, которые иадрываются иа работе, мечтают, чтобы участь их детей стала хоть чуточку лучше их участн, откладывают грошн... Этим же надежда нн к чему, оин уже обрелн

душевный покой. Зачем выводить вшей, если расплодятся снова? А если притерпеться, то вшами можно даже кичиться. Да-да, и вшивому можно жить припеваючи (и пить, и веселиться, и заниматься любовью). Со вшами даже лучше, их нарочно заводят, так как они дают средства к существованию, придавая человеку вид еще более ужасающий. Заведись вши у Жанны, она бы желала, чтобы они были у всех. «Подумаешь, вши!» — думали эти попрошайки. Им на все было наплевать, разве что от крыс иногда отбивались. Смерть ребенка редко выжимала у них слезы. Лишь ребенок, рожденный калекой, заслуживал некоторого отличия. Жанна терпеть не могла крыс, и, повинуясь инстинкту, она, как и любая крестьянка (жизнь в Вербери все же оставила на ней отпечаток), скорее задушила бы ребенка-урода. Эти пустые лица стали в конце концов вызывать у Жанны страх. Она не любила порядок. А у попрошаек был свой особый порядок. Но порядок — это смерть, и смерть добровольная. Иногда ей хотелось поджечь их деревянные хибары, лачуги, сколоченные из старых досок: то-то они повыскакивают со своими вшами да крысами. Но Жанна знала, куда они пойдут: к какому-нибудь замку или монастырю, где их оделят (ох уж эта пресловутая доброта!) другим вонючим жилищем, несколькими грошами, досками, лишь бы отвязаться. Тоже своего рода обмен.

Жанна понимала, что подобные отношения развращали. Видимость добросердечия ее не обманывала. Благотворительность, доброта одних таила в себе страх, отвращение, желание откупиться как можно дешевле, как того требует усыпленная совесть; шутовство, сетования, попрошайничество, проявления благодарности других скрывали насмешку, спокойное презрение, ненависть, даже не ищущую утоления. «Хотите помощь, получайте». Если где-то непритворное милосердие, признательность без подобострастия находили друг друга и сливались в едином порыве, Жанна ничего об этом не знала и никогда бы

не узнала. Уже в двадцать лет ее сердце слишком омертвело, ожесточилось, чтобы подобное откровение могло ее спасти. Оно только прибавило бы ей страданий. И Жанна положила бы все силы, чтобы его отринуть. Лишь Божья благодать была способна внушить ей такое. Но и благодать, как не преминул бы с ученым видом заметить Жан Боден, человеку нужно согласиться принять в себя.

— Спрашиваете, чем я жила в Компьене? Милостыней.

— Неужели вас не тронула помощь этих добросердечных людей? Не испытали ли вы тогда желание начать достойную жизнь?

Тогда? Как раз тогда она и покинула Компьень, ушла в лес.

В лес! Неслыханно. В лес! Не было ли это уже своеобразным вызовом, первым шагом к бунту? Боден даже почти забыл о своем гневе, с такой силой снедало его вновь разгоревшееся любопытство. Единственная его страсть. Разве город, пусть и со всеми его несовершенствами, не является прообразом Града Божьего? Разве в городе, пусть только вчерне, не намечена иерархия, тот божественный порядок, который в конечном счете восторжествует? Не осознали ли это люди еще в древности, и, когда иудеи в своем высокомерии говорили: «небесный Иерусалим», не прозревали ли они, погрязшие в грехах, удивительный смысл земной жизни? Союз всех людей, иерархия различных видов труда, взаимная зависимость душ, договор, заключенный между гражданами и государством, с одной стороны, и христианами и церковью — с другой,— вот что такое город. Зубцы розовых стен в Умбрии, золотистые фасады тесно прижавшихся друг к другу домов во Фландрии; лучшие полотна наших живописцев дают почувствовать: мир — наш дом. И ученый, подобно живописцу, видит единое целое, как если бы переднюю стену отсекли и в каждой комнате человек в коричневой, синей или оранжевой

одежде совершал необходимое действо. Даже нищий — это серое пятно — является составной частью единого целого, последним мазком, завершающим общую картину мира, придающим ей равновесие. А вы в лес!

— Это самое последнее дело — в лес,— сухо отметил Боден.

— А что мне оставалось? — кротко прошептала Жанна, блуждая в своих воспоминаниях.

— Мало ли что! Да все что угодно. Вы не одна такая... Вы пытаетесь убедить меня, что прожили всю жизнь, ничего не решая сами, не имея выбора. Неужели вы не видите, что это бессмыслица? Даже умирающая на больничной койке в страданиях своих вольна выбирать между добром и злом. Нет, Жанна, вы сами прекрасно понимаете: ваше бегство из Компьеня послужило началом искушения, которому вы поддались. Живя в лесу словно волк-одиночка, ненавидя себе подобных, вы неминуемо должны были призвать на помощь дьявола.

В лесу она прибилась к шайке разбойников. Тогда-то у нее и появилась мысль, безрассудная, может статься, но отвечающая глубокой потребности всего ее существа, мысль родить ребенка, сына. Заиметь сына значило переделать мир, обрести безумную надежду, мечту, это был бы уже поступок. Она решила подобрать себе человека здорового и сильного, который был бы для нее ником. Вряд ли она любила его, но когда после страшных картин там, у пруда, после огня и дыма, после криков на скорую руку задушенных жертв, после зверских лиц разбойников, красных от вина или холода, после бегства сломя голову от погонь, нечаянных попоек, долгих томительных дней, когда было нечего есть, наступала минута, когда она, прикрыв глаза, гладила его волосы, а он шепотом делился с ней мечтой о городе, где царит справедливость, где все по-другому, городе, который далеко, но все же существует, Жанна предчувствовала и надеялась, что сын превзойдет ее, объяс-

нит то, чего она лишь смутно жаждала; сын уйдет в такую даль, что Жанна не сможет последовать за ним, но разве это не мечта всех матерей? Ее сын уже существовал для нее в те минуты, когда она гладила волосы неподвижно лежащего рядом Жака. Не о дьяволе были ее мысли, а о сыне. Он отомстит за нее, но не просто отомстит. В мечтах ей виделось, как он скачет на одной из лошадей их шайки через лес к освещенной, заметной издалека дороге, по которой разбойники убегали от врагов и где устраивали засады. Она бы никогда не узнала, что с ним стало, но вот однажды каким-то чудесным образом сердце подскажет Жанне, что ее сын достиг (неважно как) города. Тогда Жанне остается лишь умереть. Она мечтала и о той тихой, спокойной смерти. Единственное время в ее жизни, когда она предавалась мечтам. Может, в эти недели она была близка к спасению? Может, родив сына, она стала бы просто матерью, каких много, и Жак был бы просто человеком, добывающим хлеб войной? Женщины, ждущие ребенка, испокон веков похожи друг на друга. Ее сын не был бы демоном. Но родилась Мариетта, и вот — «девочку надо утопить». Жанна, чтобы спасти ребенка, ушла от них, как сделала бы любая мать. Но надежда покинула ее. Женщина, породившая женщину, она уже не верила, что ей удастся спасти себя и малышку.

— Я вернулась в город...

— Да, вернулась после своего таинственного пребывания в лесу. Но что вы там делали? Встречались с другими женщинами, устраивали сборища? Может, вы вернулись в город уже в новом обличье? Вспомнили уроки матери?

Она молчала, собираясь с силами. На опушке леса с ребенком на руках Жанна молча собиралась с силами, покидая пропитанный кровью, вином, холодом, туманом мир и возвращаясь в другой, чтобы сохранить жизнь дочери. Снова ей предстояла борьба, и борьба

безнадежная, предстояло жить, уповая на смерть, обрекая на страдания, жалкую гибель и свою дочь. К чему все это? Стоит ли овчинка выделки? На мгновение Жанна поддалась усталости, ее охватило желание улечься на краю оврага и подохнуть прямо тут от холода, голода... Долго бы ждать не пришлось, особенно ребенку. Так почти безмятежно, отказавшись от жизни, принимала смерть Мари. Отказаться от жизни. Жанна тоже размышляла об этом в тюрьме, размышляла о людях, которые столь хладнокровно подготавливали ее гибель. Признаться во всем, больше того, наговорить на себя разных ужасов, нагородить басен, нелепиц, непристойных историй, до которых они такие же охотники, как и компьеньская голытьба. «Вы этого хотели, вот вам». А потом умереть, умереть примиренной. Так умирали многие мужчины, многие женщины. Наполовину поддавшись на уговоры, смирившись со своей долей, они облегчали душу, почти столь же довольные, как и их обвинители. Про них говорили, будто они раскаялись. Таких отправляли к палачу со слезами на глазах, утешали, обещали за них молиться. Кругом царило теплое дружеское участие. Это их вонючее теплое участие. Жанна видела, как сжигали мать, видела умиротворенное лицо священника, взволнованную толпу, она видела слезы, настоящие крупные слезы, так плачут на похоронах, на свадьбах... Слезы добродетели. Почему бы и ей не сделать то же самое? Ведь все зависело только от нее. Никаких пыток, быстрая смерть, а к чему она стремилась, если не к смерти? Продолжать бороться? Надо ли?

Да, надо. Пусть они меня пытают, но пусть и сами помучаются. Пусть задают свои вопросы, ломают головы, придумывая новые, еще более гнусные и отвратительные, пусть образы, созданные в их воображении, преследуют их потом всю жизнь. Им придется самим заделаться колдуиами, чтобы попытаться понять, узнать и затем убедиться, что, раз вступив на это поприще, они никогда

уже не вырвутся, н ннчто нм не поможет, ни их богатства: зелеиые луга, стада, дома,— ни глубокий сои, ни красиобайство. Им придется окунуться в пустоту виутри иих самих, которую иичем иельзя превозмочь, и ничего для них больше не будет: ни домов, ни прекрасиых жеиских лиц, ии благости псалмов, ии вечеров, иавевающих покой, подобио шуму фоитаиа,— все каиет в небытие как полузабытое сиовидеине. Да, Жак, это н есть справедливость, равенство, о которых ты мечтал. Все будут одинаково завязаиы, все погрязиут во зле, и ннчто: ин богатство, нн почести, ии телесиое здоровье — иичто уже не будет иметь значеиия, иичто ие будет существовать. Царство духа всех между собой уравиивает, всех и иавсегда.

Да, покииув лес, оиа стала колдуиьей (и ии тебе договора с дьяволом, нн дыма, ни раздвоеииых копыт). И ее стаиовлеиие продолжалось (так как жизнь во зле, подобио жизии во Христе, требует постояииого обиовления, как всякая жизнь в духе) даже в ту минуту, когда, иапрягая все силы, она направляла их против сидящего перед ней человека, осторожио продвигаясь вперед, осторожно иащупывая слабое место, куда вонзить сверкающий меч.

— Я ннкогда ие участвовала в сборнщах, о которых вы говорите, и никакими такимн способностями ие обладаю. Я нн в чем не виновата.

Вот и вырвалось иаконец главное слово! Секретарь суда потирает руки — допрос прииимает поиятный ему оборот. Не виновата! Все оии не виноваты! Но после пытки оии проговариваются то в одиом, то в другом, в коице концов все выплывает иаружу, и вот уже ведьма прнперта к стене, как кролик, настигиутый хорьком,— тогда остается только отправить ее иа костер. Смерть ведьмы очистит всю деревню, и та заблестнт как новая, все потом будет идтн прекрасно месяцы, а то и годы. Можно будет вздохиуть полиой грудью. А то — не виновата! Курам иа смех.

— Секретарь! — строго произиес Бодеи.— Что вас так развеселило? Личио я ие вижу иичего смешиого.

— Да вот эти слова — ие виновата. Все ведьмы так говорят.

— А иевииовиые как говорят? — спросила Жаииа.— Или иевиновных вообще ие бывает?

Невииовные бывают. Бывают. Зиачит, есть иадежда. По крайией мере этот красиобай должен так считать. Им иужно несколько иевииовных, которые свидетельствовали бы об их беспристрастиости. Ииаче как отделить добро от зла? Но великая тайиа, которая ей открылась (так полагает Жаииа), тайиа, которую она лелеет в сердце как бесцеииое сокровище, заключается в том, что иа самом деле невииовых ие бывает. Все подвержеиы порче, во всех гиездится порок (вот только Мариетта...). Пусть сначала это лишь малеиькое пятнышко, еле заметиая отметииа, клеймо, ио пятиышко будет расти и в коице коицов порок поглотит человека целиком. Взять, к примеру, Тьевениу или мэтра Фраисуа, как долго оии сопротивлялись злу, как долго держались! Ими так восхищались. И вдруг оболочка раскололась, спáла и оказалось: виутри у иих, как и у всех других, копошатся черви. Все мы связаиы одной цепью. И секретарь суда — хорошее ей подспорье. К иему стоит приглядеться повиимательией. Как Тьевеиия послужила орудием падеиия мэтра Фраисуа, так и этот коротышка поможет ей погубить столичиую зиамеиитость. Чем выше человек, тем легче ему пасть, думает Жаниа. Усталость у иее как рукой сияло.

— Что за вздор вы иесете? — возмутился Жаи Бодеи.— Чем же мы тут, по-вашему, занимаемся, если ие пытаемся устаиовить вашу иевииовиость? Не проще ли было сразу отправить вас иа костер? Известио ли вам, что в этой папке,— ои с раздражением постучал по папке ладоиью,— достаточио доказательств, чтобы сжечь вас не одии раз?

— За чем же дело стало? — спросила Жанна.— Я ведь и не сомневалась, что все предрешено.

— Ничто не предрешено, вы сами должны сознаться.

— Как я могу сознаться в том, чего не делала?

— Значит, вы продолжаете отказываться от своих прежних признаний?

— Я никогда не признавала себя колдуньей.

Этой перебранкой Боден с Жанной как бы расписывались наконец в том, что они друг другу враги.

— Разве никогда не сжигали невиновных?

Ее злоба направлена уже на секретаря суда. Сам он из Ронсена, но в Рибемоне его хорошо знают. Знают, что он жаден, охоч до денег, копит их без пользы. У него совсем небольшая лачуга с узким фасадом, притулившаяся между двумя роскошными домами так, что ее не сразу и приметишь. «Кусок масла между двумя ломтями хлеба»,— шутят в деревне. Зря шутят. Злобный коротышка, его лачуга пропитаны ядовитыми вожделениями, скрытыми ото всех; поговаривают, что секретарь суда убил жену. Но Жанна, несколько раз ходившая в Ронсен на ярмарку, не верила. Все не так просто. Совершенное преступление не так уж и тяготит человеческую совесть. Это просто, Жанна бы даже сказала, очень просто (вспомнить хотя бы, как они топили свои жертвы в пруду). А коротышка полон скверны, от которой хотел бы избавиться, отсюда его раздражительность и жестокость. Этот, из столицы, не таков, но и он чуть не поддался своему гневу.

— Сжигали невиновных! — желчно цедит сквозь зубы секретарь суда.— Ты, что ж, думаешь, к нам сюда невиновных приводят? Вся деревня говорит, что ты ведьма, так оно и есть...

— Дурная слава, Гримо, конечно, на пустом месте не возникает, но это еще не доказательство,— сказал Боден.

— Весь Ронсен говорит, что вы убили жену,— вставила Жанна.

Коротышка вскакивает на ноги, глаза округляются от возмущеиия, изо рта сыпятся ругательства, угрозы. Боден же, казалось, задумался: не пустить ли ему дело иа самотек и не вступить ли, только если его самого что-иибудь заинтересует. Некоторое время ои решил ие вмешиваться.

— О я зиаю, что это иеправда. Оии просто завидуют вашим деньгам. Но вы сами видите, не все, что люди иаплетут...

— Нет у меия иикаких денег! — зарычал коротышка.

— Как же нет, когда вы стольких отправили на костер (Жаииа сама не зиает толком, что имеет в виду, ио чувствует, что оиа на правильном пути).

— Я не судья, я иикого ие отправлял на костер! Я иикогда не брал взяток, чтобы облегчить пытки или спасти от правосудия ведьму или колдуна. Да, мие предлагали. Но иикогда, никогда... И иикогда ие сжигали невииовных! Все были виновны, все! Все признались. Некоторых пытали пятнадцать, двадцать раз, ио в коице коицов все призиались.

Боден с любопытством наблюдает за коротышкой, тот весь пожелтел, на лбу выступили капельки пота. Не прибегает ли Жаииа к колдовству? Секретаря Бодену не жаль. Предстаиь тот перед иим в качестве подсудимого, Бодеи бы ие поручился... Жаииа, несомнеино, что-то в нем учуяла. И Боден записал: «Читает мысли. Провидит скрытое от обычного взора». Еще одно свидетельство против иее. Поиимает ли она сама? Или ей иаплевать, ведь оиа зиает, что обречеиа? Или, может, она не способиа устоять перед сатаной в своем стремлеиии погубить Гримо?

— Призиались под пыткой? — переспросила Жаииа, пристальио глядя на секретаря.— Вы-то сами выдержите пытку? Вы были бы достаточно уверены в своей иевиновиости, в иезримой помощи аигелов, чтобы ни в чем ие сознаться после пятиадцати, двадцати пыток?

— Мне не в чем сознаваться! Это все клевета! Я не убивал жены!

— Я вам верю, мсье Гримо, верю. Но иногда представится в мечтах и спрашиваешь себя...

— Я никогда не желал ее смерти. Я даже не знал, что она больна. Она немного покашливала, но мне и в голову не пришло, что...

Бодену следовало бы остановить все это. Препирательства тут неуместны, он здесь не для того, чтобы судить Гримо, он здесь допрашивает ведьму. И все же сам процесс спора увлек его. Ничего не скажешь, признайся секретарь, это было бы увлекательным поворотом интриги. И кроме всего прочего еще одним свидетельством против Жанны. Даже судья не проникает так глубоко в самую сущность зла. Боден готов был поклясться, что подобное знание достигается колдовством. Ведь и ему два-три раза чуть было не пришлось перед ней оправдываться. Боден сидел молча, словно зачарованный.

— Ваша правда,— шепчет Жанна,— ее болезни можно было и не приметить. Я думаю, она умирала тихо? Медленно? Без врача?

— Она сама не хотела! Не хотела, чтобы я на нее тратился. Она была славная женщина, очень славная. Я никогда не желал, не думал...

Его голос прерывается. Да, он выбрал себе славную жену. Сироту. Сразу предупредил ее, что небогат. Она привыкла ограничивать себя во всем и даже вообразить не могла, как это из-за небольшого жара, кашля, пусть иногда и с кровью, но безболезненного, звать врача, пичкать себя лекарствами. Не ему же в конце концов забивать ей голову такими мыслями. Хорошая хозяйка, экономная и ела мало. Бледное лицо под каштановыми косами. Можно было, конечно, предвидеть, но ведь он взял жену много моложе себя, она должна была его пережить — это ясно как божий день. Были, впрочем,

и у нее недостатки, например страсть разводить цветы или еще того лучше — желание держать певчих птиц. «Это так недорого». Одна из постоянных причин для ссор. Но в какой семье порой не возникают ссоры. Он ни разу не поднял на нее руку, ни разу даже не повысил голоса. «Для кого-то, может, и недорого, но не для нас». Она не стала спорить. Когда жена начала кашлять, он решил, что это она в какой-то степени ему в отместку. Надо признать, кашель его раздражал, раздражал, и все тут. Как будто она неявно давала всем соседям понять, что он делает ее несчастной. Чистое вымогательство. Кто не знает этих женских штучек? Как начнут притворяться, что у них болит голова, живот, и все чтобы выклянчить на банты, ожерелья да кружева. Насмотрелся он на судейских жен. Уступи им один-единственный раз и пропал. Но он не поддался. Тут же запретил ей судачить с соседскими кумушками. «Нечего им знать, что у нас дома делается». Всякое могут вдолбить кумушки ей в голову. «Муж того вам не дает, этого не дает, ваше платье обветшало, а что вы едите на ужин...» Или даже: «У него, наверное, и деньжата припрятаны». Так всегда говорят о людях благоразумных. «Я не хочу мыкаться в нужде на старости лет». Конечно, кое-что, самую малость, он отложил. В общем, запретил он ей болтать раз и навсегда. Но кашлять — это ведь не говорить. Любители почесать языком уже тут как тут: «Что это с вашей Корнелией, мсье Гримо? В Круа-Мао есть один человек, кашель вылечивает...»—«Не иначе колдун! Премного благодарен! Корнелия просто немного простудилась, так что вылечится сама». Но они не унимались. Советовали всевозможные средства, одно дурее другого: делать припарки из перетертого льна, смешанного с паутиной, или мазать грудь рокфором — как будто это могло помочь! Он говорил, чтобы она потеплее одевалась, дал ей старую отцову накидку, чертовски теплую, которую надо было лишь

немножко перешить и пришлась бы впору. Тут-то она себя и выдала: «Уж больно тяжелая накидка и уже не черная, а какая-то зеленая стала...» Нацеливалась на новую. «Не будь меня, носили бы вы накидку из сиротского дома или монашеское одеяние. Поразмыслите-ка, теплее бы вам было?» И все равно он не рассердился. Однако, честно сказать, слышать в доме этот притворный кашель было невыносимо. Он всегда считал: пусть у его Корнелии карие кроткие глаза навыкате и фигура нескладная (он ведь не за красоту ее брал), зато она простодушная да послушная,— и вот она оказывается такой же хитрой и коварной, как все другие жены. Не то чтобы Корнелия ему открыто не повиновалась, нет, но она делала еще хуже. Она слушалась, но ее послушание выходило ему боком. Так, запретил он жене с соседками болтать — она послушалась. И теперь стоило кому-нибудь обратиться к ней, она в страхе выпучивала свои глупые глазищи и неслась домой, как будто за ней гнались. «Уж очень она у вас пугливая, мсье Гримо. Лупите вы, наверно, ее?» Отсюда все эти сплетни и пошли. Поначалу над ним слегка подтрунивали: такой, мол, коротышка, и лупит такую здоровую бабу, а эта недотепа тоже хороша, позволяет ему. Правда, она сирота. Поговаривали, будто он не разрешает ей лечиться, морит голодом. А зачем ей лечиться, если у нее ничего не болит? Да и не будет же он ее насильно кормить, как ребенка.

— Но ведь она харкала кровью?

— Только под конец! Под самый конец! Она скрывала от меня. Все знали, а я не знал. Она просто не хотела меня беспокоить.

Недобрая улыбка появилась на Жаннином лице. Жанна уже не помнила об опасности, она была в своей стихии. Прислушайтесь к деревенским пересудам да оглянитесь кругом, и увидите, как отовсюду повылазят бесы, словно клопы из-под плинтуса, когда их выкуриваешь.

И Гримо рухнет к ее ногам? И про этого скажут, что она его убила? Но ведь не было никаких порошков, никаких заклинаний. Казалось, Жанна говорила Бодену, сгорбившемуся в своей меховой мантии: «Да вы только взгляните, взгляните на него».

Боден молчал.

Гримо и не сомневался никогда, что Корнелия его переживет. Какой смысл брать жену моложе себя, если она так быстро протянет ноги? Он нарочно такую выбрал, некрасивую да крепкую — так шелку предпочитают грубую шерстяную ткань, для ежедневной носки, а не для праздника, но когда вдруг оказывается, что она тоже недолговечна, жалеешь, что не присмотрел какую покрасивее, хоть бы удовольствие получил. Когда он впервые заметил, как жена харкает кровью, у него появилось такое чувство, будто его одурачили. «Я думал, она крепкая! Сестры-монахини ручались! Ни разу не болела за семь лет. Если бы я знал...» Если бы он знал, он выбрал бы другую. Корнелия, неуклюжая глупая толстуха, прочла это в его глазах. Даже самая глупая из женщин не до такой степени глупа, чтобы это не уловить. В ее выпуклых карих глазах ничего не отразилось, но она даже знала (вот бы удивился Гримо, если бы ему сказали), кого бы он выбрал — маленькую Марианну, такую резвую, бедовую; он увидел ее лишь однажды: бант в волосах, маленький красный рот в смородине (иначе почему он был такой красный) — и тут же отвернулся и больше никогда не видел за те вот уже восемь лет, как он был женат на Корнелии, но и этого мгновения ей было достаточно, чтобы понять: его поджарая костлявая плоть возжелала Марианну. И Корнелия с ее затуманенным сознанием, тугодумием, собачьими преданными глазами так этого и не забыла; она всегда надеялась увидеть такой же огонек в глазах мужа, обращенных на нее. А взамен — досада. «У тебя кровь? Ты харкаешь кровью?»— «Это зуб»,— ответила

Корнелия. И оба отвели взор. Долгие месяцы потом он не замечал, чтобы у нее шла кровь. Она таилась, успевала вовремя выбежать. Лишь бы не видеть вновь досаду в его глазах, еще более оскорбительную, оттого что он ее сдерживал. Она с еще большим рвением бралась за работу, вставала еще раньше, ей даже удавалось подавлять кашель, бог знает, как она это делала. Однажды она сказала (боль в груди, и правда, на время отпустила, вернее, ослабла): «Смотрите, я почти поправилась», и прочитала на его лице удовлетворение: «Вы славная женщина, Корнелия, очень славная». Так прямо и сказал. Два дня спустя она умерла.

Теперь Гримо плакал, и его поникшие худые плечи сотрясались от рыданий. «Еще немного — и расколется»,— думал Боден.

— В последний день, когда она легла,— всхлипывал секретарь суда,— я спросил: «Хочешь чего-нибудь? Лекарство? Может, врача позвать?» Я ничего бы не пожалел. Но Корнелия не захотела. Я умолял. Она мотала головой, она уже не могла говорить, да и дышала еле-еле. Был четверг, базарный день. Я... я вышел из дома и поспешил на рынок... это недалеко... купил ей птичку. Спросите у кого угодно... желтую птичку, такую свистуныю, она и сейчас у меня. Птичка. Я принес ее домой. Жена радовалась. Вечером Корнелия умерла. Я позвал священника, дал деньги на отпевание... Вы спросите... маленькая желтая птичка...

Вид у него был жалкий дальше некуда. Из него сейчас можно было вытянуть все что угодно. Он обхватил лицо руками, глаза блуждали по сторонам.

— Придите в себя, мэтр Гримо! Да придите же в себя,— прошептал Боден. Но тот ничего не слышал. Бессвязные речи срывались с его губ, сам он весь дрожал и только повторял слова: «маленькая желтая птичка», за которые он цеплялся так, словно этим поступком мог оправдать всю свою жизнь.

— Выйдите пока,— сказал Боден.— Вы мне сейчас не нужны. Право же, успокойтесь, мэтр Гримо.

Секретарь вышел, оставив свои бумаги, шапку. И через тяжелую дубовую дверь из коридора донеслось его бормотание, всхлипы. Жаннины глаза сверкали.

— Вы показали нам свое умение, так ведь?— медленно выговорил Боден.— Но вернемся к главному. Итак, вы по-прежнему будете отрицать, что обладаете сверхъестественными способностями?

Боден был взволнован больше, чем хотел показать. Он испытывал перед этой женщиной какой-то страх, он боялся, как бы она не приступила с вопросами к нему, не загнала его в тупик, как Гримо. Несомненно, однако, тому было в чем себя упрекать, а ему, Бодену... И он в сердцах подумал: «Стану я еще перед ней оправдываться!»

— Способностями?— резко переспросила Жанна.— Не больше вашего!

— Но этот человек...

— Вы хотите сказать, я его околдовала?

— Нескольких слов оказалось достаточно...

— С вашими пытками не сравнить.

— Вы обладаете тайным знанием...

Торжествующая улыбка вдруг сошла с ее лица, казалось, в мгновение ока Жанна изнемогла, постарела.

— Никакого тайного знания нет,— вымолвила она.— Или тогда... Нет, тайн никаких нет. Или, вернее, все та же тайна, все та же.

Ее словно покинули силы, подобно тому как кровь вытекает из раны. Жанна и сама почувствовала, что бледнеет, сознание покидает ее, еще немного, и она упадет в обморок. Жанна уже не понимала, зачем ей понадобилось изничтожать секретаря суда. Защищаться, отбиваться, наносить решающий удар. Зачем? Жанна глубоко вздохнула.

— Все признаются, все,— могильным голосом повторила она слова Гримо.— Всех ждет костер. Все виноваты, все...

Но силы иссякали. Слишком велико было напряжение. Почти без сознания она лежала, распластавшись на стуле, одними веревками удерживаемая от падения. Боден вскочил, словно его поразили в самое сердце, подошел к ней, встряхнул.

— Что вы имеете в виду? На что намекаете? Кто это виноват? Что за тайна?

На губах у Жанины выступила пена.

— Что значит: все виноваты? Прекратите ломать комедию, или я прикажу вас пытать. Прекратите... или...

В его голосе, дотоле глухом, вдруг послышались пронзительные нотки. Заметив это, Боден умолк. В исступлении он затряс ее тощую руку — тело безвольно, словно кукла, раскачивалось на стуле. Боден отпустил руку. Он остался один на один со своим собственным гневом.

В комнату влетел солдат. За дверью услышали крики, и Гримо послал его сюда. Но увидев, что Боден стоит над распластанным на стуле телом Жанины, солдат успокоился:

— Мы там испугались... Прикажете увести?

— Уведите!— распорядился Боден; его душила ярость.

— Прикажете пытать?

— Да. Впрочем, завтра, завтра утром.

Он был один в небольшой зале, всюду царил беспорядок, валялись бумаги. Уйти отсюда! Секретарь суда ждал в коридоре, его глаза все еще были воспалены, лицо осунувшееся, но им постепенно вновь овладевала привычная немощная злоба.

— Вы закончили?

— Закончил.

Лицо Гримо, похожее на морду хорька, непроизвольно передернулось; немного поколебавшись, он спросил:

— А ее будут...

— Да.

Животная радость, которую Бодеи прочел в судорожиой улыбке секретаря, его заговорщнцкий взгляд подействовали на судью словно пощечниа. Его кулаки угрожающе сжались, но он сдержался и быстрымн шагамн направнлся к выходу. Солдаты как раз выносили длнниое безжизненное тело Жаины.

Ему приготовили лучшую комнату в замке. Правда, иедостаточно протопленную. Весна прохладная, н влажиые старые стены, лншь местамн покрытые ветхнмн гобеленамн, заставляют его дрожать от холода. Кровать такая шнрокая, н, чтобы добраться до хорошо прогретой середины, прнходится преодолеть заледеиелые просторы простынь. Полог иад кроватью ие мешало бы выбить. Сиизу иа просвет хорошо заметна осевшая иа бахроме пыль. Все в замке слегка выцветшее, лииялое; чувствуется отсутствие жеиской руки. Клод д'Оффэ вдовец, а его больной дочерн сейчас ие до гостей. И все же в камние славио полыхает огонь, да и ужии был выше всякнх похвал. Как трогательны этн уснлня прннять его достойио, оказываемое ему винманне. Поежнваясь, он глубже забирается под перину. От приливов ноющей болн в спнне он морщнтся. Что ж, ои уже не так молод: сорок лет... Впрочем, ои с юиых лет подвержен хворям не вполне ясного происхождения, которые обычно поражают людей тщедушиых и иервных: болят виутренностн, ломнт кости, иоет голова... Тем не менее он проделал не меиьше, а то и больше работы, чем проделал бы на его месте другой. Нужно только захотеть... Однако он дорожнт комфортом, держнтся свонх привычек, и не нзнежеиность тому виной, просто этн условня благопрнятиы для его размышлеиий, трудов. Он ие рассчнтывал иа особые удобства в Рибемоне, ио раз представнлся случай и предмет разбнрательства его увлек... Внно было иеплохое, но тяжеловатое. Не следовало

соглашаться больше чем на один бокал, ведь он переносит вино только самого отменного качества. Дома у него погреб всегда в порядке. Франсуаза знает толк в этих вещах. Она понимает их важность, понимает, что это не блажь, просто он должен иметь возможность восстановить силы в благоприятных условиях, где все подчинено обретению хорошего самочувствия и работоспособности. На миг он вспоминает свой рабочий кабинет с дубовой обшивкой на стенах — ничто другое не защищает лучше от губительной для него сырости,— свои удобные кресла, тяжелую обивку спальни, в которой подогревается все, вплоть до ночного колпака. Хорошая жена Франсуаза, превосходная жена.

Он улыбается, осознав, что в точности повторил слова того ужасного секретаришки с физиономией убийцы. Но улыбка тут же тает. Дело довольно щекотливое. Не в смысле решения, приговора. Но эта женщина... И ведь невежественная. Пусть ведьма, но до настоящей магии ей далеко: пятиконечные звезды, философский камень, астрология — для нее это, по всей видимости, пустой звук. Тут из нее много не вытянуть. Но вовсе не обязательно обладать познаниями в философии или метафизике, чтобы продать душу дьяволу. Равно как нет в них нужды, чтобы достичь святости. Инстинкт зла — как впрочем и духовные силы — проявляется у самых простых натур. Тем любопытнее бывает наблюдать. Механизм в этом случае менее замысловат, более очевиден. С этой точки зрения Жанна — подходящий объект. Сейчас она в темнице, закована в цепи, а завтра — допрос с пристрастием. Нахмурясь, он гонит от себя неприятные картины. Он не кровожаден. Более того, он страшится крови, страдания, как и всего, что связано с плотью. Женщины, несомненно, привычней к этому, чем мужчины. Роды Франсуазы всегда были для него кошмаром. На время третьих он подгадал так, чтобы оказаться вдали от дома. Порою, поддаваясь суеверию,

ои задается вопросом, ие это ли бегство послужило причииой несчастья с малышкой Жюльеттой. Но это чушь. Безумие. Ночиые кошмары, перед которыми иикто ие устоит. Кстати, иа этом и строят расчет проклятые колдуньн. У кого в сердце ие иайдется чувствительного места, трещиики, куда может просочиться грех? И такая женщина, как Жаииа, с ее чутьем, с ее пророческнм даром (а то, что она им наделена, ои почувствовал иа себе: сколько раз ему приходнлось делать над собою иешуточиое усилие, чтобы ие дать себя увлечь) способиа без труда иащупать эту трещииу, воспользоваться смятеннем человеческого существа, чтобы влить туда яд нскушения... Да взять хотя бы секретаря суда: и часа ие прошло, как он был уинчтожен как личиость, буквально стерт в порошок. Вот уж кто признался бы в чем угодио, пустился бы во все тяжкне, чтобы заглушить угрызеиия совестн, утолить снедающую слабые иатуры жажду самооправдаиия. «Желтая птичка... Совсем крошечная птичка, н оиа чирнкала...» Ои как будто сиова слышит этот жалкий лепет, эту убогую попытку защитнться... Если внушить ему, этому человеку, мысль о жертве, подсказать какие-иибудь страшиые, неслыхаииые слова — средство заставить замолчать свою совесть — или прнгрозить возможиым отмщеиием мертвой, будет ли он колебаться? И ведь за определеииую мзду такая жеищииа, как Жаииа, ие откажется прийти на помощь. За первым шагом иеизбежно следует другой, приобретается привычка к магическим средствам, разум отрекается от самого себя, и человек, дабы избавиться от иедуга, подияться иа более высокую социальиую ступеиь, добиться благосклоииостн жеищииы, прибегает к помощн колдуиьи... Появляется вкус к жизнн в таком мнре, где иичто уже не подвластио здравому смыслу и силе воли.

Да, ие только простолюдины способны тяготеть к таким вещам, ио и самых просвещеиных, самых вдум-

чивых может засосать эта трясина. Разве он сам, приди к нему эта женщина или ей подобная и скажи: «В вашей власти, чтобы Жюльетта...»,— разве не поддался бы он, хотя бы на миг, сомнению, не дрогнул бы? Разве не посетило бы его искушение отказаться от их с Франсуазой терпеливых усилий разбудить дремлющий разум, превозмочь — она свое горе, он свое унижение — перед этим убогим маленьким существом в пользу некоего простого магического решения? И если бы колдунья преуспела там, где союз человека с Господом оказался бесплодным...

Смутное беспокойство закрадывается в него, столь одинокого посреди теней этой печальной комнаты. Колеблющийся свет свечей у изголовья только усугубляет их нереальность. В обычное время в этой комнате, ясное дело, никто не живет. Сюда в спешном порядке принесли большой новый, словно недавно сотканный ковер — ничего общего с пологом над кроватью и шторами на высоком окне, до того ветхими, что они того и гляди рассыплются в прах. Столик явно из гостиной, так же как кресло и конторка рядом с ним (уж не воображают ли они, что он собирается читать стоя, словно какой-нибудь письмоводитель?). Зато шкаф скрипит, им не пользовались много лет — очевидно, с тех пор, как умерла хозяйка дома, которой, похоже, принадлежала эта комната. Это заставляют предположить ее размеры и вид, а еще заброшенный поломанный ткацкий станок в темном углу и такой неуместный здесь запыленный комодик с многочисленными ящичками. Похожий есть у Франсуазы — она хранит в нем нитки и вязанье. Но здешний комод пуст, как и шкаф, как и сама эта нежилая комната. Распятие, должно быть, принадлежало умершей; крохотная кропильница пуста, благочестивая картинка как раз из тех, что может держать в своей спальне женщина: с ангелочками и с окаймлением из цветов и плодов вокруг основного сюжета — Благове-

щения. Все они такие: даже святые догматы веры им подавай, украшенные какими-нибудь побрякушками и финтифлюшками. То же и с адом. Какой мужчина без помощи женщины мог бы додуматься до мерзких подробностей ведьмовского шабаша? Женщина — низшее существо, исключая разве что тех, кто знает свое место, как Франсуаза. Но даже и Франсуаза не лишена этих слабостей; сколько свечек она поставила, к скольким святым взывала, сколько раз совершила паломничество ради исцеления Жюльетты! Он не препятствовал ей, оправдывая это извечным мужским доводом в отношении суеверия: «Худа от этого не будет». Но разве, следуя этому доводу, не вступаешь в сделку с самим злом? «Мало ли что... Вдруг поможет...» Разве это не первый шаг навстречу колдовству? Разве сам он после очередного подобного поступка Франсуазы не вглядывался иногда в восковое личико ребенка со смутной надеждой, нелепой доверчивостью, порожденной отчаянием? А ведь сколько раз он повторял ей: «Только терпение и настойчивость... Смотрите, ей уже удалось усвоить несколько букв, несколько цифр... Мозг внезапно восстает ото сна, если того пожелает Господь...» Но Франсуаза считала, что Господа можно поторопить. Даже лучшие из женщин... Точно так же, как они пристают к мужу с нарядами или украшениями, они пристают к Господу, убежденные, что рано или поздно ему надоест выслушивать их причитания и он уступит, как уступает им муж. Как это по-детски. С одной стороны, впрочем, трогательная доверчивость. Но и опасная. Надо будет (эта мысль и раньше приходила ему в голову, но сейчас, в свете этого процесса, предстала перед ним, как никогда, ясной и отчетливой) положить этому конец. Объяснить Франсуазе, что эти ее поползновения почти греховны, да-да, греховны. Господь исцелит Жюльетту, если сочтет нужным. Негоже его упрашивать, представлять этаким тираном, которого можно умилостивить

жертвами и мольбами. Быть может, исцеление Жюльетты не предусмотрено божественным провидением. Но попробуйте втолковать это женщине. Вечно он наталкивается на неподатливость Франсуазы, характерную для всех женщин, на какую он натолкнулся и сейчас у этой проклятой колдуньи. Отвлеченные рассуждения им недоступны. Вообще говоря, они по самой своей природе мятежницы. Бунтуют против миропорядка — как светского, так и духовного. Истинной свободы, свободы разума, им понять не дано. Разве та же Жанна не намекала, что ее поступки подсказаны ей некой темной силой? Это проскальзывало у нее беспрестанно. «А что мне, по-вашему, было делать? Как поступить? Я была вынуждена...» Сатанинские рассуждения. Никого не принуждают губить свою душу. Каждый волен избрать стезю добра. В этом первооснова нормальной жизни, достоинство человека. В этом...

Он беспокойно заерзал в постели — теперь она стала казаться ему чересчур жаркой, перегретой. На лбу выступила испарина. В сердцах он вытер ее колпаком, да так его больше и не надел. Эти проклятые крестьяне не придумали ничего умнее, чем превратить комнату в адское пекло; но в непроветриваемом, нежилом помещении от этого лишь сильнее выступает влага на стенах. Он уже начинал ощущать на себе ее действие: беспокойство, ломота в пояснице, бессонница... А что, если ему завтра уехать?

Судьи будут неприятно удивлены. Разочарованы. И Клод д'Оффе тоже. Но ведь в конце концов ему достаточно будет сказать: «Я удовлетворен допросом. Она, несомненно, колдунья. Сожгите ее, и дело с концом». Этого с лихвой хватит для того, чтобы умиротворить их совесть добропорядочных крестьян. Стоит Жанне исчезнуть, как они снова впадут в блаженную спячку — еще на добрых четверть века. До сих пор колдовство обходило эти края стороной. Они впадут в спячку. «Вы

видели их? Мертвецы. Живые мертвецы»,— сказала оиа. Ои понимал ее лучше, чем желал себе в этом призиаться. Их спящая совесть, иежелаиие задаваться вопросами... Несомиеиио, это искушеиие, грех. Но тут есть и положительиая стороиа. Соииое, равиодушиое стадо жвачиых животиых — оио иеобходимо для крепости общества. Оии, как известияк, как гумус. Сам Господь ие осудил бы их за это. Одии создаиы для размышлеиий, другие — для битв, и представляется естествеииым существоваиие категории людей, созданиых для того лишь, чтобы служить для других орудием, материалом. Оии тоже по-своему солдаты. Оии ие зиают ии куда идут, ии что делают, ии зачем оии это делают, ио оии иеобходимы для иормальиой жизиедеятельиости всего оргаиизма. В этом смысл их жизии, хоть сами оии об этом и ие подозревают. И, быть может, иесчастье с Жюльеттой тоже имеет смысл, пусть иепостижимый для окружающих, ио тем ие меиее реальиый. Быть может, Жюльетта по-своему *необходима?* Ему представилось, что, окажись здесь Фраисуаза, ои сумел бы ей это объясиить. Если бы только по ее глазам ои ие поиял, что оиа иарочио ие желает поиимать... В такие мгиовеиия ои почти боялся ее: кроткая, предупредительиая, по-матерински ласковая жеищииа с золотистой кожей вдруг преображалась в иечто твердое, иепробиваемое, глухое, совершеиио чужое. Такое уже бывало. Каким одииоким ои чувствовал себя тогда! Да, ради Жюльетты Фраисуаза послушалась бы колдуиьи. Возможио даже, ие видя, ие ощущая, что это кощуиство, святотатство. Нет, иикогда, ии за что иа свете ие согласилась бы оиа допустить, чтобы страдаиия ее ребеика могли оказаться полезиыми для мирового равиовесия. Мятеж. Впервые ои увидел это так ясио, и эта мысль его глубоко потрясла. Франсуаза — мятежиица! Оиа, которую ои взял в жены, полюбил за идеальиое соответствие ее роли супруги, за ту иепринуждеииость, с какой оиа

существовала в тесных рамках этой роли, придавая ей смысл и наделяя достоинством. Как умела она поднять до уровня ритуала, чуть ли не священнодействия всякую бытовую мелочь, малейшее событие семейной жизни! И все это без напыщенности и излишних слов, одним своим присутствием, ясным и светлым... Он полюбил ее уже после того, как на ней женился. Только тогда, когда она впервые вызвала у него тревогу, он понял, признался себе, что любит ее. Ясное небо заволокло тучей, озерная гладь подернулась рябью в тот день, когда у трехлетней малышки Жюльетты, которая ходила, бегала и выглядела такой же крепенькой, как двое старших детей, случился первый припадок. К тому же она не говорила, не заговорила и год спустя... Туча сгустилась, потемнела. Ненавязчивая красота Франсуазы стала более заметной, ярко выраженной. Теперь она замкнулась в себе, в ней что-то неуловимо изменилось: она постепенно охладела к своему саду, цветам, все чаще отказывала себе в невинных маленьких развлечениях — музыке, вышивании... Не тогда ли впервые проявилось суеверие? Потеряла ли она вкус ко всему просто как человек, застигнутый горем, или же то было сознательное лишение себя всех удовольствий в надежде, что это действие, которое вполне можно расценить как магическое, пойдет на пользу дочери?

Не так ли зарождалась мысль прибегнуть к помощи Князя тьмы?

Надежда, разумеется, тщетная. Кто видел, чтобы хоть одна ведьма извлекла выгоду из совершенной ею постыдной сделки? Ни богатства, ни, по большей части, красоты, гонимые всеми... А при разоблачении их адский повелитель и вовсе бросает их на произвол судьбы... Любопытно, что ни примеры, ни здравый смысл не в состоянии их удержать. Упоение ненавистью, разгулом, властью над людьми сильно. Ведь власть налицо, в этом он убедился собственными глазами. Разве не ощущал

он ее над собою в этот самый миг, когда ворочался, не в силах уснуть, когда чувствовал, как зарождается в нем едва ли не злоба на любимую жену, больное дитя; и откуда иначе взяться этой ужасной мысли, ставшей уже привычной, как бьющая в борт волна: «Лучше было бы...» Что бы он сказал, если бы узнал, что он, утонченный интеллектуал, искусный политик, скороспелый мудрец, уподобится мятежному крестьянину — существу, стоящему в его глазах на уровне животного,— который при виде своей новорожденной дочери со вздохом произнесет: «Лучше было б...», а в глазах Жанны будет та же темная ярость, тот же непроницаемый отказ понимать, что и в глазах Франсуазы, в глазах всякой женщины, которая защищает произведенную ею на свет жизнь? И тем не менее в какой-то особенно безысходный вечер он пробормотал: «Лучше было бы ей никогда не родиться...»— и Франсуаза обратила на него точно такой же взгляд.

Сама Жюльетта подошла тогда и стала ластиться к нему как зверек, смутно осознающий, что он в чем-то провинился; он еле удержался, чтобы не оттолкнуть ее от себя.

Повинна ли она? Конечно нет. Надо было просто проникнуться мыслью о необходимости этого. Но какой мыслью проникнется она, если когда-нибудь отдаст себе отчет в своем состоянии? *«Чтобы бы вы сделали на моем месте?»* Наглость? Да. Но если Жюльетта отдаст себе отчет в своем состоянии, она перестанет быть совершенно — как бы это сказать? — невинной. На нее ляжет ответственность. Конечно, ограниченная, однако она наделит Жюльетту свободной волей, духовным существованием. Ей будет предоставлен *выбор*. Быть может, она сумеет приносить какую-то пользу в доме, например, шить или — кто знает? — присматривать за детьми своих братьев... Уродливой ее не назовешь, только вот бывает не по себе от ее блуждающего взора. Быть может, ей

еще удастся обрести равновесие, покой. И тогда Франсуаза вновь станет такой, какой была в первые дни замужества: улыбчивой феей, обожающей цветы, толмачом между ним и природой, ним и детьми, ним и жизнью... Он начинал засыпать.

В полудреме его охватила блаженная истома, какой он не испытывал никогда, разве что изредка в объятиях жены, и он представил себе, что, обретший былое красноречие, беседует с Жанной Арвилье. «У меня есть дочь,— говорит он ей,— которая, как и вы, приговорена. Она обречена жить в четырех стенах, она никогда не познает мира, никогда не приобщится к разуму; однако взгляните на нее: она кротка, она счастлива, она сумела почувствовать, что и ей отведена своя роль. Она никогда не покидает своего сада, и ее существование есть проявление благодати...» Он говорил, говорил, и его дом, его жизнь менялись прямо на глазах, обретали светлую прозрачность, освобождались от груза унижения и горя. Он тенью пересекал сад, где мальчики строили шалаш, и шалаш этот казался ему многообещающим символом их будущего призвания; он шел по гостиной, где Франсуаза шила, склонив над рукоделием свое прекрасное, с чуть крупными чертами лицо, и говорил ей слова любви, на которые обычно бывал скуп; он ласкал Жюльетту, присевшую на подушечке у его ног,— молчаливую Жюльетту, которая есть ключ ко всему, непостижимый и необходимый знак, поданный из мира духа; вот он шел в свой кабинет, сумрачный, спокойный, где он столько размышлял о счастии людей, о смысле религий... Сейчас он сядет за работу, пройдет еще день, тусклый и безмятежный, как Вечность... Но что-то мешает ему: слишком яростное пламя в камине (огненные языки в его сне до того осязаемы, что, казалось, вот-вот его поглотят); красные шторы на окне, исчерна-красные, словно запекшаяся кровь; итальянский кинжал на письменном столе — образчик ювелирного искусства, странный отблеск, сталь,

железо, раны, крики роженицы, пытки, пламя, кровь... Пронзительный крик жизни и смерти исходит из недр дома, достигает кабинета, где он ждет рождения ребенка (которого?), крик, с которым ничего не поделать, красный крик, превосходящий пределы разумного...

Крик разрываемого тела, исторгающего из себя другое тело, которое, в свою очередь, породит следующее, чтобы страдание длилось всегда, чтобы зло не прерывалось... Он хочет заткнуть себе уши, но колдунья здесь, в комнате, где-то рядом, она не дает ему это сделать и смеется, смеется над криком, который никогда не прекратится, никогда ничему не поможет... Он умоляет: «Ребенок! Покажите мне ребенка!» Но она, суровая, страшная, как пифия, твердит, чеканя слоги: «Ребенка нет! Ребенка нет».

Инстинктивно он начал отбиваться, сел в постели, зашарил в темноте в поисках чего-то, сам не зная чего, еще не освободившись от власти сна... «Я болен». То была его первая трезвая мысль. Света! Угли в камине еще тлели. Зажечь свечу у изголовья. Он сидел в постели, и его бросало попеременно то в жар, то в холод. Он подождал, пока успокоится сердце. У этого человека с холодным умом слабые нервы. Он знал это, пользовался этим при случае, чтобы вызвать в себе волнение, которое испытывал в некотором роде только физически. Но нынче ночью тело возобладало над разумом, сказал он себе, переведя дух. Он воспроизвел в памяти все этапы сна, начавшегося столь безмятежно и завершившегося тревогой, и старался отыскать в нем предостережение, не сомневаясь, что оно там есть... Слепо руководствоваться своими снами и предчувствиями было бы неосмотрительно, но использовать их отнюдь не возбраняется. Древние...

Так что же ему снилось? Жюльетта... На какой-то миг она представилась ему ключом, разгадкой всего. Но каким образом?.. Предощущение, сквозь призму сна

казавшееся ему столь очевидным, распадалось по мере того, как он пытался его уловить, сформулировать его суть. А колдунья? Почему она внушила ему вдруг такой ужас, почему он отождествил ее с той частью своей жизни, которую он еще не разгадал и, возможно, не разгадает никогда?

Ведь он сам пожелал встретиться с настоящей колдуньей. И вот слова, произнесенные колдуньей в его сне, оказываются полной противоположностью тем, что он готовился услышать, надеялся услышать. «Ребенка нет. Ребенка нет». Загадочные слова, которые он истолковал как отказ от веры, от конечной цели творения. Но если вдуматься, кому, как не колдунье, и веровать? Прочие «видели, аки в зерцале», но она-то, она видела «лицом к лицу». Так, значит, эти слова, которые, как он вообразил, произнесла она, которые он просто вообразил, исходили от него самого? От той части его «я», что сомневается, оспаривает, возражает?

Нет, он все еще не пришел в нормальное состояние; эти мысли — продолжение кошмара. У него вновь возникло искушение уехать. Ему вдруг стало страшно, что процесс не даст ему желаемого, и страшно, что он окажется перед лицом того, что искал. Страшно, что он сумеет найти искомое.

Он вспотел, хотя лоб оставался ледяным. Он снова натянул на голову ночной колпак. Эта влажная жара невыносима. Взять себя в руки. Терпеливо распутать клубок мыслей, ощущений, наваждений — ведь это и есть обрести себя самого, не так ли? Определиться, навести в самом себе полный порядок, при котором даже противоречия аккуратно выстроены одно за другим в ожидании своего разрешения. О, он терпелив — и в размышлениях, и в своей карьере — он готов признать, что допустил ошибку, отступить назад, взяться за дело с самого начала. Но где начало, отправная точка этого любопытства (вот оно, успокоительное слово), которое

привело его в этот захолустный городок, в эту унылую комнату, к этому одиночеству?

Где начало? В вечерах, проведенных за чтением Библии, «иногда по два-три часа кряду в стремлении дознаться, какая же из религий, со всех сторон подвергающихся нападкам, истинна» *?

Несомненно, корень следует искать здесь, в этом странном интересе, понуждающем анализатор, этот стержень человеческого разума, вечно вращаться вокруг проблем, где разуму как раз и нет места. Гороскопы, небесные светила, сны всегда притягивали его, едва ли не завораживали. Разумеется, главную роль тут играла надежда низринуть их с пьедестала, поставить перед собой на колени, заставить признать свою зависимость от человеческой воли. Однако как сделать поправку на то влечение, какое испытываешь именно к тому, с чем сражаешься, и как в самой решительной схватке распознать смутное желание пасть?

О, временные победы всегда остаются за ним, и нынешняя ночь не исключение. Сейчас он совершенно отчетливо различает в своем интересе к колдунье потребность удостовериться в Невидимом, получить гарантии. Если бить, то наверняка, и он, на собственном опыте удостоверившийся в том, что политика в конечном итоге в большей или меньшей степени подвержена воле случая, намерен исключить всякую случайность, когда дело касается его души. Сколь велико значение благодати, ему в настоящий момент неизвестно — более того, ему неприятна сама постановка вопроса. Ведь задача только в том, чтобы строить, не отбрасывая ни единого камня. Он сам себе зодчий, сам себе защитник. Здание должно расти, процесс — продвигаться, и Боден верит: настанет день, когда человеческий разум воссоздаст Божий промысел.

* Подлинные слова Бодена.— *Прим. автора.*

Эта мысль его успокоила. Он себя перестронл, мозг виовь работает с обманчивой ясностью, он рассеял иочные видеиия или, скорее, нспользовал их для своих целей. Механнзм снова пущеи в ход. И разве среди шестерен этого механизма, собствеииоручио им прнгнаниых, ие одна нз самых действеиных — зло? Разве оно не лучшее доказательство *воссоздания,* в чертах которого он охотнее всего прозревает божествеиное творение?

Вот почему он не уедет. Нужио *воссоздать* эту жеищину, эту колдунью. В этом смысл его сна. И по существу, еслн вдуматься, во сне он, вопреки виднмостн, одержал победу. Стремясь дать ему ключ к мирозданию, она была вынуждена отрнцать его существоваиие, отрнцать самое себя как колдунью, чтобы иайтн протнв него оружие. Да-да! Еще можио все спасти. Можно постронть такое общество, в котором даже зло будет обращено на пользу, в котором слепая любовь Франсуазы, недуг Жюльетты, его собственная беспомощность н отвращение (сказано не слншком сильно) к тому и другому — все займет свое место.

Всякий раз, когда он чувствовал, что погружается в сон, ои стряхивал с себя оцепеиение, садился в подушки н вновь подвергал самого себя допросу, убежденный в том, что дело не терпнт. Итак, доказательство. Значит, он не уверен... Но кто в наше смутное время может быть уверенным? Идеи Реформацни взбудоражили мир, и не без причины. Любой непредубежденный ум должен признать, что этн новые теорнн не лншены оснований. Если вернуться к истоку, к Ветхому завету, можно обнаружить немало пассажей, допускающих самые различные толкования. Лютер, Кальвнн, Цвннглн... А мусульмане с их простым н дикнм верованием — разве не блнзкн они тем патриархам, которые в награду за свою веру ожидалн тучиых пастбнщ и бесчнслениого, «акн волны морские», потомства? Что же остается незыблемым? Разве что четкая граница между Добром и Злом, между человеком,

достойио и свободно заключившим союз с Господом, и тем, кто употребил свою свободу на то, чтобы выбрать мерзкую карикатуру на Святой дух? Да, хоть это остается очевидным на всем протяжеиии поисков. И грех — действительно доказательство, быть может, еще более очевидиое, чем добро... Нет, не более очевидное, а более... Во всяком случае, более распространениое. Чистое добро, добрая воля, чистая любовь (очищеииая от заблуждений, от внезапно темнеющих глаз, от обмороков и от крика, долгого крика жизни) — такое встречается редко. А зло тут, рядом, воплощенное в колдуиах, удивительно простое; черное делает белое еще белее, и от этого на душе сразу как-то спокойнее. Оргии, шабаши, зарезанные младенцы, животные совокупления — все это существует, все это совершается; нынче иочью он даже возьмет на себя смелость утверждать, что такое должно существовать, дабы при лицезрении этих гиусиостей люди понимали: сколь бы ты ни был несовершеиен, терзаем сомиеииями, но ты сделал выбор, ты не пошел на сговор, ты по сю сторону черты.

Или по ту. Человек выбрал, и выбрал свободно, сторону зла. И знает об этом, и, несомненно, черпает в этом мрачное удовлетвореиие. И он наделяется властью. Это бесспорно. Я *видел* это. Говорю вам: я сам это видел! И даже ощутил иа себе. Хоть и узиица, она сумела смутить мой разум. В ее глазах было торжество. Вот оиа, власть колдунов: чего бы оии ни коснулись, оттуда сразу начинают бить источники зла. Так оии сеют смуту. Вы уже не понимаете, в чьей вы власти, не узнаете цвета, голова идет кругом, и тогда ради какой-нибудь бессмысленной прихоти, удовлетворить которую человеческими средствами вам представляется невозможным, вы прибегаете к магии. С этого момента вы конченый человек. Даже если желаемый результат не достигнут. Но иногда ои, видимо, бывает достигнут. Раз колдунья иаделена способностью читать мысли, то наверняка обладает

(или обладала) даром исполнеиия желаний. Некоторых желаиий. Быть может, лишь тех, что отиосятся к духовной жнзни? Говорят же, будто деиьгн, добытые чародейством, в прок не идут, а нногда в шкатулке владельца просто обращаются в сухие листья или труху. Исцелеиие, прниоснмое магией, тоже ие настоящее. Это лишь вндимость нсцелеиия. Да, да, Франсуаза. Кляиусь тебе. И отиюдь ие потому, что я бежал...

Человек считает себя виновиым. И стаиовится им. А потом выбнрает вииовиость. Гибельный путь, который используют колдуиьи. Выбор зла прнноснт облегчеиие. Человек уже не блуждает в тумане. Он по крайней мере знает, на что идет, кому принадлежит. Быть может, он сумеет найтн в этом видимость оправдання? Дочь колдуиьи, оиа, возможио, еще колебалась, металась из стороны в сторону в этом прнзрачном мире... Но оиа вышла из него. Сделала выбор. Который могла сделать и подругому. Я настаиваю иа этом. Еслн она сознательио выбрала зло, то могла сознательно же выбрать н добро. Могла, как может всякое свободиое создание Господа. И она заслуживает костра.

Ои снова укладывается. Аккуратио, заботливо, как сделал бы это другому, подтыкает себе под бока одеяло. Ои вполне это заслужил. Рассуждеиие логнчио, вывод обосноваи. Движет миою стремлеиие проаиалнзировать сделку с дьяволом. Мне надо, чтобы эта женщииа добровольно ее прнзнала. Прнзнанне явится спасеиием для иее и для остальиых. Оправдать можно все. Все ли? Толчеиое стекло, в котором медленно раздавлнвают пальцы обвиняемой? Лестницу, иа которой ее тело растягивают так, что трещат, а иногда, если палач иеуклюж, и ломаются костн? Жгуты, поджаривающие плоть, которая от этого пахиет, как обычное жаркое, вполие аппетитио? Дыбу, которая вырывает члены? Испаискнй сапожок? Наручиикн? Да, все. Все. Из этого горнила выходнт правда. Что тут удивительиого? Колдун избрал жизнь,

здешний мир. Тело — его единственное достояние, поскольку душу он уже потерял. Значит, на это достояние и следует посягать. Только душа дает силы сопротивляться. Так что невиновность проявится сама. Конечно, не без мучений. Но разве все мы не мучаемся? (Мы — имеются в виду те, кто не является обвиняемым и не рискует им стать, поскольку явно сделал выбор.) Остается виновный наполовину. (Как укрепилась его способность к рассуждению! Временная власть над ним колдуньи иссякает, ее пагубное влияние ослабевает.) Итак, виновный наполовину тот, кто колеблется, кто бредет по той самой полосе между невинностью и виновностью, существование которой приходится признать, тот, кто не сделал выбор, кто — пора произнести это вслух — не принадлежит ни к какому лагерю, ни к какому обществу. Этот приносится в жертву. Он должен быть принесен в жертву. Это его так опрометчиво защищает Жан Вир, приводя доводы в пользу полубезумных, отбросов общества, бродячих цыганок, нищенок, душевнобольных, которых он называет «невинными». Невинность — совсем другое! Невинность — это то, что определяет себя, выбирает себя, провозглашает себя невинностью. Остальное — это...

А Жюльетта?

Жюльетта, родись она в бедной цыганской семье, Жюльетта, брошенная на краю канавы, Жюльетта-сирота — разве не составила бы она часть тех отбросов, гибель которых необходима? Отчего так получается, что все рассуждения всегда выводят на одну и ту же прогалину, на одно и то же пересечение дорог, отчего это выходит, что все объясняется и успокаивается лишь принесением в жертву Жюльетты, подобно тому как множество тропок ведет на Голгофу? И как он мог сжалиться над упрямой, озлобленной старой женщиной, когда ему нужно мысленно пожертвовать собственным ребенком? Дыба, испанский сапожок — разве это худшее мучение?

И если дочь этой женщины умрет или продаст душу — неважно,— разве она тем самым не расплатится, как расплачивается он сам, и расплачивается ежеминутно. Агнец. Но не Божий Агнец, а Агнец увенчанный, обещающий Воскресение, в которое так трудно поверить. Агнец Исаак, жертвенность, доведенная до конца, без ангелов, без венца. Выпитая землей, засосанная землей черная кровь, которая уже не выступит вновь. Как там поется в этой колыбельной (Бог знает, где ему довелось ее слышать): «А на месте ее казни дивный вырос апельсин...»

Теперь уже и колыбельные. Куда его занесло? Быть может, нехитрая песенка, всплывшая из неведомых глубин памяти,— это знак? Душещипательная история о какой-то безвестной святой, обезглавленной жестоким отцом, порождение наивных народных верований — причем она тут? «Дивный вырос апельсин...» На крови скромной святой, которой, возможно, и не было, должно вырасти дерево, чтобы ребенок успокоился. Но жизнь далека от спокойствия, и это дерево с чудесными плодами — не от мира сего. Только и растут что ядовитые растения, семенами для которых служат трупы повешенных, как эта мандрагора с таинственными свойствами. Только дьявол вмешивается таким образом в дела мира сего. Господь далеко, далеко, и плоды Древа Жизни недостижимы... Так же медленно, как тонет в морской пучине какой-нибудь предмет, спящий погружается во все более глубокие пласты печали и сомнения. Только зло с его простотой способно вернуть ему веру детства, о которой у него сохранялись ностальгические воспоминания. Вот и конец рассуждения, вот причина холодной ярости, которая принуждает его, такого уравновешенного, такого осмотрительного — возможно, обладателя самого свободного ума в то время — изучать гороскопы, с бьющимся сердцем, как у человека, услышавшего о любимом им существе, внимать рассказам кумушек, где фигурирует

Сатаиа. Сатаиа, аигел падший и потому единственный, кто появляется зримо. Имя любимого существа... И правда, не было бы большой иатяжкой сказать, что ои любит Сатаиу, как полюбят его еще более иеистовой любовью еще столько судей и палачей. Только любовь может привести к такому варварству. Только любовь проливает столько крови. Жан Боден, оратор, юрист, писатель,— всего лишь одна из тех страстно увлечеиних натур, которые хотят, которые умоляют Сатаиу, чтобы он существовал, которые отдадут ему иа заклаиие миогих и миогих. Жаи Бодеи будет только писать — с виезапною страстью, которая распаляет холодиых, сухих, рассудительных; другие же будут убивать, пытать, иикогда не уставая, иикогда ие пресыщаясь увереииостью, ужасающе искреиние и, пока будут сжигать, сжигаемые страстью.

Богэ, откровеиный болван, которому отказано в небесиой благодати и который может слегка разогреть свою лимфу лишь адскими кострищами; утонченный де Ланкр, любитель рокайлей * и музыки, который разорит весь Лабур **, ио так и ие утолит свою жажду крови — по сути жажду Бога, ищущую и ие иаходящую, чем насытиться; холодиый Николя Реми де Шарм в Лотариигии, похвалявшийся, тем, что за пятиадцать лет сжег более девятисот жертв, с пеиой у рта требовал смерти младеицам, которых пытались вырвать из его рук деревенские судьи, произвел опустошеиий поболее чумы и почил в мире и уважеиии в родной деревне, переваривая учинеиную им бойию, прииимая отягчеииость совести за душевиый покой. И миожество других ярых, старательиых и благоиравных, в тиши своих библиотек затачивающих обоюдоострое оружие, готовое поразить

* Рокайль — здесь: сооруженне нз раковнн н необработанных камней, обычно садовое.— *Прим. перев.*

** Лабур — нсторическая провнnцня Страны басков, прнсоедnненная к Францин в XV в.— *Прим. перев.*

других и их самих, навеки спаянных тем, что причастились злу... Эти тоже в своих беспокойных снах, в населенных призраками ночах будут повторять подобно мающемуся бессонницей Жану Бодену: «Они сознаются! Они сознаются!» И подобно любовнику, в бессильной ярости твердящему: «Она любит меня» — и засыпающему с этой жаждой, которой никогда не утолить человеческому существу, будут засыпать и они на протяжении долгих лет во власти страха и надежды; так в конце концов в замке д'Оффэ этой ночью заснет и Жан Боден, тревожимый неясными призраками, что давно уже с ним не случалось (с отроческих лет, когда по ночам он размышлял о Реформации или изучал Каббалу), и все из-за этой женщины: Жанны Арвилье.

«Она сознается, сознается!» Этого только и добивался от нее палач. Бедный, за долгие годы бездействия он потерял сноровку, а ведь и в молодости он не отличался особым мастерством. В деревне над ним подшучивали, вспоминали, как много лет назад, вздергивая на дыбу гугенота, он оторвал ему руку и когда у того началась агония, в растерянности нагнулся к трепещущему телу и закричал: «Ну-ка, вставайте! Нечего прохлаждаться!» С тех пор ему почти не представлялось возможности оттачивать свои способности. Палачи, известное дело, народ добрый, тут он ничем от других палачей не отличался, однако чувство собственной неполноценности делало его угрюмым. Его даже особо не сторонились, как обычно случается с палачами, которые из-за этого приобретают почти трагическую значительность. Но у него действительно было мало случаев отличиться — время от времени ему приходилось вешать бедняка браконьера, но это не в счет. Не получая должных знаков уважения, он невзлюбил свое ремесло. Разумеется, он мог воспользоваться случаем с колдуньей, чтобы выдвинуться

на передний план. Однако, не питая относительно себя иллюзий, он лишь показал женщине сверкающие, до блеска вычищенные орудия пытки, всем своим видом говоря: «Желаете испытать?»

Конечно, если она заупрямится... Он здесь на этот случай. Его отвращение не переходило в жалость, хотя он немного ее знал. Нет, ему было все равно. На костре она умрет или от пыток — велика важность! Впрочем, он был почти уверен, что она умрет от его рук, ведь он давно уже не умел дозировать страдание, как его в свое время учили, да и не видел в этом прока. Признания, допросы — все это происходило в ином мире и никак его не касалось. Его дело убивать, он и убивал. Большего с него требовать не резон. «Привет, Жанна»,— сказал он все же, когда ее привели. Она всегда разговаривала с ним учтивым тоном, почему он должен поступать иначе? Впрочем, у него всегда было чувство, что она рано или поздно попадет в его руки. Женщина пришла неизвестно откуда да еще с такой красивой девочкой — в результате в деревне возникают осложнения и приходится обращаться к палачу, чтобы с ними покончить. Возможно, и она это знала, как преследуемая дичь знает, что ее в конце концов разорвут собаки, но бежит, потому что так ей написано на роду? Может, поэтому она с ним здоровалась? Как здоровались с ним парни, уходившие в леса, часто красавцы, самые сильные, самые смешливые — ни дать ни взять зайцы с лосящейся кожей, сверкающим взглядом, а потом в охотничьей сумке или на виселице куда все девается: мешанина из перьев и шерсти, выцветшей, выброшенной и убогое, дряблое, раскачивающееся на веревке тело. При мысли об этом палач испытывал грусть, некое чувство — не жалости, не сожаления, скорее поэтическое, как у охотника, когда он берет еще теплого зайца за уши и некоторое время его разглядывает, удивляясь, что так легко угасло сверкающее пламя жизни... Но разглядывает недолго, после

чего бросает тушку в охотничью сумку и снова принимается за охоту. И он, палач, наблюдая за смертью браконьеров, с некой изящной грустью пожимал плечами и затягивал петлю для ближиего, просовывающего туда голову. Так, хотя приговор еще не вынесен, поленья для Жаины он уже припас загодя, ведь иа это нужно время, а не успей он потом, опять его нарекут неумехой. «Привет, Жанна». То же самое он скажет и в день ее казни. Не тая злобы, не чувствуя отвращения. Все эти россказни про колдовство, как и про браконьеров, его ие касаются. Ему эта женщина ничего не сделала.

— Значит, ты меия будешь пытать,— сказала она.

— Без этого иельзя,— сказал он с некоторой досадой (с этими женщииами держи ухо востро, и потом он опасался, что с Жаниой не оберешься неприятностей. Был у него помощник, сын ризничего, он был очень силеи, ио и простоват, потому его и выбрали, но все-таки ои ребенок и как бы не растерялся).

— А если я во всем созиаюсь?

— Так будет лучше. Намиого лучше. А то для меия разиицы иет — жеищииа, не жеищииа. Во мне все заскорузло... Если ты сознаешься, я проверну дело как иадо, устрою большое пламя, сам встану сзади с кожаным шнуром и как только задымит, задушу тебя, никто и ие заметит, так что отделаешься быстро.

— И все будут довольны,— злобио выдохнула она.

— А почему бы и иет?

Действительио, почему. Вот и стражник сердится, ои хотел бы пойти поесть, в замке кормят уже не так сытио, а между тем ему слышно, как вверху, на кухне хлопочут...

— Ну вы идете?

Стражник говорил «вы». В его сознании они были как бы соединены. Колдунья, палач — одна компания. Лучше поменьше с иими обоими иметь дело. Сам он из Сен-Квеитеиа, крестьян этих ие знал. Пусть уж оии сами между собой разбираются.

— Вообще-то я хотел перекусить.

— И перекусите,— подхватил палач. Ему тоже хотелось нзбавиться от стражннка, ведь тот, должио быть, насмотрелся иа пытки в другнх городах. Если стражиик примется высматривать да иаводить критику, ои растеряется — палач себя знал хорошо — н переборщит, н Жанна того... Опять иад ннм будут смеяться. Не любнл он этого.

— Ладио. Если вы ие против. И потом, если начистоту, эти штуки мне всегда портят аппетит. Глупо, правда? Если оиа сознается, иадо будет предупредить там иаверху и прекратить пыткн. Только без шуток, ладно? Если оиа окочурнтся, ие созиавшись, а там узиают, что я оставил вас вдвоем, у меия будут неприятиости.

— Вы думаете, мие это по сердцу,— рассердился палач.

— А если ие по сердцу, зачем ты этнм занимаешься?— вступнла в разговор Жанна.

Ох уж этн жеищины! Всегда все усложияют, вступают в пререкаиия.

— Зиачит, я вас оставлю,— сказал стражник, которого их препирательство не интересовало.— Вы уж тут сами разбирайтесь. У тебя часа четыре, судьн только садятся за стол.

Ои поднялся по иебольшой лестиице и был таков. Палач и Жаииа остались вдвоем, в полумраке подвала, а между тем иаверху было так хорошо, там ели, угощалн других, спали...

— А ты чего не идешь есть?— спросила Жаина. Даже связанная она стояла прямо, и внд у иее был безучастный. Одиако наметаииым глазом профессионала палач заметил, что иоги у иее дрожат, как у лошади перед тем, как ее подкуют.

— Мие сюда приносят.

— Да, место тут не шибко веселое.

— Ремесло у меня тоже не из веселых,— сказал он без тени иронии.— В духоте и двигаюсь мало. Говорят, палач должен быть крепким. Теперь все больше всяких приспособлений. Тут немного повернуть винт, там рукоять. Знай я прежде...

— Что бы тогда?

— Я бы сделался солдатом. Солдат всегда в движении. Много ходит, всегда на свежем воздухе, много...

— Много убивает.

— Да, убивает, но тех, кто может защититься. Кругом опасности, и жизнь интересна.

— Да, солдат палачу не чета.

Он с подозрением взглянул на нее.

— Тебе что, не нравится мое ремесло?— спросил палач, и в его голосе послышалась угроза.

— Нет, почему? Я так. Просто, когда не защищаются, не интересно.

— Не в этом дело,— ворчит он.— Да и надо же кому-то и эту работу делать.

— Надо. Но почему именно тебе? Из тебя получился бы бравый солдат.

Славная женщина, подумал он. С ней можно поговорить. Пока не спустились судьи, время есть. Его раздражал сынишка ризничего, от нетерпения не находивший места. А что он себе представлял, этот сосунок? Что мы запляшем фарандолу?

— Ты поспокойнее не можешь? Жанна, тебе лучше поскорее сознаться. Раз твоя участь решена...

— А почему это она решена?— резко спросила Жанна.

— Ведьма! Ведьма!— прошипел вдруг в углу сын ризничего.

— Заткнись ты, рыжий! Этот малый глуп как пень. Да потому решено, что меня позвали, что все готово...

— Я видел дрова под навесом,— ухмыльнулся парень.

— Заткнись. Наградили меня помощничком! Говорю

же тебе, все решено, я в таких делах разбираюсь. Колдунья есть колдунья, что же ты хочешь.

— А я колдунья?

— Наверно, раз ты здесь.

— Ты тоже здесь.

— Так я палач. И если ты думаешь, что я сам напросился...

— А я...— она уже не сдерживалась.— Ты думаешь, я просила себе такую участь? Как будто у меня была возможность выкарабкаться! Я уже стара, чтобы удариться в бега, чуть что пускаться наутек, начинать все сызнова. Мне ни от кого ничего не было нужно, но тут, как на грех, эти Прюдомы...

— Послушай, я тут ни при чем,— ему было неловко.— Меня это не касается. Я только знаю, что из их лап уже не вырваться...

— Ты тоже у них в лапах,— убежденно сказала Жанна, но сказала вполголоса, так как боялась, что им помешают.— Или ты осмелишься утверждать, что волен был в своем выборе, ты, палач, сын палача! И если бы ты был женат, разве не заставили бы и твоего сына стать палачом?

— Я и не спорю,— согласился он.— Пусть так, ну и что?

Все они так говорят. Ну и что? В ней поднимался гнев, священный гнев, погубивший Тьевенну, Франсуа, гнев, которому она пожертвовала свою собственную дочь, так как Мариетту, она знала, тоже заподозрят в колдовстве, возможно, приговорят к смерти. Жанна думала, что по-своему она любила Мариетту, но ей надо было излить свою желчь, доказать им... И тогда перед секретарем суда, и перед судьей, и даже сейчас, в последнюю минуту, перед палачом она чувствовала, что не хозяйка сама себе, что в ней поднимается дивный и бесполезный гнев, порожденный злом. Языки пламени. «Ну и что? Ну и что?»— твердили жалкие людишки

в Компьене, нищие и шуты, копошащиеся в своей нищете, как на перине, закостеневшие в своей грязи и мерзости и довольные собой... «Ну и что?» — говорили Франсуа и Тьевенна, бросив милостыню деревенскому дурачку и отпраздновав пасху. Остальное их не касалось и не могло их задеть. Они думали, что находятся в безопасности, в стороне, как и палач со своими орудиями пытки, способный вырвать «да» у любого, умалить до себя; но никто не бывает в безопасности, никто не бывает в стороне, и она докажет это, пусть в последний раз, но докажет...

Сознаться, не сознаться, какая разница? О, она в состоянии еще всех напугать, выкурить их из удобной скорлупы, оголить последний раз перед тем, как умереть. Любого из них, стоит ей захотеть, она это знала, чувствовала.

— Ну и что? Ладно, делай свое дело, пытай, убивай, ведь ты меня убьешь, всем известно, какой ты неловкий, но не уверяй меня, что тебе это в радость, что тебе, сильному, красивому мужчине, не стыдно пытать женщину, которая годится тебе в матери.

— Ничего мне не стыдно,— пробурчал он и двинулся к ней. Парнишка в углу засмеялся.

— А почему ты не женился, если тебе не стыдно?— закричала она, когда он уже протянул руку, чтобы ее схватить.— Скажи, почему ты не женился. И хотел бы ты, чтобы у тебя был такой вот сын?

И она кивнула на парнишку, который в предвкушении пытки раздувал огонь. Палач опустил руку.

— У меня есть сын,— произнес он.— В городе. Красивый мальчик. Я посылаю ему все свои деньги. У него будет свой магазин или ферма. Я его устрою в городе. Он уже умеет читать и писать. Он все получит, что захочет, ему и просить будет не надо.

Неожиданно выдав свою тайну, которую скрывал ото всех, палач недоумевал теперь, как вырвались у него эти слова. Жанна улыбалась.

— Все получит, иу-иу. А когда его спросят, твоего торговца, этого умиого юиошу, кто его отец, ты думаешь, ои так и ответит: палач из Рибемоиа? У этого парния будет все, кроме отца. И так для иего даже лучше. Ты ведь сам это знаешь, раз ты ие жеиился на его матерн? Раз тебе ие позволилн на ней жениться?

— Кто мне ие позволил? Что ты брешешь? Ведьма! Ведьма!

Жаина не опускала глаз, а он возвышался иад ней огромиой теиью и размахивал молотком, который ои подиял с пола. Вдруг Жаниа закричала не своим голосом:

— Сжальтесь! Не убивайте меия! Я во всем сознаюсь.

Палач oбериулся. На маленькой лестиице стоял судья из Лаона.

— Что здесь пронсходит? Где стражник? Где судьи?

— Онн пошлн есть, мессир. То есть оии попросилн...

— И вы пытаете обвиняемую в отсутствне свидетелей? Разве вы не знаете, что это беззакoиио?

Жаина нздавала душераздирающие крики.

— Я не...

— Я сам вндел, как вы угрожали ей этим предметом.

— Оиа ведьма! Оиа видит все иасквозь. Она мие сказала...

— Вас что, замеинть? — холодно осведомился судья.

— Мессир... Монсеньор... но я... оиа меия вывела из себя... она...

— Творить суд — ие ваше дело. Вам незачем ее слушать. Вы всего лишь орудие, поняли? Когда вам скажут действовать, будете действовать. Я пришлю сюда когоннбудь. А пока ие подходнте к ией. Есть злоупотребления, которые я не намереи допускать.

— Но, мессир, я ей ничего не сделал!

Судья в нерешительиости остаиовился у лестницы, бросил на связанную Жанну быстрый взгляд и отвернулся.

— Это не мое дело. Я сказал, что пришлю кого-нн-

будь. Ничего ие делайте без приказа. Ваше заиятие подобным... ремеслом имеет оправдаиие, лишь если вы ие испытываете при этом неиависти и действуете по приказу. Вы не должиы сводить счеты. Если вы обвиияете в чем-то эту женщину, пусть секретарь суда занесет ваши показания в протокол. Итак, вы ее обвиняете?

— Я... Я ие зиаю... иет,— забормотал палач.

— Ах так? Вам следует вести себя достойно. Достаточно одиого моего слова — и сюда пришлют палача из Сеи-Квеитеиа.

Ьоден поднялся на иесколько ступенек и снова остаиовился.

— Без колебаний скажите правду, если этот человек пытал вас без допроса,— сказал ои Жаиие. И ушел.

Палач в ярости швырнул молоток на пол. Пробилатаки Жаина его толстую кожу; ои рычал, бегая взадвперед по комиате, как медведь по клетке. (Сравиение само приходило на ум: низкий потолок подвала буквальио давил на рослого палача.) Жаииа следила за иим. Веревки больио ранили ее тело, со вчерашиего дия ее почти ие кормили, ио созиание одержаииой победы согревало сердце.

Теперь он уже не говорил: «Ну и что?» Он с трудом сдерживал гиев, цедил сквозь зубы ругательства, иеиавидел и страдал: толстое благодушиое животиое, виезапно разбужеиное, превращалось в опасиого врага. Но разве ие иа себя саму оиа его иауськала? Крестьяиии, вовсе не злой, он приходил сюда, как приходил бы в поле, орудовал клещами и молотком, загоиял в тело клиивья, словно колья в изгородь, переносил крики и стоны, как иепогоду, но оиа сумела задеть его за живое, разбередить раиу, которую ои иосил в себе, как крестьяие иосят свои болезии, ие называя их по имеии, не отличая даже своего болезиеииого состояния от обычиого. И теперь ои испытывал слепую ярость человека простоватого, бьющего иогой иеодушевлеииый предмет, о который

он ушибся, или с изумлением и злостью видящего, что царапина, которую он считал не стоящим внимания пустяком, загноилась и заражение распространяется понемногу по всему телу, представляя, возможно, угрозу самой жизни. И он глядел налитыми кровью глазами на женщину, которая открыла ему столь тягостные вещи; быть может, стоит ее умертвить, и все станет по-прежнему. Глухим раздраженным голосом он твердил: «Ведьма! Ведьма!», так что даже парнишка в своем углу испуганно затих.

Для чего все это? Зачем, Жанна? Чтобы лишний раз убедиться в странной власти, которую чудесным образом придает ей ненависть, желание ранить, рушить, убедиться, что эту власть она сохраняет и на краю гибели и даже после Жанниной смерти след, зародыш этой власти не утратится? Она с давних пор знает, что ненависть столь же плодотворна, как любовь; и близость, которая устанавливается между жертвой и палачом, связывающее их сообщничество даст плод, который в один прекрасный день (до этого дня Жанна не доживет) созреет и расколется на тысячи ядовитых зерен. Неистовое отчаянное желание, источник которого ей неведом, руководит Жанной, определяет ее поступки, уносит в бешеном потоке (не надо думать, будто она никогда не боролась; даже и в эту минуту огромная, угрожающе нависающая над ней тень палача заставляет трепетать ее плоть; но и в эту минуту в глубине души она недоумевает, она не знает, почему и как это происходит, на эту выходку ее толкнул инстинкт). Не то чтобы у Жанны возникает сознательная мысль; лишь время от времени перед ней как бы появляется образ Мариетты, как появлялся он, когда Жанна давала волю лихорадочной радости, обманывая Тьевенну. Она отстраняла этот образ, как отстраняют густые ветки кустарника, как прокладывают себе дорогу сквозь высокую траву, заслоняющую горизонт, к которому направляешь свой путь. Не замеше-

на ли на любви эта потребность делать зло, встряхивать людей, вонзать раскаленное железо в трепещущую плоть, потворство всему двусмысленному в себе, любование грязью, гноем? Быть может, она любила свои жертвы? Но вот любит лн она Мариетту? Жанна баюкала в себе зло, как ребенка, предпочитая его своему настоящему ребенку, гордой и неиспорченной Мариетте, этой незнакомке, которую неудержимый порыв заставлял растн прямо, так что и Жанна не смогла ее согнуть. Любовь тоже хочет раннть, хочет обладать, лепить по своему образу, оплодотворять. И не были ли в какой-то степени ее сообщниками те, кого она всегда без труда побеждала? Разве не сталн ближе к ней, разве не стали ей братьями и сестрами эти люди, после того как появлялось еле заметное пятнышко греха, которому суждено погубнть их с головой? Может, вкус к греху в извращенном виде отражает потребность к общению, и у некоторых эта потребность иначе и не проявляется. И разве не нз-за неспособности наладнть это общение с Мариеттой, даже когда та была совсем маленькой, отдалилась дочь от Жанны? Ибо Мариетта знакома с гневом, но не знакома с ненавистью; может быть другом, но не сообщником; отведала одиночества, но не горечи. У Марнетты с матерью нет ничего общего. Недаром она крестьянская дочь, дочь правдолюба, у которого руки в крови, а голова полна мечтаниями о городе справедливостн. Нет сомнения, этот Жак, один из многочисленных Жаков, давно уже превратился в жалкий скелет, болтающийся на виселице, однако Мариетта, никогда его не знавшая, вылитая дочь своего отца — Мариетта, которая бесстрашно ходит в Рибемоне из дома в дом н доказывает, что ее мать невиновна,— со своим простым и гордым сердцем она сама верит в ее невиновность (невиновность в высшем смысле, которая допускает месть, возмездие; Мариетта не исключала возможность преступлення, которое мать могла совершить, чтобы отомстнть за дочь, спасти

ее. Но разве тут есть вина?). Как Жанна могла бы чувствовать родственную связь с Мариеттой, порождением мечты о городе справедливости? Даже под пытками, арестованная, приговоренная к смерти, Мариетта осталась бы сама собой. Непорочной. Чистой. Чужой. Нет, у Жанны есть одно-единственное дитя — зло. И в эту минуту, если бы Жанна могла разобраться в своих собственных чувствах, она поняла бы, что униженный человек, чей разум затуманен кровью, палач, который ждет не дождется, когда он начнет ее пытать, ближе ей, чем Мариетта, которая пылает гневом и не собирается убегать из Рибемона, и ведь до сих пор никто не отважился обвинить ее в колдовстве.

Распознает ли Жанна в конце концов в себе подспудную ненависть к белокожей девочке с прекрасными руками, которая так и не поняла, что служила матери орудием? К упрямому, сердитому, большеротому ангелу, с чьих уст слетали гневные слова, звучные, как хвала, прямые, подобно кинжальным ударам, которые убивают, но не отравляют в отличие от яда? Жанне надо было дожить до костра, чтобы понять, что она не любит Мариетту, ведь не ее прекрасный профиль, профиль ангела или телочки, будет высматривать она перед смертью в толпе, а маленькое, поблекшее, взволнованное лицо Тьевенны, чьего мужа она убила, чью душу отравила и чей дом разорила; Тьевенна будет стоять там со слезами напрасной жалости на глазах, испытывая сомнения, нерешительность, угрызения совести, да, Тьевенна обвинила ее, но теперь она уже ни в чем не уверена, до последнего дня горести и невзгоды будут преследовать, мучить Тьевенну, эту родственную душу, не давать ей покоя...

И добродушный палач, вдруг со страхом сознающий, что ему нравится мучить другого; и секретаришка, который, обнаружив, что он убийца, уже этого не забудет; и сам судья, что не осмеливался сойти в под-

вал, погрузнться в темень, где на дие таилась ее злоба, ее жалость. Родственные душн, родственные души... Она взойдет на костер ие одна. Но никогда, ни прн какнх обстоятельствах оиа ие взойдет на него с Мариеттой, как до нее миогие колдуиьи, соединеииые с дочерьмн грязной н глубокой связью. Прощай, Мариетта, тебя прнеслн в жертву, а ты ие зиаешь н не страдаешь от этого, до последнего момента ты будешь убиваться, что ты ие рядом с матерью и не можешь ее поддержать. Подобный род страдания Жанна не может себе даже представнть.

Раио или поздно Марнетта прнмет участне в человеческнх распрях. Праведиая лн это борьба, неправедиая, ведут ее нз убеждеиия илн нз местн — нскусством распознавать такне вещн Марнетта не наделена. Не следует требовать от иее таких тоикостей; она столкнулась с иесправедливостью н увидела, что у иесправедлнвости человеческое лнцо н бороться она будет с людьми н против людей. Преемственность же в нх семье будет навсегда прервана. О матерн Мариетта будет говорнть так: «Моя мать убнла, чтобы спастн мою честь»,— и это не трюизм, ведь Марнетта будет вернть н в честь, н в справедлнвость. Она так н покииет этот мир, обладая совершенством жнвотиого, которое иемногим уступает совершенству ангелов. Кровиые узы ночью будут разорваны. Жанна предчувствует это. И она перестает думать о Марнетте, как будто ее нет Жанна н сознается словио иаперекор дочери.

— Вот она благодариость за мою доброту,— заговорил палач.— Я только беседовал с тобой, близко даже ие подходнл, н вот теперь нз-за тебя я на дурном счету. Погодн же! Я человек ие злой, но клянусь, ты у меия крнком будешь крнчать!

Особенно он сердится на Жанну за уднвлеиие, которое прочел в глазах ребенка, за его внезапное молчание, за страх, сменившнй воодушевление на его маленьком

бледном лице. Для этого дурачка он был палачом, существом влиятельным, облеченным властью. А по вине этой колдуньи судья разговаривал с ним как со слугой! Почел его простым орудием! Перед ребенком! О, конечно, этот парнишка не бог весть что. Дурачок, которого родители доверили палачу за неимением лучшего, отчаявшись пристроить его куда-нибудь еще, тем более что детей у палача нет,— так они думали,— и он передаст их чаду свою должность, оставит свой дом, а может, и кое-какие деньжата. Жестоким маленьким идиотом, лживым и трусливым, палач помыкал без зазрения совести, в глубине души презирая его и без конца сравнивая с красивым смышленым малышом, который рос вдали от отца, в Сен-Квентене. Однако, как бы то ни было, дурачок был единственным существом на свете, который им, палачом, восхищался, а это что-нибудь да значило. Он бегал за палачом почти как собачонка; когда же человека кусает его собственная собака, у него такое чувство, что ничего у него больше нет. Возмущение в глазах мальчика, изумление задевали палача за живое, будили память о давнем унижении.

— Но я ничего не сказала! — возразила Жанна.

— Ты глядела на него и стонала, ты его околдовала.

— Очень режут веревки. И потом, ты кричал, я испугалась.

— Пугаться или не пугаться — твое дело,— проворчал он.— Только напрасно ои грозит позвать стражника или судью. Сама увидишь, тебе от этого легче не станет.

Палач кипел ненавистью к Жанне. И вообще сегодня он не узнавал себя, ведь он всегда выполнял свою работу без удовольствия и без отвращения, пытаясь (только сейчас он осознал, что постоянно прилагает к этому усилия) рассматривать его как обычное занятие, только менее утомительное и лучше оплачиваемое. В первый раз ему хотелось делать больно, и это его удивляло,

будоражило неразвитую оцепенелую совесть. Его всегда поражало, что люди, по-внднмому, считали, будто его ремесло должно волновать, доставлять удовольствне, вызывать отвращенне, иметь определенную привлекательность. Он же вндел в своем ремесле вещь малопрнятиую, но в конце коицов будь он сыиом мясника... Велика ли разннца? Одиако сегодня его собственное смятеиие говорнло, что разннца есть. «Так вот что значит ведьма!» — думал он.

Внезапно он опустнлся возле Жаниы на корточки.

— Как ты узнала, что у меня есть ребенок?

— Ты сам сказал.

— А как ты заставила меня сказать? Я ведь никогда никому этого не говорил.

Жанна и сама не зиала. Как она почуяла, где больное место у секретаря суда? Как догадалась, что Франсуа Прюдом положит глаз на Мариетту? Она чуяла тайну, страданне, угрызення совести, которые каждый человек таит в себе, как собака всеми своимн порами под землей или в грязи чует кость; и если спросить Жанну, почему она задавала вопросы, почему чувствовала в себе потребность бередить чужие раны, она затруднилась бы ответнть, будучи не в состоянии разобрать, где в ее пристрастии умалять других до себя, проявлять власть, ненависть, где любовь, где желаиие нзбавиться от одиночества. Могла ли она даже в эту минуту знать, что ею движет: страх перед палачом и его ненавнстью, которую она сама же в ием пробудила, удовольствие от того, что он тут, рядом с ней, шепчет вещи, в которых иикогда до сих пор не прнзиавался, вызов, бунт против тех сил, нз-за которых онн оба, он н она, очутились здесь.

— Не хочешь отвечать! Ничего, заговоришь! Больше, чем иадо, расскажешь!

Разумеется, она заговорит. Как и все в конечном нтоге заговаривают, сознаются. Палач, секретарь суда, Тьевенна, Франсуа н многие-миогие другие, которые при-

ходили с благими пожелаииями, просили дать лекарство, вылечить больного, устроить бездетной ребенка, но в кои-це концов гиойиик прорывался и с их уст срывались слова, доказывающие их зависть, ненависть, корыстолюбие. После победы Жаниа всегда испытывала горестное облегчение. Иной радости она не знала, но эта была ей хорошо знакома. За свою жизнь Жанна насладилась ею вдоволь, ведь она умела ее вызывать, знала ей цену (и разве ее смерть — ие цена, которую Жание придется уплатить за то, что ей удалось породниться с чужими людьми?). И если из всех людей, которых она знала сколько-нибудь продолжительное время, только Мариетта ни разу не всколыхнула в ней подобных чувств, то это только потому, что Мариетте ие в чем было созиаваться. Она до ужаса пуста. Быть может, чудодейственио пуста. Итак, про Мариетту нужно забыть.

— Понимаю, ты стараешься для своего ребенка. Чтобы ему было потом на что жить.

Он тотчас клюет на наживку. И облегченно вздыхает.

— Это правда. Сбережения, дом, все мое собствеииое, дом он сможет продать, сдать внаем.

Все они одинаковые. Оии хотят убивать, властвовать, быть любимыми и при этом напрашиваются на похвалу. Хотят, чтобы их поступки объясняли благородными причинами, снимали с них вину. В этом Жанна тоже была мастерица. Боль от одной маленькой колючки отзывается по всему телу, надо только уметь ее всадить. Ничего больше не требуется. Благородные побудительиые причины, благие желаиия только ускоряют гниение души. Однако должно пройти время, времени же у нее ие остается.

— Зря ты на меня сердишься. Я всегда всем говорила: будьте увереиы, у него есть на то свои причины. А они говорили, что твое ремесло тебе в радость, что ты жестокий.

— Кто это говорил? — воскликиул палач.

Он высился над нею огромной скалой. Но у Жанны не было времени испытывать страх, она вся была устремлена к своей цели, к неожиданному обретению сообщника, соединению родственных душ.

— Да так, все понемногу. Вот, к примеру, Франсуа, это Тьевенна втемяшила ему в голову, что ты жестокий.

— О, я сожгу эту мразь!

— И мэтр Роже, и Дениза де Мару, и еще...

— Неужели правда? — прошептал он подавленно.

Все эти люди вежливо с ним здоровались, при случае оказывали ему услуги, временами, когда не хватало мужчин, он помогал им косить или собирать виноград. Действительно, даже и тогда он ел в стороне и почти с ними не разговаривал, но потому что сам так хотел (по крайней мере он так думал). Просто подобный образ жизни, неразрывный с положением палача, позволял ему сохранять достоинство и даже предохранял от возможных вспышек чувствительности в случае, если его позовут вешать кого-нибудь из знакомых. Он всегда смотрел на вещи под этим углом зрения и не нарушал заведенного порядка, подобно старому солдату, который каждый день до блеска чистит свое оружие, не задаваясь вопросом, понадобится ли оно ему сегодня. И вдруг порядок, который, как считал палач, заведен им самим, приобретал иной смысл; неужели этот порядок — не результат его выбора, а навязан ему презрением окружающих? Сжившись с одиночеством, он никогда не был особенно общительным. Каждый месяц он ходил навестить сына, передать той, кого называл женой, свои сбережения и возвращался домой со спокойной душой, полагая, что добровольно исключает себя из их жизни, за которой следил издалека. Но была ли у него уверенность, что, попроси он, Десль согласилась бы на виду у всех жить с палачом? Она была высокой брюнеткой, как и он, неразговорчивой и работала в ювелирном магазине — скорее подруга хозяйки, чем служанка,— и малыш чувствовал себя

там как дома. Внезапный порыв чувственности бросил друг к другу эти два молчаливых существа. Никогда не говорили они друг другу слов любви, но атмосфера откровенности и доверия соединяла их, сына палача и девочку-найденыша, у которой не было нн отца, нн матери. Он почти сразу устроил ее в Сент-Квентене. О женнтьбе вопрос никогда не вставал.

— Бедняжка, люди такие черствые. Но в конце концов у тебя есть жена. Ты не один.

Была ли у него жена? Ему показалось само собой разумеющимся не жениться на Десль. Как и последовать по стезе отца. Как и передавать для ребенка почти тайком свое жалованье. Никогда он не спрашивал себя, почему Десль не требовала, чтобы он на ней женился, хотя девушки в таких случаях обычно стремятся выйти замуж. Была лн у него жена? Все смешалось у него в голове.

— Десль...

— Ее зовут Десль? Ты не стал на ней женнться, но в каком-то смысле она твоя жена. Она ведь знает, доверяет тебе...

Доверяла ли она? Десль так мало говорнла. Стройная, всегда в белом передннке, изысканный вид, который придавали ей сдержанные манеры, длинная хрупкая шея, кротость и печаль то ли гувернантки, то лн монахини — вот и все, что он о ней знал. И время от времени час страстн, внезапная жгучая ночь, за которую ни один из ннх так и не промолвил нн слова. Была ли она ему женой?

— Да, она должна знать, должна понимать... Тебе такие вещи знакомы. Так ты уверена в этом?

Он вдруг стал мягким, как ребенок. Покорным. Все они одинаковы. Но, наверно, в последний раз смакует она шепоток сообщника, внезапное беспомощное состоянне униженного человека, который в безвыходном положении вверяет себя рукам, умеющнм врачевать рану, но и убивать.

— Когда она попросила тебя жениться на ней...

— Ты прекрасно знаешь, что она не попросила.

Голос глухой, безжизиенный. Да, он в ее властн. Она действительио зиала, всегда все знала и уже давно не задумывалась над тем, почему так получается. Истниа — это то, что приносит страдание.

— Жанна, может, она не попросила нз-за ребенка? Из-за малыша? Десль мозговитая. Голова. Она, должно быть, подумала...

— Ах, бедный ты бедный, кто тут может поручиться? Думала оиа о себе нли о ребенке? Кто может сказать такие вещн?

Тои ласковый, жалостливый. Теперь уже не Жанна причиняла ему боль, он сам — словно конь, который не дается в удила н раннт себе пасть. Жаниа и вправду чувствовала что-то вроде жалости к иему, к себе самой. Им обонм ие вырваться; только он еще не расстался с надеждой.

— Ты, ты можешь сказать! Ты ведь колдунья! Скажн! Скажи, что Десль моя жена! Что она меня любнт!

Слова упали в тишину. Он прислушивается к словам, как тогда, когда выдал свою тайну. Но в этот раз тайна была скрыта от него самого. Любовь. Это слово никогда даже не приходило ему на ум. Потому ли, что он просто не задумывался и все шло само собой? Но вот слово упало в тишину, как камеиь в колодец, он слушал, как оио падает, и у него кружилась голова. Жаниа слушала тоже. Любовь. Она зиала, что это такое. Знала, что произиосить это слово можно, лншь страдая. Она знала, что любовь существует, раз столько мужчин и жеищнн молили ее помочь в их любовных делах. Но ей было известно — так она думала,— что любовь — всего лншь безрассудная болезненная жажда, которую ничто не утоляет.

— Я не знаю,— произнесла она, словно осторожно, бережно вводила скальпель.

— Нет, ты знаешь. Ты должна знать.

Жанна скоро умрет, но он никогда не получит ответа на свой вопрос.

— Я тебя буду пытать, тебе будет больно. Но пытать можно по-разному. Так что признавайся, говори...

— Ни за что не скажу,— неожиданный приступ злорадства захлестнул ее.— Ты ничего не узнаешь, никогда. Если ты меня станешь сильно мучить, я скажу да, скажу нет, ты никогда не будешь уверен. Никогда, никогда, никогда.

Сердце отзывалось болью и радостью. Билось что было мочи. Она знала, что ответ всегда отрицательный, что любви по-настоящему нет, полюбить нельзя, и ни для нее, ни для других нет спасения. Она знала.

— Десль сама мне скажет,— с отчаянием в голосе сказал палач. На лбу у него выступили капельки пота.

— Разумеется, она тебе скажет.

Ради денег, подумала Жанна. И быть может, ради этих нескольких часов, ради редких ночей.

— А почему я должен верить тебе, а не ей?

Вот именно. Вопрос ребром. Почему он должен верить чужому человеку, колдунье, преступнице, цыганке, которая отравила Франсуа Прюдома, накликала порчу на дочь сеньора, почему он должен верить и верит ей, а не возлюбленной с таким нежным именем, нежным взглядом, нежными изящными руками, матери своего сына, в конце концов, не верить, Десль, которая отдалась ему однажды без сопротивления, молча, и он сразу поверил, что это навсегда? Он верил ей десять лет, и вот достаточно было нескольких минут, чтобы он усомнился. *«А почему я должен верить тебе, а не ей?»*

— Потому что я ведьма! — сопротивление палача привело Жанну в ярость.

— Это неправда,— он уперся, словно ребенок, который не хочет сознаваться. Выражение лица у нее было, как у солдата, который знает, что пропал, но решил

бороться до коица. Как у еретика, подиимающегося иа костер: ои может ставить под сомиеиие свою веру, ио не честь. Ои умирает из-за сущей безделицы, ио упорствует, говоря себе, что правда на его стороие. Так и палач боролся за Десль, которая, иаверио, и ие любила его, ио ои вдруг поиял, что любит сам и что ои должен за иее бороться — эта мысль придала ему сил.

— Развяжи мие руки,— сказала Жаииа.— Я тебе покажу это при помощи чар.

— Нет.

— Ты мие ие веришь?

— Нет.

Палач лгал, и Жаииа зиала, что он лгал. Ои пытался избежать ловушки, хуже того, поверить, что ловушки нет. Ои портил Жаиие все удовольствие, лишал ее власти, говорил «ты ие колдуиья» и, говоря так, отрицал чудовищиую иесправедливость, жертвой которой были оиа и ее мать. Ведь иесправедливость ие в том, что их осудили иевииовиых, а в том, что заставили быть вииовиыми (одиако Мариетта вииовиой ие была, и иикто ие мог бы ее заставить. Но Мариетта...).

— Ты прекрасио зиаешь, что я колдуиья,— губы у нее дрожали, оиа старалась говорить спокойио.— Я угадала твои мысли, помиишь? Я угадала, что у тебя есть ребеиок...

— Я сам тебе сказал.

— Я заставила тебя.

— Нет.

Заладил одно и то же. Спорить палач не умел, был ие особеино умен и не мог толком рассуждать, ио он умел любить. Ему открылось это виезапио, как во время сражеиия вдруг чувствуешь себя смелым после первого обмеиа ударами. Когда речь заходила о Десль, иадо было твердить «нет». И тем хуже, если это иикого ие убеждало, даже его самого. Теперь палач зиал, что будет говорить «иет» до самого коица.

— Послушай. Я знаю все, потому что у меня с дьяволом договор. Когда мне было тринадцать, столько почти, сколько сейчас твоему сыну, я видела его, дьявола. Это высокий человек, весь в черном. Он ввел меня в церковь и поставил перед алтарем. Горела лампа. Когда я почувствовала его в себе — словно в меня проник холод,— в церкви раздались рыдания, и он сказал: «Слышишь, это плачут души».

— Все это неправда.

— Ты знаешь, что правда, ведь ты христианин. Ты знаешь, что дьявол существует. Это он наделяет силой. Маленький человечек с пером там, в суде,— я видела его на шабаше. Я знаю, что он убил жену, чтобы угодить дьяволу. И это дьявол прибрал к рукам мэтра Франсуа, внушил безумную страсть к Мариетте, мне достаточно было заговóра, чтобы он умер без причастия, как собака. И ты умрешь так, если я захочу.

Он не сомневался, что Жанна может его погубить. У него судорожно подергивались руки, в животе все сжималось, сердце бешено билось, и он, никогда прежде не болевший, чувствовал себя уже отравленным. Однако он умирал за Десль, он не умрет, как собака, в этом палач был уверен.

— Нет. Я не умру. Десль — моя жена. Она меня любит. Я знаю.

— Это тебе только что пришло в голову? — с глухим смешком сказала Жанна. Но ее слегка пробирала дрожь.

— Да,— ответил он. Он не знал, что именно ему пришло в голову, не знал, умрет ли он сейчас, не знал, любила ли его Десль. Но все это не имело никакого значения — такое он сделал для себя открытие Главное, что он любил Десль, любил сына. Всегда любил, только никогда свою любовь не осознавал, никогда не задумывался об этом. И вот она встала перед его глазами, нежная, ясная, его достояние, его сокровище, из-за которого стоило сказать неправду, стоило умереть.

— Ты лжешь, лжешь! Грязный палач! Никто тебя ие любнт! Тебя презирают, боятся, твой сын проклянет тебя!

Что ж, может быть. Может быть, Гнйом предпочтет думать, что он ему не отец, откажется нметь с ннм дело, возиеиавндит. Слова Жаииы были для него что иож острый. Однако он сам никогда ие проклянет Гнйома. Ннчего не зиачнло н страдаине. Страдаиие было даже принятио, он принимал его сразу, потому что не отделял от своей любвн. Он поднялся (осаждая Жаниу вопросамн, палач опустился перед ней на колено).

— Я тебе не верю,— твердо сказал ои.— Ты не колдунья, ие умеешь читать мысли, ие видела дьявола. Ты злая женщина, н ннчего больше.

— Итак, теперь вы мешаете обвнняемой сознаться,— раздался скрнпучнй голос секретаря суда. За ннм следом шли стражинк н два местных судьн.

— Колдунья говорнт вам, что вндела дьявола, а вы пытаетесь ее разубедить. Что ж, мы разберемся.

— Мне уже давио кажется, что он плохо нсполняет свои обязанности,— сказал пнсьмоводнтель.— Уже в деле еретнков...

— У меия через пыткн тогда прошло пятнадцать человек,— возразил палач.

— Да, ио вам удавалось умертвнть их в самом начале. Так ересь только поощряют!

— О, вы преувеличнваете, мэтр Юк,— прнмнрительио сказал каретник.— Раз еретнкн мертвы...

Однако у нотариуса, в котором говорнло оскорбленное мужское достоиიство, чесалнсь рукн. Он чувствовал, что только чужая кровь вновь придаст ему силы. Этот увалень сжег бы всю деревию, лишь бы вернуть себе авторнтет в глазах жеищииы, которую он не любнл.

— Как бы то ин было, вы записалн?— обратился ои к секретарю суда.— Ведь вы свидетель, что эта женщина без пытки призиала, что видела дьявола.

— Разумеется, мэтр Юк, разумеется.

— Она действительно так сказала,— согласился каретник.

— Вы подтверждаете добровольно сделанное вами признание?

Жанна колебалась. О, иллюзий она не питала. Как заметил помощник палача, дрова уже готовы. Однако она рассчитывала до самой смерти настаивать на своей невиновности, потому что знала, как сильно все хотели обратного, знала, что некоторые в деревне будут потрясены, ведь хотя, с их точки зрения, она виновата, но виноваты и они. Жанна хотела, чтобы они это почувствовали и мучились угрызениями совести, как это обычно случается после подобных расправ. Жанна не сомневалась, что ей под силу выдержать пытку и что она позволит себе лишь неопределенные признания, которые будут только тревожить чужие души. Но палач, который не поддался ей, утверждая, что счастье, любовь возможны... он бросал ей вызов... Любовь возможна! Какое безумие! Чуть ли не богохульство. Ярость душила Жанну, такой гнев она испытывала в жизни нечасто, как если бы тревога, которую Жанна сеяла в душе палача, вернулась к ней: это пресловутое явление «возврата», о котором она слышала, но в который никогда не верила, ведь всегда раньше она подавляла противника, но в этот раз... Впрочем, он лгал. Невозможно, чтобы он говорил правду. Будь у нее еще чуточку времени... Но времени больше не было. Она будет умирать, видя перед собой дерзкое выражение на лице человека, который заявлял, что она ошиблась, что все возможно, человека, который не подчинялся ей, отвергал Жанну, как отвергла ее, не отдавая себе в этом отчета, Мариетта.

И она закричала:

— Я сознаюсь во всем.

— Отведите ее в тюрьму,— со вздохом облегчения произнес мэтр Юк.— Теперь все пойдет быстрее. И запи-

шнте, секретарь, что она сделала свое прнзнанне перед нами, а ие перед месснром Боденом. И это очень хорошо, это доказывает, что мы ие нуждаемся в иадзоре со стороны. Что же касается вас, Жак Ноэль, то я этого дела так ие оставлю. Вы можете потерять свое место, друг мой! Я уже подготовнл донесение.

Сержант увел Жаниу.

Порядок, таким образом, восстановнлся. Мэтра Юка, однако, иесколько разочаровало спокойствне, с каким встретнл новость Бодеи. Бодена, казалось, нничуть ие задело, что Жаниа решила сознаться в его отсутствне.

— Полиостью созналась н без пытки! Я вас поздравляю, мэтр Юк!

Слова искрениие. Боден был слншком уверен в своем превосходстве, чтобы отказывать другим в возможиости удовлетворять свое самолюбие в делах мелких, которым ои не придавал большого значення. И еще он слншком ушел в свой предмет, размышляя о всех последствнях, чтобы замечать удовлетворенне на лнце мэтра Юка. Мэтр Юк, каретиик, палач, сама Жанна — всего лишь ннструменты, слога в слове, которое предстоит расшифровать. Смысл этого слова заннмал его созиание так, что он не обращал вннмання, как напнсаны буквы. Был ли в состояннн понять анжуйского политического деятеля толстяк сангвнннк, которого подтачивало изнутрн чувство собственной неполноценностн?

«Теперь важны подробностн»,— думал довольный Боден. Ночные пророчества былн начнсто забыты. Теперь он успокоится, насытнтся, ведь Жанна прнзналась. Все вставало на свон места, головокруженне, тревога позадн. Теперь уместна лншь серьезная прочная жалость. Заставить сбнвшуюся с праведиого путн Жанну ясио увндеть свою вину, вызвать, еслн возможно, раскаяние,

а затем из соображений гигиены, из заботы о здоровье общества, а также для примера казнить ее. Боден был удовлетворен, как после удачной концовки выступления. С некоторым стыдом Боден признавался себе: он рад, что все обошлось без пролития крови. Он попросит о смягчении приговора, об удушении перед сжиганием,— так пристойнее. При условии, конечно, если она расскажет обо всем с полной откровенностью. Тогда его путешествие будет небесполезным. А теперь он с аппетитом позавтракает.

С непомерным аппетитом. К пяти часам он уже чувствовал тяжесть во всем теле, болел желудок и ум был не такой живой. Мясо кабана было слишком острое, а то и несвежее? И потом эта подливка. Строгий образ жизни, который он требовал соблюдать у себя дома (Франсуаза всегда шла ему в этом навстречу), имел тот недостаток, что делал Бодена слишком чувствительным к очень уж тяжелой провинциальной кухне. Да, не повезло, тем не менее нужно действовать.

— Пусть введут эту женщину.

Она казалась теперь не такой самоуверенной. Взгляд блуждающий, сама дрожит. К секретарю суда возвратилось его отвратительное высокомерие. Ох уж эта человеческая натура! Боден решил не скупиться на добрые слова.

— Жанна, мне передали, что вы сознались, добровольно сознались. Я рад за вас, очень рад. Иногда достаточно минутного раскаяния, чтобы искупить греховную жизнь. Однако раскаяние должно быть полным. Хотите ли вы признать свою вину во всем ее объеме?

Она почти неслышно прошептала:

— Да.

— Хорошо. Вы можете рассчитывать на снисходительность и жалость судей, в пределах возможного, естественно.

Жанна вдруг с ожесточением бросила:

— Они купят мне небольшой дом *?

— Я уже говорил вам, Жанна, что не совсем одобряю прием мысленной оговорки, хотя иногда без него нельзя добиться правды.

— Немало людей солгут, лишь бы заполучить себе настоящий дом.

— Послушайте, Жанна, хватит уже оттяжек. Вы сознались перед свидетелями, и вы будете сожжены. Однако может так случиться, что вас предварительно удушат. Это единственное, что я могу с чистой совестью пообещать. Давайте не будем медлить. Мне дорога каждая минута.

Он тут же пожалел, что так сказал, ведь для Жанны каждая минута стоила еще больше.

На мгновение он в растерянности взглянул на женщину, обреченную на смерть. Потом опустил глаза.

— Вы сознаетесь, что имели сношения с дьяволом с самого юного возраста?

— Нет.

— Жанна, вы сами сказали, что в церкви...

— Я не говорила, что это был дьявол. Я сказала: высокий мужчина в черном. Наверно, солдат.

— Это случилось в церкви вашего прихода?

— Да, она стояла в стороне от деревни.

— Перед алтарем?

— Да.

— И вы сошлись с кощунственными намерениями?

— Да.

— Сколько вам было лет?

— Тринадцать.

Секретарь молча строчил. Да и сам Боден делал записи. С безмятежным видом, словно писец. Все шло как

---

* Намек на обычай судей делать мысленную оговорку. Говоря о небольшом доме, они подразумевали «солому, которую подожжет палач».— *Прим. автора.*

нельзя лучше. Неужели и эти двое окажутся сильнее ее? Ярость и паника овладели Жанной. Однажды вечером в церкви она (худая девочка в лохмотьях) и вправду обольстила человека в черном (он прискакал на лошади), отставшего, должно быть, от швейцарских войск, пересекавших их деревню за несколько недель до этого. Потребность плоти? Нездоровое детское любопытство? Желание проявить свою крошечную власть над взрослым человеком столь внушительного вида (он носил шпагу)? Злоба на церковь, где ее оттесняли на задний план, едва терпели? Она бы, однако, не удивилась, если бы подверглась за это какому-нибудь ужасному наказанию: ударила бы в нее молния или внезапно, словно призрак, возник бы перед ней карающий ангел со сверкающим мечом. Как знать, может, она на это и надеялась?

— И вы не устрашились подобного поступка?

Конечно, устрашилась. Страх и желание — она не умела отделять их друг от друга. Боязнь обнаружить, что Бог тоже «по ту сторону», и желание, чтобы появление ангела окружило сиянием и ее, отверженную девочку, которой надо было «быть осторожной», как без конца твердила ей бабка. Осторожной! Не с этого ли слова начался ее бунт?

— Человек в черном потом не возвращался?

— Нет.

— Это малоправдоподобно, однако... Изменилось в вас что-нибудь с этого дня?

— Я стала счастливее.

Подходило ли тут слово «счастливее»? Она понимала, что ни одна девочка ее возраста не отважилась бы на такое. Натолкнувшись на грубость, обиду, она часто говорила себе: «Если бы вы знали!», и ею овладевало чувство превосходства, согревающее подобно доброму вину. Жажда человеческой теплоты, которая мучила Жанну после смерти ее бабки, улетучилась как по волшебству; теперь Жанна питала к людям презрение. «Счастливее!»

Под этим оиа подразумевала слегка болезненное опьянеиие от мысли, что она, наконец, стала хозяйкой своего иесчастья, может оседлать его, как животиое (это, а ие какое-иибудь другое животное несет вас на шабаш), что оиа ие желает от иего отказываться с того самого момеита, как иачала делать зло другим. Разумеется, слово было иеточиое. Счастье — это то, чем владели другие, что оии выставляли иапоказ, огораживали подобио полю. Оиа считала ниже своего достоииства смотреть иа их счастье через изгородь, «из осторожиости», так как было решеио раз и иавсегда, что она по другую стороиу забора. Нет, оиа не знала и не хотела зиать, что такое счастье, ио стоило ей иа мгновеиие увидеть его ие глуповатым, пресным, безвкусиым, а пронзеииым, распятым, жгучим иа лице палача, Жанна словно потерялась, обезумела, оиа защищалась от тени, от догадки, сама ие зиала от чего.

— Счастливее? Как вы это объясиите?

Бодеи иаклоиился к Жаиие, и его худое лицо выразило высшую степень любопытства. Боден старался поиять. Счастливее... На ее примитивиом языке это могло озиачать, что она чувствовала себя более увереино, обретала в зле ту иадежиость, убеждеииость, которые редко прииосило с собой добро. Тоже своего рода благодать.

— Вы ведь поиимали, что совершили преступное действие? Не сомиевались в этом? Вы чувствовали, как внутрение изменились?

— Да,— ответила оиа иаугад, как если бы вдруг под действием чар лишилась своих способиостей, умения впадать в колдовской траис, безошибочно наносить удар, добраться до человека, мииуту иазад скрывавшегося за своими доспехами. Ее мысль металась по кругу, как зверь в клетке.

— Но через иекоторое время это впечатление рассеялось, и вы захотели восстановить его сиова? Вы почувствовали такую потребиость? Необходимость?

Она снова ответила: «Да». Воля ее была парализована и, словно ослепленный зверь в клетке, она тыкалась во все стороны в поисках выхода. Боден придвинулся к ней еще ближе, говорил он тихо, но возбужденно, как будто от этих вопросов и ответов зависела его собственная судьба. Боден зависел от нее, Жанна чувствовала это, была в этом уверена; если бы только она сообразила, в чем именно, как сподручнее нанести ему удар. Но пока она, словно заинтригованная, во власти страха, соглашалась с ними, давала себя провести, они же вытягивали из нее то, что могло их успокоить, укрепить их ханжеское чувство превосходства. Ей было страшно. Эти старые россказни о том, что колдунья лишается перед судьями своей власти,— неужели такое возможно? Ведь секретарь суда только что... Это палач, тупое животное, выбил Жанну из седла, вернул в положение «парни», знакомое ей с детства, к яростному отчаянному неприятию «осторожности» (почему осторожной должна быть я, а не другие?), к необходимости поиска родственных душ, которые она нашла позже, много позже и таким необычным способом.

— Тогда ты решила принять участие в шабаше? Ваша мать...

— Нет,— воскликнула она.— Никогда. Моя мать никогда... Она была... Она была...

«Она была невиновна» — вот крик, который рвался у нее из груди. По сути дела, так же невиновна, как Мариетта. Так мало похожие друг на друга (разве что глаза у обеих зеленые), эти женщины, никогда друг друга не знавшие, сходились в главном. В чем-то таком, чего Жанна не могла постичь, не могла разделить. Иногда она чувствовала перед дочерью такое же смятение, как и перед Мари. Именно ответом на это последнее чувство был бунт (этот человек в тихой церкви), смешной детский вызов.

— ...она была всегда одна,— закончила она жалким голосом.

Это вполне возможно. Можно представить себе колдуний, которые не любят общества своих коллег, так же как и общества обычных людей. Вообще Боден был расположен многому поверить. Допрос шел как по маслу, и Боден был полон снисходительности и доброжелательности.

— Итак, первый шабаш?..

— После того как родилась малышка...

После расставания с Жаком (она всегда потом испытывала боль и злость, когда вспоминала, что последние его слова были не о ней, не о ребенке, а о городе справедливости: в Жаке всегда угадывалось что-то неуловимое, туманное, чего Жанна никак не могла постичь, и иногда это ее сильно задевало!), после кошмарной жизни возле прудов, после того, как она натолкнулась *в себе самой* на некую преграду, убежденность в том, что Мариетта должна жить и никакой бунт не может этого упразднить. А потом большой город, но осела она в Компьене, где ее встретили без неприязни, потому что она хорошо знала этих покорных людишек, умела вдохнуть в них жизнь, придать им силы. Были и другие женщины, которые владели этой тайной. И они быстро нашли общий язык.

— Вы выходили по ночам в поле? Затевали пиры?

— Да.

— Особенно во время голода?

— Откуда вы знаете?

— Мне сообщили, написали,— самодовольно отозвался Боден.

Это действительно представлялось вполне естественным. С точки зрения мужчины. Голод развивает чудовищный эгоизм, есть нужно тайком, и те, кто таится, питаются за счет других и потому, естественно, на душе у них неспокойно. Нет, ему самому не приходилось прятаться. Слава Богу, он всегда занимал слишком высокое положение, чтобы ему грозили подобные обстоятельства. И вообще, кто знает, не колдуны ли в какой-то мере ответственны за голод? Проблема интересная.

— И иа этих пирах происходили, должио быть, ужасиые вещи? Человеческие жертвоприиошеиия? Я имею в виду убийства малеиьких детей?

— Некоторые ели детей,— прошептала Жаииа.

Секретарь суда испугаиио вскрикиул.

— После того как их посвятили дьяволу? С кощуиствеиными иамереииями?

Беспокойство в его голосе привлекло виимаиие Жаииы. Может, иаправляясь иа этот свет, Жаииа сможет выбраться из тумаиа, в котором оиа барахталась?

— Нет,— твердо ответила оиа.— Нет, почему же? Оии ели детей, потому что были голодиые. Потому что поиимали, что умирают.

— Послушайте, Жаииа, ие стаиете же вы утверждать, что такая бесчеловечиость возможна без опоры иа дьявола?

— Вы когда-иибудь голодали? — желчио спросила Жаииа.— Да так, чтобы чувствовать, что скоро умрете, ие через иеделю или месяц, а завтра, а то и прямо сейчас. Люди стаиовятся как волки.

— Волки-оборотии! — обрадовался секретарь суда.

— Если бы тут ие замешался дьявол, как бы вам удалось избежать возмездия?

— Я детей ие ела,— сказала Жаииа.— Это были дети из других деревеиь, оии приходили сюда в поисках пищи. Родители были выиуждеиы бросить их, оии ие хотели, чтобы дети умирали у иих иа глазах. Иск предъявлять оии остерегались. Голод проходит, и появляются иовые дети. Этот товар куда дешевле хлеба.

— Вы говорили, иад этими детьми кто-то произиосил заклииаиия? Сатаиииские заклииаиия?

Кто-то произиосил. Не кто-то, а оиа. Отважились бы оии ииаче есть этих исхудалых, истощеииых полумертвецов, тяиущих к иим свои руки. Заклииаиия как бы сиимали с иих виину. Быть может, после заклииаиий эта хилая плоть становилась безопасиой, как если бы оиа

никогда не заключала в себе душу? Люди были признательны Жанне. Благодаря ей они могли отговариваться неведением относительно того, что они съели и что помогало им выжить,— неведением, по крайней мере, частичным. Между тем временем, когда эта плоть была жива, и тем, когда они ее ели, происходило некое страшное магическое событие, о природе которого они предпочитали не задумываться, но из-за которого их голод как бы видоизменялся, облагораживался; само принятие пищи им представлялось делом более серьезным и не таким мерзким. Оно как бы избавлялось от необходимости, приобретало характер пагубного, но свободного выбора. Выбирая участие в дьявольском обряде, они еще оставались людьми. Вынужденные пожирать человеческую плоть, они переставали ими быть.

Жанна не смогла бы выразить это словами... И все же инстинктивно она сказала «нет». Она принуждала его допускать и созерцать ужасную сцену: людей, которым приходится есть мясо брошенных детей. Ей хотелось наказать его за то, что он никогда не голодал. «Этого не может быть!» — воскликнул Боден. «Этого не может быть!» — вторил ему секретарь суда.

Самодовольство с них немного спало, они уже не так верили в свою победу.

— Клянусь, мессир, что так и было. Эти люди не колдуны. Они обезумели от страха и голода, вот и все. Это как некоторые сходят с ума во время войны, вы ведь видели таких? Эти люди, которые не могут прекратить убивать, жечь, разрушать, это они истребили племя моей бабки, а ведь, я слышала, они были солдатами короля! Те, кто поджигает крестьянские риги, что нередко случается в наших краях,— они одержимые, мессир?

— Вижу, вы возвращаетесь к первоначальной системе защиты,— сухо заметил Боден.— Колдовства нет, вины за вами тоже никакой нет, все рок и предопределено свыше? Предупреждаю вас, что терпение мое

истощается. Вы избегнете пытки только в случае полного признания.

— Я сознаюсь во всем,— сказала Жанна с подозрительной готовностью.— Но сейчас я говорю правду. Эти люди не были колдунами, не были.

— Допустим. А настоящих колдунов вы знали?

— Да,— нерешительно промолвила Жанна.

— ...и особенно колдуний?

— Женщин, которые насылали порчу, говорили заклинания, продавали травы и любовное зелье и хорошо на этом зарабатывали. Да, знала.

Боден и секретарь суда с облегчением тут же начали записывать. Жанна почувствовала, что промахнулась. Нужно было действовать в высшей степени осторожно; в конце концов кто сказал, что она проиграла! Смерть для нее еще не означала поражения.

— Вы занялись тем же в расчете на барыш?

— Мне нужны были деньги, приходилось много всего покупать для ребенка.

— Вы, надеюсь, не рассчитываете, что это может послужить оправданием?

— Они едят детей, потому что голодны, и наводят порчу, чтобы кормить своего ребенка. Галиматья какая-то,— бросил секретарь.— Так можно найти извинение всему!

Тут и подстерегает опасность, думал Боден. Большая опасность для правосудия. Эта тошнотворная жалость, эта язва, поразившая даже некоторые выдающиеся личности, такие, как Вир. Для Вира колдовство было безумием, болезнью, глупостью; он конечно же и воровство извинил бы бедностью, и людоедство — голодом, и наведение порчи — необходимостью или материнским чувством... Выходит, что эти отсталые умы не видели, куда ведут подобные рассуждения? Что пришлось бы возвращаться к фатуму древних, единственной их слабости? Что перед такими доводами распались бы общество,

вера, разум? Несмотря на жестокость и грубость, секретарь суда был прав. Тогда иашлись бы оправдаиия для любого поступка, н все лншнлось бы смысла. Мысль иелепая, нестерпнмая.

— Значит, таких жеищин вы знали. Вы собирались вместе. По ночам. Обычно это иазывается шабашем, вам это было известно?

— Да.

— Зиачит, вы совершали это сознательио. И иа этих сходках вы видели дьявола?

Бодеи выдохнул одиими губами этот обычный в таких случаях вопрос. Однако Жанна чувствовала, что оии оба дрожат от напряжеиия.

— Не зиаю.

— Как не знаете? Будьте посмелее, Жаина. Ваши колебания понятиы. Они позволяют надеяться, что вы осознаете всю омерзительность ваших поступков. Но только откровеииость освободнт вас от угрызеиий совести и поможет другнм заблудшим...

— В свою очередь сгореть на костре?

— В ней еще столько инфериального,— плотоядио заметнл секретарь. Боден, однако, оставался серьезным.

— Жаина, меньше кого бы то ни было вы должны бы сомневаться в истииах веры, вы ведь видели дьявола, воплощенного духа зла, вы наблюдали чудеса, которые он совершал, совершали их самн, вы опустилнсь в самые глубины порока, которому противостонт вышний свет, потому что...

Как всегда, разволиовавшись, он переходил на высокнй слог. Но ои давно ждал, когда разговор косиется этого вопроса. Эта убогая, грубая, взбунтовавшаяся жеищнна из тех, кто *видел*. Чуть ли ие освященная этнм событнем. Неважно, какого духа она вндела — духа Зла нлн Добра,— важио, что *видела*. Боден поглядел иа свои руки н заметнл, что онн дрожат.

— Говорите, Жаииа!

Он приказывал, умолял, не спуская глаз с ее губ. Скажите, что вы видели. Один только раз, чтобы я мог поверить, и я проявлю жалость, человеколюбие, и все встанет на свои места на долгие годы — Жульетта и Франсуаза, работа и людская неблагодарность, вечные сомнения, терзающие душу при свете вечерней лампы, непоправимое одиночество, страх и жажда любви... Оправдание творения.

Их взгляды встретились. Дрожь пробирала и ее.

Жанна хотела бы слукавить, но не могла. Она хотела бы порадоваться своей победе, но победа вызывала у нее страх. Хотела бы солгать, но ложь не приходила на ум.

— Я не знаю,— в ужасе произнесла она.

— Жанна, три человека слышали, как вы сказали палачу, заявили, почти прокричали: «я видела дьявола, я колдунья». Вы сознались добровольно, никто не оказывал на вас давления. Никто в эту минуту не причинял вам боли.

— Никто ее пальцем не тронул,— презрительно проговорил секретарь.— Наверно, она просто струхнула?

— Так это страх? Всего только страх?

Он еле сдерживал желание подойти к ней, взять за руки, начать умолять, а потом скрутить эти руки, ударить по лицу, чтобы она выдала драгоценную тайну, подвергнуть пытке (жалость и даже отвращение уже не останавливали его) эту взбунтовавшуюся плоть...

— Отвечайте! Отвечайте же.

— Там был человек,— еле слышно сказала она,— человек в черном.

— С раздвоенными копытами?

— Пахнущий серой?

— С холодным семенем?

— С козлиной головой?

Они лихорадочно задавали вопросы, и головы их полнились образами, причудливыми картинами из глубины веков, сплетнями кумушек, бредом больных, смутными

желаниями, которые уиавоживают сны, и все это насытившись человеческой плотью, разгорячеиным человеческим мозгом, обретало жизиь и силу, как гигантский цветок без корией, одии из появляющихся сразу после дождя сказочиых цветков, которые через иесколько часов превращаются в пучок увядшей травы, пар, исчезающий иа солице. Лучше, чем кто бы то ии было, Жаииа умела плодить и взращивать эти иеосязаемые, все собой заполияющие заросли, и вот теперь оиа сама в них заблудилась, не иаходила выхода, ей было страшио, да-да, страшио. И эта пытка была изощреиней, чем пытка палача. Страх проиик в иее, когда она столкнулась с человеком, отвергавшим ее, и еще больший страх охватил Жанну перед людьми, втайие желавшими, чтобы она утвердила себя перед ними как колдуиья. У иее кружилась голова, Жаииа ощущала присутствие смерти, близкой, иемииуемой: думала ли она когда-иибудь о смерти? И вот этот час иастал. Да верила ли она сама в дьявола?

— Не зиаю. Поиимаете, я плохо помню. Это был человек, он совершал зло, ои...

— Тот самый, с которым вы сошлись в церкви, когда вам было трииадцать лет?

— Наверио.

Это был ие ои. И все-таки... После Жака у Жаины был только одии мужчииа, он появлялся из мрака, иногда тяжелый, плотиый, иногда тонкий и легкий, как теиь, ио ои одаривал ее всегда одииаковым иаслаждеиием, терпким, полиовесиым, обезличеииым. Колодец, бездиа, края которой испещрены глазами, они следят за тобой, кромсают на куски и тем ие меиее ты одииок в своем бескоиечиом падеиии. Возиикают и исчезают образы чудовищ, и, безразличио — падаешь или убегаешь, иаступает момеит (иаконец наступает!) судорожиого волиеиия, когда сама пустота настигает и пожирает тебя. Ты настигаешь н пожираешь себя сам, покуда ие преступаеш черты, за которой ничего нет (иакоиец ничего!), за ко

торой исчезаешь и уиичтожаешься иавсегда, и от тела и души остается лишь светящаяся булавочиая головка, изысканное страдаиие, тонкое, как волос, который вот-вот порвется и уже рвется... И вдруг иа бешеной скорости, головокружительиым галопом с четырех коицов света возвращаются к вам ваши руки, ноги, голова — тело восстаиавливается, и сопротивляться бессмыслеиио, сознаиие, душа, если хотите, возвращается в свое обиталище, и за ними вперемешку смутиые угрызеиия совести, гнев, ломота во всем теле,— все это компоиуется и переплавляется заново, восстаиавливается, как если бы иичего не произошло. Это мог бы быть тот же самый человек, но ие исключено, что его вовсе не было.

— Может быть! Но вы должиы были его узнать. Это был ои, дьявол!

— Если это был дьявол, почему после кощуиствеиного поступка все в церкви осталось по-прежиему? — спросила тринадцатилетняя девочка.

Да, устами Жаииы говорила девочка и ее жестокое и простодушиое разочароваиие. Ребенок, которому было отказаио даже в Божьем гиеве. Этот ребенок теперь у иих в руках. Жаииа отдавала себе в этом отчет, иу что ж, тем хуже. У иее не было больше времеии, оиа ие могла больше ждать, оиа погибла окончательио. Так пусть ей подскажут хотя бы разок, как ей быть.

— Вы, что же, полагаете, что Бог должеи откликаться иа любой чих, да еще из-за такой девчоики, предрасположеииой ко злу, какой вы тогда были? — ие совсем увереино возразил Бодеи. Ах, понимала ли оиа, что и сам Бодеи все бы отдал, лишь бы что-нибудь произошло?

— Тогда почему вы думаете, что Сатана...

Их взаимиая агрессивность была чисто внешией. Тревога меж тем иарастала. Может, через миниуту оии объедииятся.

— Но Сатану вы же видели! Ведь вы сказали, что видели! Зачем же иадо было говорить, если..

— Зачем... Чтобы опровергнуть, разрушить нелепую веру палача, который только что покусился на очевидное, осмелился... И ведь он лгал, выставляя свою веру, свою любовь, лгал. Она тоже часто лгала, и ее ложь порождала смертоносные чудеса. Разве не может и ложь этого человека оказаться плодотворной? А тогда...

— Я так думала,— прерывисто дыша, ответила Жанна.— Я и сейчас так думаю. Но я не уверена, не совсем уверена... О, как больно!

Голова у Жанны раскалывалась, будто по ней били молотком. Ужасная боль пронизывала ее насквозь. На лбу проступали капельки пота.

— Глядите, как она мучается,— обрадовался секретарь суда.— Дьявол засел у нее в голове и не дает сознаться.

— Но вы ведь наводили порчу, Жанна? Делали из воска фигурки, а потом протыкали их булавкой?

Несмотря на крайнее напряжение, Боден говорил медленно, спокойно, как с не очень смышленым ребенком, и, словно загипнотизированная, Жанна и отвечала, как послушный ребенок,— чуть ли не с облегчением.

— Да.

— И те, на кого вы наводили порчу, заболевали? По крайней мере, в некоторых случаях?

— Иногда заболевали.

— И часто, не так ли? Ваши... ваши клиенты были довольны?

— Да, нередко... платили.

— Вы же понимаете, что вашими руками действовал дьявол. Это его вы призывали, лепя фигурки. Вы говорили заклинания?

— Мы все говорили заклинания, одни и те же. Но они не всегда помогали.

— Не всегда, но часто?

— Часто.

— И вы говорили: дьявол меня услышал?

— Я говорила: получилось.
— Благодаря дьяволу?
— Я не знала, понимаете, не знала. Чтобы удостовериться, надо было начинать сначала. Каждый раз начинать снова и снова.
— И вы начинали снова?
— Да.
— И у вас снова получалось?
— Да.
— Часто?
— Да.
— И тогда вы удостоверились?
— Я никогда не была уверена до конца.

Жан Боден откинулся в своем кресле. В наступившей тишине было слышно, как тяжело и хрипло, словно животное, дышит Жанна. Запах ее пота заполнял комнату. Уже восемь дней ее держали в тюрьме и не давали мыться из опасения, что она использует воду для каких-нибудь магических операций. Ее и поили, поднося кувшин к губам.

Животное. Грязное вонючее животное, которое загнали, обложили собаки. Скоро она будет хотеть только одного — умереть. Все они этим кончали — колдуны и ведьмы; многие, громко крича, молили о смерти и, чтобы добиться ее поскорее, сознавались в несметном числе злодеяний — одно ужаснее другого,— которых порой и не совершали. И, однако, эти скоты, жалкие отребья, изъеденные сластолюбием, злокозненные недоноски присвоили себе самую драгоценную тайну на свете. Что же удивительного, что их пытают, без конца изыскивая все новые способы вырвать у них эту тайну? Сам Боден в эту минуту, располагай он каким-нибудь средством, пусть самым кровавым, самым жестоким, установить правду, не колеблясь к нему бы прибегнул. И ведь он читал о процессах, где все было так ясно, так убедительно. Однако он захотел убедиться сам, своими глазами, дотронуть-

ся рукой н понять, подобно святому Фоме, которому было позволено вложнть персты в рану Инсуса Хрнста. Боден с тревогой спрашивал себя, не прнмет лн н это судебное дело такой же удобоварнмый внд под пером столь недалекого человека, как секретарь суда, н в голове этнх неповоротливых, иевежествеиних судей. Если убрать окалиину сомиеиий, вздохов, осторожного первоиачального нащупываиия, не останется лн образ отъявленной колдуньи, цыгаики, иасылательиицы порчн, отравительиицы, повиниой в чужой смертн (а то н в иескольких смертях), участвовавшей в шабаше н вндевшей дьявола в облике человека в черном? Разве усомиился бы он в подобиых выводах, преподиеси ему весь процесс в таком виде?

Оставалось предположнть, что ведьмы не желают, чтобы нх судьн пребывалн в увереиности и душевиом покое. Возможно, разумнее всего не обращать вннмания иа недомолвки, к которым онн прнбегают нз непремеииого стремлеиия навреднть. И потом, раз существуют христнане, лншеиные благодатн, несмотря на нх молитвы н благне деяння, то почему не может быть ведьм, которых нх собственные злодейства ннкогда до конца не защищают от сомненнй? Тогда какая таннственная снла заставляет ведьм упорствовать, в то время как многне верующне устают от своей добродетелн?

— Но вы продолжалн сиова н снова? Почему?

— Да за деньгн, чтоб ей пусто было,— вступнл секретарь суда.— Этн женщииы сколачнвают себе неплохой капитал. Честному человеку столько ие собрать!

Как он был далек от иих, этот человечек! Да, от них, потому что Жан Бодеи был весь вннманне, весь иаправлен на эту женщину, почти так же, как она, растерянный, обречеиный, страдающнй. Жанна тоже недоумевала, тоже чувствовала пропасть, разверзшуюся у нх иог, тоже не знала, за что ухватнться, как удержаться, н только слабая надежда сделать зло, лишить надежды другого была едннственной интью, соедниявшей

ее с жизнью, с людьми. Сделать зло ей предоставлялось в последний раз, и одержать верх она могла лишь над одним человеком: судьей — вот он сидел перед ней, взволнованный, связанный с Жанной узами тревоги и надежды, а она не знала, как взяться за дело, хотела излить на него свою злобу, но злобы не было.

— Итак, вы продолжили свои занятия.

— Да.

— Продавали любовное зелье, яды с целью навредить?

— Продавала яды, зелье. Но кому она хотела навредить? Другим? Себе? Даже в эту минуту Жанна отчаянно желала нанести ему удар, ранить — не потребность ли это в последний раз обрести связь с другим человеком, не способ ли зацепиться за него, полюбить? Ненавидела Жанна или, как сестру, любила Тьевенну, которую унизила, над которой возымела власть? Она ненавидела ее счастье, обманчивый покой Тьевенны, а не саму слабую добрую женщину, которую никто не любил и которой Жанна открыла на это глаза. Даже во Франсуа Жанна в первые дни ненавидела его самоуверенность, ненавидела в нем обладателя добродетелей, которые он, как стадо баранов, гнал перед собой с гордым видом. Но Франсуа страдающего, полубезумного, умирающего без причастия — ей тоже суждена такая смерть,— Франсуа высмеиваемого, осуждаемого, гибнущего Жанна любила. Ей хотелось положить его голову себе на колени и по-матерински сказать: «Видишь теперь? Видишь, куда это тебя завело? Видишь, что с нами всеми?» Те же слова она хотела сказать в церкви распятому Христу: «Видишь, куда приводит вера в любовь? Сидел бы смирно...»

Однако она и сама не сидела смирно, находя радость в отчаянии от своей пропащей жизни. Она делала все невпопад, проникала в мир гнева и снов, где нет ничего невозможного. Между смертью на костре и смертью

в канаве, в риге, незаметной голодной смертью женщин-бродяжек она выбрала первую. И когда она глядела на Христа в зале допросов, ей иногда хотелось пожать плечами, как бы извиняясь, хотя и шутливо, за то, что сама не следовала тем хорошим советам, какие давала ему. А как же стремление навредить! Да, она стремилась к этому, когда они лгали, утверждали, подобно палачу, что счастье возможно! Но разве она не любила их, когда потом они приходили ночью, будь то в Компьене, Сен-Квентене или в любом другом городе, где она жила, чтобы вымолить иллюзию любви, деньги, от которых нет пользы, или смерть для других, которая на минуту позволит забыть о своей собственной?

Стремление навредить! Конечно, Жанна хотела, чтобы их с ней сблизили несчастье, несбывшиеся мечты, неутоленная жажда мести. И как бы награждая себя лакомым блюдом, небольшой суммой денег, кратким отдыхом посреди пустыни, которую надо преодолеть, Жанна давала им зелье, яд, фигурку, которую они клянчили. На миг они делились с ней, как делятся теплом очага с промокшим на улице, своей надеждой, недолговечной маленькой надеждой, будто на время ценой своих сбережений, душевного покоя, ценой своей жизни они смогут повлиять на свою судьбу. И она тоже верила (уверовала ли до конца?), да, верила, что от нее что-то зависит и она сможет что-то изменить. Но какая разница — будет одной смертью больше или меньше? Меняет ли что-нибудь в жизни обладание телом любимого человека? Не доверилась ли Жанна видимости, ведь теперь перед лицом смерти, перед лицом этого последнего собеседника она оказывалась, как в детстве, бедной и нагой? Стремление навредить. Другими словами, сделать зло. Она и делала его снова и снова, но зло тут же распадалось. Оно никогда не казалось окончательным, не принадлежало Жанне. Жанна сказала правду: она так и не убедилась.

— Я хотела им помочь — ее попытка быть искреиией выглядела смехотвориой.

— Помочь убить, околдовать, переспать с чужой жеиой, совершить преступлеиие, сделать выкидыш?

— Да.

Одиа беда иа всех, одии грех. Помочь им. Все обречеиы, все в союзе против Бога; иекоторых Жаииа иеиавидела — тех, кто объедиия лся против иее. Но когда оии к ией приходили, похожие друг иа друга, жалкие, ее братья, оиа хотела им помочь. Оиа зиала — о, оиа узиала это очеиь быстро,— что дело это безиадежиое, что иикогда иельзя быть увереииым до коица; самое жестокое, самое иесомиеииое преступлеиие оставляет привкус иеудовлетвореииости, и удивлеиио спрашиваешь себя: «Всего-то?» Одиако иа этом пути ие остаиавливаются. Надо продвигаться вперед, пытаться сиова и сиова. С каждым разом чериое пламя все больше утихает, иадежда головокружительио сжимается до крошечиой точки в иочи, а потом в безумии своем уже преследуешь саму иочь, иочиой холод, и иет сил вериуться иазад.

— Подведем итоги: вы созиаетесь, что убили Фраисуа Прюдома?

— Да.

— Созиаетесь, что околдовали мэтра Юка?

— Да.

— Созиаетесь, что околдовали мадемуазель д'Оффэ? Что резали детей, были иа шабаше, участвовали в оргиях, продавали яды и любовиое зелье, видели дьявола в облике человека в чериом?

— Да.

Голос ее звучал торжествеиио, как в церкви, когда крестят ребеика и спрашивают: «Отрекаешься ли ты от Сатаиы, от его царства и его деяиий?» Или как иа шабаше, когда жеищииы (содрогаясь и трепеща, оии вдруг ощущали себя равиыми свящеииику, обладающими властью иад иевидимым, и это оии — уииженииые, битые,

чья плоть н душн страдают от самых разных невзгод) говорят: «Я отрекаюсь от Бога, отрекаюсь от спасення, отрекаюсь от своей души» — н верят, по крайней мере в эту минуту, в свое могущество н в свою способиость измеиить свою жизиь.

— Созиаетесь, что присутствовали иа сатаииском крещеиии?

— Да.

— Что имелн половые сиошення с дьяволом, прииявшнм облик человека в черном?

— Да.

Да, да. Сознаваясь в свонх преступленнях, обретает ли оиа увереииость? Илн оиа обретет ее на костре, окружеиная языками пламени? Но разве ие возникиет перед ией тогда ограннчеииое, тупое существо вроде палача, лгун, который скажет ей, что все это было не в счет, что она была бесснльна перед Богом, что ннчего от иее ие зависело,— н это будет ее пытка иа векн вечиые?

— Последннй вопрос: вы делаете прнзнанне добровольио и без принуждеиия?

— Да.

— Теперь можио подвести черту, окончательную черту,— сказал секретарь суда.

Он любнл это слово «окончательную». Дело можно закрыть, завязать тесемками, опечатать н прнсовокупнть к другим таким же в шкафу: этн папкн — его малеиькое сокровище, он нх храннтель.

Окончательио. Вопрос сият, ко всеобщему удовлетворенню. «А в коице коицов все онн созиаются»,— справедлнвость этой старой аксиомы еще раз подтвердилась. Он, Жаи Бодеи, захотел в этом убедиться на месте — скрупулезность, обычная для человека науки,— составнть себе миеиие, нсходя из деталей процесса над колдуньей. Получен классическнй результат, которого он желал. Теперь духовиик скажет осужденной несколько утешнтельных слов, палач соорудит костер, будет дозволеио ее

удушить, ведь оиа созналась добровольио, и одиой колдуньей стаиет меиьше.

«Вот и все»,— сказал секретарь суда. Он спешил уйти, забыть. Чего стоят речи жеищииы, осужденной за колдовство? Ничего, меиьше, чем иичего. Пустословие. Такие женщины везде видят зло. Для них это естественио. Секретарь зиал, что ои был привязаи к Кориелии, и малеиькая желтая птичка, которую ои прииес в день ее смерти,— Корнелия улыбнулась — обеспечит ему прощеиие, спасеиие. Ои спешил уиести с собой эту увереииость, за которую ои будет цепляться до коица своих дней. Секретарь подиялся, с шумом собрал бумаги, письмениый прибор. Ои хотел иамекнуть судье, что пора расходиться. Заиавес упал, и иичего больше ие произойдет. Ничего иикогда. Одиако надо было спешить. Если она скажет еще хоть слово, одно-едииственное...

В общем, миого времеии оии не потратили. Была с ее стороны попытка сопротивлеиия, ио тюремное одиночество и одии только вид палача сломили ведьму... Дело порешили быстро и легко. Быть может, слишком легко. Одиако основиое было сказаио: шабаш, постыдиый промысел. Другие заставили бы ее иазвать сообщников. Но, может, иа иее больше ие иапирать? Ведь все это происходило в других краях, других городах. Не лучше ли счесть, что этой казиью Рибемон заплатил свою десятииу и очистился, омылся? Зачем иапирать, ставить честных людей в затруднительное положение? Создаи будет прецедент, который удовлетворит всех. Как и бывает в подобиых случаях, дочь Жаниы, Мариетта, про которую говорят, что она «очеиь милая», в бегах. Ее поймают. Здесь ли, в другом месте. Все они кончают одинаково. Все. Едииствеииая деликатная проблема заключается в том, что зло все-таки ие выкорчевано. Кажется, что оио возрождается из пепла, растет и миожится. Это порождает страх, но и успокаивает. Разумеется, такое происходит, чтобы люди добра ие теряли бдительиость, чтобы

они получили доказательство. (Но доказательство — Иисус Христос, а не дьявол,— говорит себе Жан Боден, немало поразмышлявший над Библией.— Хотя правду сказать, эти тексты... Столько противоречий, толкований, меж тем как тут, перед ним, живое существо, которое видело, прикасалось к человеку в черном...) Боден не мог решиться расстаться с Жанной, дать ей исчезнуть в небытии. Конечно, ему стоило лишь захотеть, и он примет участие в других таких процессах и столько раз, сколько ему заблагорассудится, но испытание оказалось слишком тяжелым для его здоровья. К тому же потерянное время, усталость... Что он может еще отсюда вытянуть? Что окончательно (как говорил секретарь суда) убедило бы его в реальном существовании дьявола, если признаний Жанны недостаточно? В свободном принятии некоторыми людьми зла, если и после ее торжественных заверений у него остались сомнения?

С отчаянии (он понимает, что все сказано, ничего не остается делать и нужно уходить) Боден спрашивает:

— Вы нарушили условия сделки?

— Сделки? — тупо повторяет Жанна. Сообразив в свою очередь, что все кончено, она погрузилась в полудрему, пришла в подавленное состояние.

— Сделки с дьяволом... с человеком в черном. Сделки, закрепленной кровью.

— Сделки не было,— также тупо произнесла Жанна,— не было...

— Вы хотите сказать, что не было письменного документа?

— Не было сделки.

«Ну и что это меняет?» — дрожа от нетерпения, возмущается про себя секретарь суда. Что с того, если не было сделки? Это как брак без венчания; люди-то все равно живут друг с другом. Чего ради эти двое упрямятся? Судья показался вдруг секретарю суда подозрительным. Может, он сам колдун? Такое терпение, такие

непривычные вопросы. Теперь, когда дело сделано, он продолжает допрос, словно пытается выведать у осужденной тайну. Говорят, некоторые колдуньи умеют делать золото? Не эту ли таинственную формулу искал мэтр Боден? Это, разумеется, все поставило бы на свои места. Секретарь подходит поближе. Но как можно разобрать что-нибудь в этом лихорадочном шепоте?

— Но должно бы быть какое-то обещание, заклинание, какой-то момент, с которого вы поняли, почувствовали, что принадлежите дьяволу?

Он хватает ее за плечи, встряхивает; безжизненное, словно мешок, тело Жанны поддается; она глядит блуждающим взором, на губах, как у загнанного животного, выступает пена; вид у нее жалкий, но Бодену ее не жаль.

— С какой минуты вы взяли сторону зла?

Да понимает ли она? В ней, на первый взгляд беспомощной, поднимается волна неприятия — это последняя, чисто инстинктивная попытка неповиновения.

— Да поймите же, как только вы осознаете, с какого момента встали на путь зла, вы сможете все переиграть. Если вы свободно приняли зло, сегодня вы можете свободно от него отречься. До самого конца вы пользуетесь свободной волей. Вы еще можете спастись, отвергнуть свою жизнь, преобразиться в одно мгновение. Вы...

Понимает ли она его? Понимает ли она его? Жанна по-прежнему качает головой, как бы говоря «нет», но, возможно, причиной тому его чересчур ученые слова? В отчаянии он ищет более простые.

— Вы ведь завлекли человека в черном в церковь со злокозненными намерениями? Иначе почему именно в церковь? Вы хотели оскорбить, задеть Бога?

— Я хотела увидеть...— хрипло сказала она.

— Увидеть что?

— Увидеть, что будет, если... Но ничего не произошло. Ничего не происходило и когда мы топили в пруду детей. И когда мы ходили на шабаш и топтали ногами крест,

тоже иичего! И когда отравлениые мною умнралн, ничего! Ннкакнх угрызеиий совести, никакого чуда, ничего!

Оиа слегка возвысила голос, н секретарь суда в испуге попятнлся к дверн.

— Неправда,— закрнчал Жан Бодеи.

С днкнм воем, в судороге как бы увлекая его за собой, она подступала к Бодену, в головокружеиин чувствуя, что сейчас сгииет, но ие одиа, а с ним вместе...

— Нет сделкн с дьяволом и иикогда ие было! Ничего иет, инчего!

Жанна сейчас упадет иа паркетный пол в страшиых конвульснях, с пеиой у рта, н с ее губ сорвется что-то иечлеиораздельиое. Секретарь суда жестом подзовет двух стражннков н духовиика, который беспрестанно крестится и шепчет: «Господи, Господи!» Жаииу сожгут иа следующий день. По настояиию мэтра Жана Бодеиа, королевского прокурора по Лаоиском судебному округу, в каком бы то ин было смягчеиии пpнговора ей будет отказано. Он воспротивится, когда более милосердные местные судьи выскажутся за предварительное удушеине. Можно ли проявнть излншиюю жестокость, нмея дело с такнм отвратительиым существом? Поздиее, в своей «Демономании», перечие ужасиых злодеяиий ведьм, он с охотой будет опнсывать пытки и способы моральиого воздействия, какие подобает нспользовать протнв этих чудовнщ, которым ои предрекает муки ада. К любому средству можно прибегиуть, чтобы подвести нх к прнзнанню в своих преступлеииях. Его рвение не будет зиать граииц, ио ни одио нз сотеи зарегистрнрованиых признаний ие заглушит тревоги, в которую повергла Бодеиа безвестиая Жаииа Арвилье, давио мертвая н позабытая.

Но все это потом, пока же осуждеииую выиосят нз залы и сооружают костер. Жан Бодеи, королевский прокурор по Лаоискому судебному округу, остается одии, иаедине со своим поражением.

Заметки о колдовстве

Распространение такого явления, как колдовство, строго ограничено во времени. Оно зарождается в конце XV века и, развиваясь скачкообразно, зная периоды расцвета и периоды отката, завершается к 1680 г. Разумеется, можно привести значительно более ранние (первая колдунья, сожженная

именно за колдовство, погибла в 1275 г.) и более поздние примеры (М. Гарсон сообщает о расправе над так называемым колдуном в 1915 г.; подобные случаи имеют место и по сей день). Однако как массовый феномен, проникающий в повседневную жизнь, колдовство имеет чуть более чем двухвековую историю, и три мои героини жили как раз в это время.

Вопреки часто встречающемуся мнению, колдовство, эта созидаемая в течение двух веков настоящая церковь, поклоняющаяся Князю тьмы, вовсе не величественный обломок средневековья, не случайно уцелевшее мрачное строение, постепенно подтачиваемое Возрождением, а новое явление, навязчивая идея, оригинальное порождение именно этой эпохи, причем порождение, обусловленное множеством факторов.

Чтобы снять вину со средневековья (а ведь существуют данные, свидетельствующие о полном отсутствии каких бы то ни было протоколов подобного рода), достаточно бегло рассмотреть точки зрения на колдовство наиболее видных авторитетов того времени. Разве уже в VIII веке святой Бонифаций Английский не заявлял, что христианину не следует верить в ведьм и оборотней? В IX веке святой Агобар, епископ Лиона, также обличал нелепость веры в то, что колдуны способны воздействовать на время. В XII веке Иоанн Солсберийский говорил о шабаше как о расстройстве воображения, и, чтобы не ходить далеко, канонический закон «capitulum Episcopi» ясно высказывался о несовместимости веры в ведьм с христианством.

Однако в 1490 г. было создано и развито богословское учение о колдовстве. Между 1580 г. и 1630 г. (в эпоху Монтеня и Декарта) это учение постепенно принимается и, так сказать, упорядочивается. Причин тому немало. Торндайк вслед за Мишле и Жан Палу связывают это с бедствиями, которые обрушились на XIV век (эпидемия чумы, Столетняя война). Конечно, играют свою роль

бедиость крестьяи, социальиые диспропорции. Особенно следует отметнть распространенне колдовства в гориых райоиах, где людн жнлн в крайне иеблагопрнятных условнях. Разумеется, неоднократио подчеркнвалась н роль церквн. Известиая булла «Summis desirantes affectibus» Иниокеития VIII в 1404 г. н последовавший за ией вскоре «Malleus maleficorum» ннквнзнторов-домнннканцев Шпреигера и Инститорнса служили, вне всякого сомнеиия, первыми ласточкамн, придавая нарождающейся мнфологнн церковную окраску. Нельзя, одиако, не прнннмать в расчет влияние часто искажеиных н плохо усвоеииых иеоплатоническнх идей. Парацельс в своей вере в прнзраков, домовых н блуждающие огии опирался иа жизиенный опыт, который в качестве знамення прогресса протнвопоставлял снстематичиости отцов церквн. Возврат к аитичиости ие только в определеиной мере порождал критический дух (Л. Валла, Эразм), ио и означал возврат к басиям и суевериям, которые такой любознательный н просвещенный ум, как Жаи Бодеи, слепо прииимал. Роль реформаторских церквей была порой столь же определяющей. К концу жизни Кальвни явствеиио продемоистрировал свою боязнь колдунов, хотя Цвннглн остался к этому вопросу совершеиио равнодушеи. Лютераие, со всем усерднем проявляя свою ненавнсть к колдовству, распространнлн преследоваиие колдуиов до Даиии, так же как кальвиииcтские мнсснонеры боролнсь с инм в Траисильваннн, а протестаитское духовенство — в Шотлаидии. Конфлнкт между Реформацней н Контрреформацией прибавил остроты проблеме, и без того волиовавшей весь иарод.

Мы тут касаемся пснхологического аспекта, который объясияет подспудиое едниомыслие подавляющего числа современинков. Было бы иелепо предполагать, будто несколько ииквизиторов, пусть фанатичиых, и иесколько судей, пусть самых кровожадиых, смогли бы заставить народ, настроеииый решительно против, примириться

с подобным истреблеием. Необходимость перегруппировкн сил играет свою роль в принятии упрощеиных представленнй о добре н зле, и в ярко выражеиной в этот период иеобходимости иайти козла отпущення чувствуется отдаленный отголосок «великой схизмы». Нужио еще сказать иесколько слов о пытке, которая для иных все объясняет, хотя иа самом деле оиа лншь составляющая, важиая, но ие решающая обшириого комплекса дьявольскнх эпндемий. И тут речь ие идет о средневековом пережитке — возрождение пытки последовало сразу за возрождением интереса к римским закоиам. Несомиеиио, что имеиию пытка — причина иебывалой распространеииостн в некоторых местах процессов иад колдуиами и ведьмами (в Бамберге, иапример, пришлось построить тюрьму специальио для ведьм), а также поразительной схожестн сотен прнзиаиий и иепомериого колнчества иевыиосимых в своей непрнстойности подробностей. Пытка сыграла свою роль также в полнтнческом нлн корыстном использованни обвниеинй в колдовстве. Она стала иакоиец закоиным способом убнйства. Пытка, одиако, не позволяет усомниться в субъектнвиой реальности некоторых покаяиий (достаточио переиестись в Африку и услышать подобиые же призиаиия н рассказы, отмечеиные темн же обмаичнвыми видеинямн, когда не было и иамека иа прииуждеиие), и довод о схожестн прнзнаннй можио интерпретнровать как угодио. Таким образом, мы прнходнм к последиему аспекту даиного явления, к его собствеиио патологической строрие. Для нсториков XIX века прекращенне этого феиомеиа зиамеиовало победу рацноиалнзма, «прогресса», хотя подобиое утверждение игиорировало средиевековое отиошеине к колдовству. Счнталось, что все объясияется «истерией», причниа которой тогда была еще слабо изучеиа. Последователи Шарко одиим махом расправились с Лувье, Луденом, а виконт де Морей представлял Фраисуа Фоитена, которого ои сравинвал с пациеитами больннцы

Сальпетрнер, чем-то вроде истеричного эротомана. Патологический аспект здесь действительно имеет место; он особенно поражает при одержимости эротического характера, а также в тех удивительных случаях, когда одержимостью заражались, ведь немало никвизиторов, изгонявших дьявола, в свою очередь умирали бесноватыми. Это тоже дает пищу для самых различных толкований.

Святой Иоанн на вопрос святой Терезы о различии, которое следует установить между понятием «меланхолия» (болезни, приблизительно соответствующей теперешней неврастении) и понятием «душевная опустошенность» (хорошо известного мистикам этапа на духовном пути), ответил, что это, разумеется, разные вещи, но можно воспользоваться первым состоянием для достижения второго. Лучше сказать о значении патологии для области духа невозможно.

В том, что касается Анны де Шантрен, я воспользовалась подлинным судебным процессом, отрывочную информацию о котором можно почерпнуть в томе «Кармелитские исследования», посвященном сатане; кроме того, некоторые сведения были собраны Е. Брует в ее работах о колдовстве в графстве Намюр. Об Элизабет де Ранфен документов сохранилось больше, и основной из них — сделанное ею для отца д'Аргомба свое жизнеописание, оригинальное издание которого хранится в музее города Нанси вместе с портретом Элизабет. Отметим также медицинское заключение докторов Делькамбра и Лермита. В случае Жанны Арвилье кроме данных о процессе 1678 г. моим единственным источником была «Демономания» Жана Бодена, если не считать упоминания о ней К. Гомара в его «Истории города Рибемона». Работ о самом Жане Бодене множество, хотя в них редко встречаются подробности о собственно колдовстве. Упомяну

лншь книги Кастоне де Фоссе «Жан Боден, его жнзнь и пронзведення» (1890 г.), А. Бодрнара «Жан Боден н его время» (1853 г.), Дроза «Кармелит Жан Боден». Не колеблясь я сблнзнла во временн нлн нзменнла отдельные факты, не ставя перед собой задачу пнсать исторнческнй труд, однако я попыталась как можно точнее воссоздать дух времени. Я не привожу здесь спнсок лнтературы о колдовстве вообще, но готова предоставить его в распоряжение чнтателя, который обратнтся ко мне с такой просьбой.

СОДЕРЖАНИЕ

Франсуаза Малле-Жорис
ТРИ ВРЕМЕНИ НОЧИ
Повести о колдовстве

Заведующий редакцией *О. А. Белов*
Редактор *С. О. Овчинников*
Младший редактор *М. В. Архипенко*
Художник *А. М. Горлаченко*
Художественный редактор *А. А. Пчелкин*
Технический редактор *Н. А. Шавкунова*

ИБ № 9055

Сдано в набор 11.06.91. Подписано в печать 23.10.91. Формат $70\times108^1/_{32}$. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 17,50. Уч.-изд. л. 18,04. Тираж 100 тыс. экз. Заказ № 248. Цена 5 р. 80 к.

Политиздат 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7

Типография издательства «Уральский рабочий».
620151, Екатеринбург, проспект Ленина, 49.